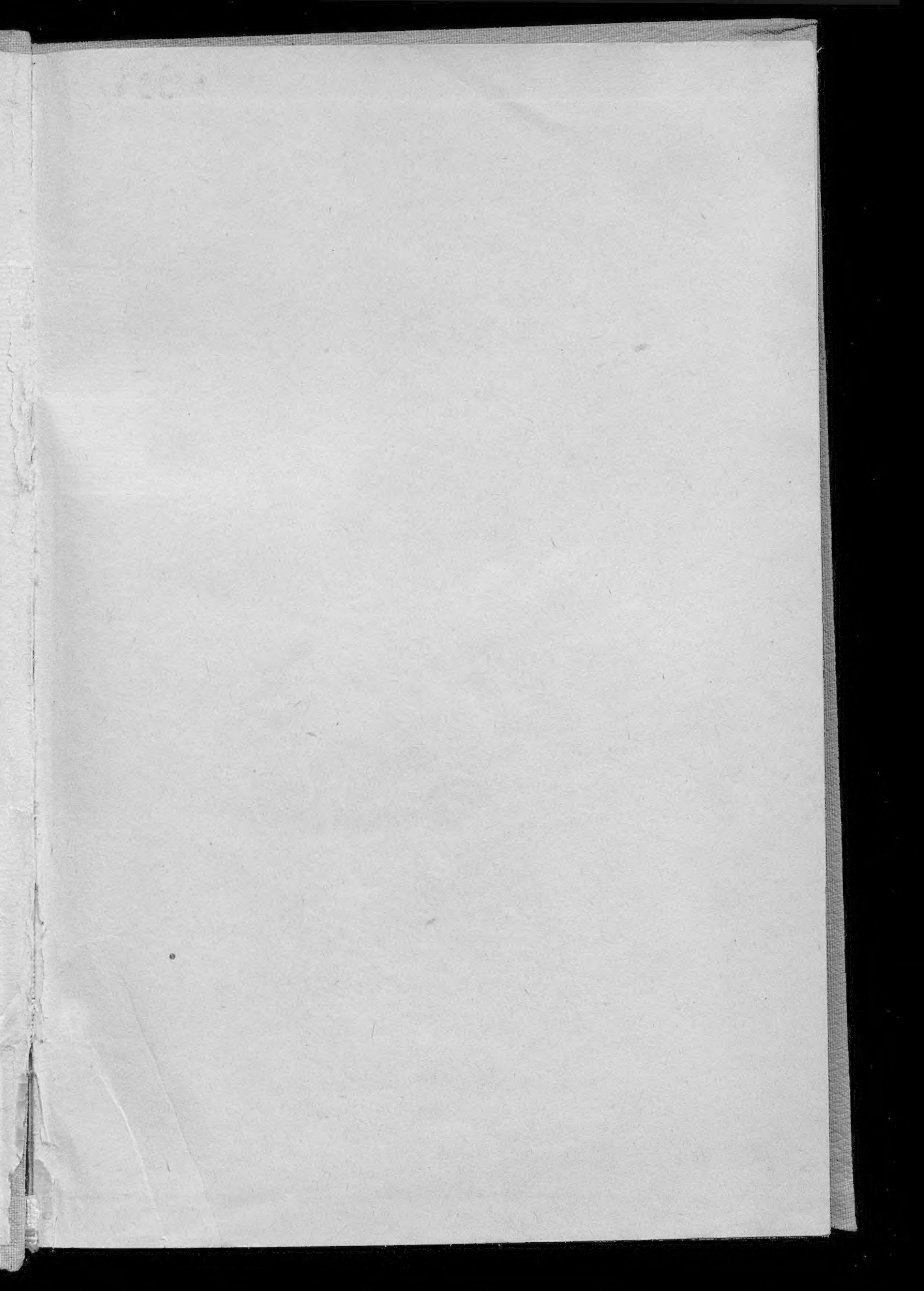
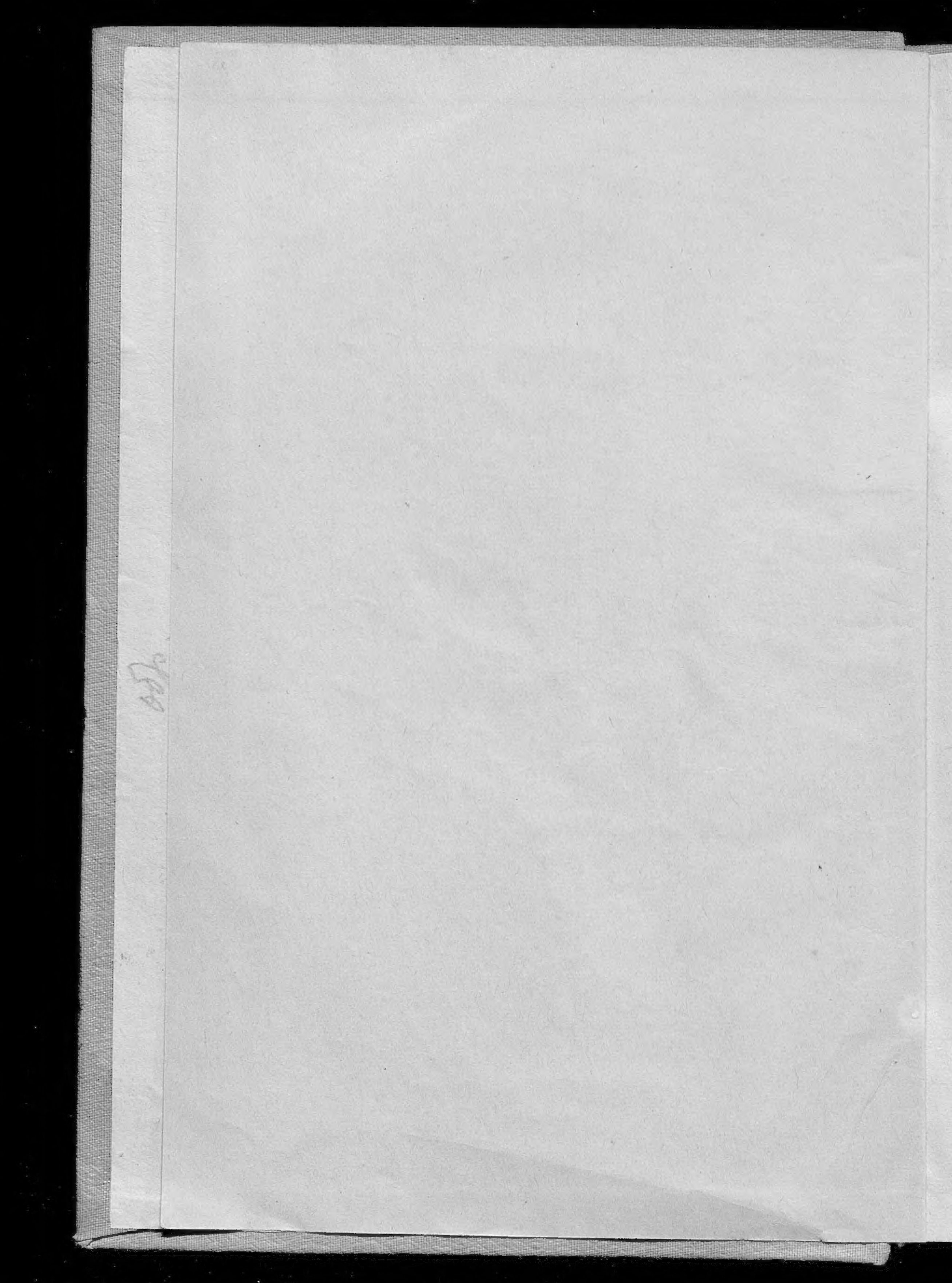
Железнодорожники в 1905 году



1950

20/VII





ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
в 1905 году

составили
М. Х. ДАНИЛОВ
П. Г. СДОБНЕВ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 1940

Книга освещает борьбу железнодорожников царской России в период буржуазной революции 1905 г. Отобранные целые произведения и отрывки из них показывают читателю рост людей и становление их на путь вооруженной борьбы с самодержавием; показывают роль большевистских организаторов в деле роста революционеров и руководства забастовками и восстаниями.

Специальным очерком показана жизнь и борьба железнодорожников Закавказья (в более широких исторических рамках) под руководством товарища Сталина в его юношеские годы.

Сборник рассчитан на самые широкие массы советских железнодорожников; может служить пособием при изучении истории событий 1905 г.

Д—18

Цена книги 4 р. 50 к.
Переплет 1 р. 50 к.

Редактор *Я. Ю. Шлоссберг*
Техн. редактор *В. В. Орлова*
Корректор *Р. З. Троцкая*
Сдано в набор 27/III 1940 г.
Подписано к печати 13/V 1940 г.
Бум. $60 \times 92^1/_{16}$ $16^1/_4$ п. л. 00 УАЛ 16,7
46250 зн. в 1 п. л. Тираж 10000 экз.
ЖДИЗ 75202 Зак. 1162
Уполн. Главлита А-26475

1-я тип. НКПС Трансжелдориздата, Москва,
Б. Переяславская ул., д. 46.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Железнодорожники сыграли выдающуюся роль в событиях 1905 года. Они были застрельщиками великой всероссийской политической стачки, охватившей страну и сплотившей в едином боевом порыве около четырех миллионов пролетариев. Они же явились решающей силой, заставившей самодержавие пойти на уступки революции. В знаменитой своей статье, написанной в разгаре событий 1905 года, Ленин так оценивал роль железнодорожников:

«... И во главе этой многоязычной, многомиллионной рабочей армии встала скромная делегация союза железнодорожных служащих. На сцену, где разыгрывались политические комедии господами либералами с их высокопарными речами царю, с их ужимками по адресу Витте, — на эту сцену ворвался рабочий и предъявил новому главе нового „либерального" царского правительства, господину Витте, свой ультиматум».

Железнодорожники были передовым отрядом российского пролетариата и потом, в полосу декабрьского вооруженного восстания. В памяти трудового человечества боевые железнодорожные дружины прославились навеки беззаветной храбростью и самоотвержением. Беспартийный машинист Казанской дороги Ухтомский вошел в историю как олицетворение пролетарского бойца, бесстрашного сына рабочего класса. А ведь Ухтомский был лишь одним из многих, выдвинутых массами железнодорожников, вождей.

Предлагаемый сборник ставит своей основной задачей — ознакомить советских железнодорожников со славными делами их собратьев, совершенными 35 лет назад в яростной борьбе с чудовищем самодержавия, показать железнодорожников годины первой революции во весь их рост.

Составители сборника стремились рассказать о героической эпопее 1905 года на железных дорогах и показать эту историческую борьбу с царизмом в художественных образах. Наряду с наиболее выразительными воспоминаниями участников и современников событий в сборнике помещены отрывки из произведений, авторы которых вдохновлялись борьбой железнодорожников с царизмом.

Сборник состоит из трех частей. Из первой — «Предгрозье» — читатели узнают, как создавались и работали первые железнодорожные революционные кружки, как формировались из машини-

стов Нилов, стрелочников Гранкиных, телеграфистов Мещериных будущие бойцы баррикад. Этот раздел открывает очерк советского литератора В. Кедрова, хронологией событий охватывающий все три части сборника; очерк освещает, имея в основе исторические документы, революционную работу юного Сталина среди закавказских пролетариев.

Вторая часть сборника — «В огне» — посвящена совместным со всем пролетариатом России классовым битвам железнодорожников против режима гнета и насилия. В этой главе читатель увидит не только железнодорожников-бойцов, но и тех, с кем они дрались плечом к плечу, а также выразительные образы врагов, начиная от отупелых солдат, презренных шпиков и жандармов, продолжая пьяными офицерами-усмирителями и кончая гнусными палачами — Мином, Риманом, Меллером-Закомельским и прочими царскими сатрапами. Именно ради этого показа включены в сборник отрывки из произведений, где действие разыгрывается на железной дороге, хотя сами железнодорожники или вовсе не фигурируют («Оцененная голова» Серафимовича) или действуют на втором плане (отрывок из «Клима Самгина» Горького).

Третья часть книги — «Знамя в крови» — рисует дикий разгул реакции, с особенной ненавистью и силой обрушившейся на железнодорожников, сумевших не только парализовать силу правительства, но и открыто, с оружием в руках сражаться против преданнейших полков «его величества».

Составители надеются, что их труд будет принят читателями-железнодорожниками и окажется посильным подарком к тридцатипятилетию славнейшего «пролога грядущих европейских революций», как назвал героические события 1905 года В. И. Ленин.

★

ПРЕДГРОЗЬЕ

«Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших бойцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного».

В. И. Ленин.
«С чего начать», «Искра», № 1,
декабрь 1900 г.

СТАЛИН И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ЗАКАВКАЗЬЯ

ВЛАДИМИР КЕДРОВ

Книга начата в 1883 году. На ней надпись:

Матрикульная книга Главных мастерских Закавказских железных дорог

Старые, пожелтевшие от времени страницы... 1891—1892 год. Одна из записей:

«Алексей Максимович Пешков, маляр...»

Другая:

«1900 год 30 июня, Михаил Иванович Калинин, крестьянин Тверской губернии, 24 лет». И рядом на полях: «Уволен согласно распоряжению начальника службы тяги 13 сентября 1900 года».

Лист за листом, страница за страницей... Имена лучших людей старшего поколения рабочих главных мастерских: Миха Бочоридзе, Закро и Сандро Чодришвили, Вано Стуруа, Николай Мачарадзе, Нинуа и др.

К ним, к этим людям, в начале 1898 года пришел юноша-семинарист Сосо Джугашвили. Нелегальная пропагандистская работа среди учащихся уже не удовлетворяла юного Сталина.

Железная воля, неукротимая энергия, могучий темперамент настоящего борца-революционера, пламенная вера в правду рабочего дела — все это неодолимо влекло его в ряды рабочего движения, в самую гущу политических событий, шумящих за окнами семинарии.

Незабываемой была первая встреча.

Домик № 194 по Елизаветинской улице. Здесь, в двух небольших комнатах первого этажа, жили железнодорожные рабочие — Вано Стуруа, Георгий Нинуа и Николай Мачарадзе.

Был вечер... В одной из комнат собралась группа рабочих. К железнодорожникам пришел юный Сталин.

В беседе истекал вечер, незаметно наступила ночь, но никто и не думал расходиться.

Всех увлекала необычайная ясность и простота слов молодого пропагандиста.

В этот памятный вечер передовые рабочие-железнодорожники радостно приняли в свою революционную семью пламенного пропагандиста Сосо Джугашвили.

Выступая на митинге железнодорожников в Тифлисе в 1926 году, товарищ Сталин сказал:

«Я вспоминаю 1898 год, когда я впервые получил кружок из рабочих железнодорожных мастерских. Это было лет двадцать восемь тому назад. Я вспоминаю, как на квартире у тов. Стуруа, в присутствии Сильвестра Джибладзе (он был тогда тоже одним из моих учителей), Закро Чодришвили, Михо Бочоридзе, Нинуа и других передовых рабочих Тифлиса, получал уроки практической работы».

Вскоре блестящая пропагандистская деятельность товарища Сталина перебрасывается на обувную фабрику Адельханова, с нее на текстильную фабрику Мирзоева, на маслобойный завод Тюлле, на табачные фабрики Бозарджианца и Энфианджианца и в короткий срок охватывает все предприятия огромного фабрично-заводского района.

Сегодня Сталин созывает собрание социал-демократического рабочего кружка в Шавсепели, назавтра он проводит беседу на квартире рабочего Манлова, через день его уже видят среди рабочих в Ортачальских садах, на нелегальной сходке в окрестностях Круанисн, на Ходжеванском кладбище и в десятках других мест.

Его могучая энергия, словно горная река, прорвалась через плотину церковного мракобесия, ханжества, фарисейства и лицемерия чернорясников, пытавшихся сковать ее в стенах семинарии, и уже никто и ничто, никакая сила на свете не смогла бы удержать ее широкого, вольного разлива...

*

Условия работы в Главных мастерских Закавказской железной дороги были нечеловеческими. Летом рабочий день начинался в пять часов утра; работали по 13—14 часов, а нередко и больше.

В конторе и в цехах царил произвол. Бесправие рабочего начиналось у самых ворот мастерских.

Подавляющее большинство рабочих, приходящих наниматься, принадлежало к нерусской национальности. В конторе при найме нового рабочего шовинисты-чиновники глумились над грузинами, армянами, тюрками, устраивая им «экзамены» по русскому языку.

Ни у кого не было уверенности в получении работы, а принятые и зачисленные в штат в любой момент по приходе мастера или даже конторщика могли быть выкинуты за ворота.

В цехах не было и намека на какую-либо механизацию. За все отвечали мускулы и жилы рабочих.

Чтобы проверить ход золотников у отремонтированного паровоза, рабочих вынуждали самих двигать паровоз. Наваливались на рычаги и, стиснув зубы, надрываясь, из последних сил, сдвигали огромную, тяжелую махину...

Токари слепли, обтачивая мелкие детали при скудном свете керосиновых коптилок.

Администрация была подобрана один к одному: хамы, держиморды, черносотенцы. Еще и посейчас старые железнодорожники Закавказья не могут без содрогания вспомнить о том, как толстый, здоровенный кулак мастера «дробил» скулы рабочих... Об этом они стараются не вспоминать.

Дома были не лучше... Не все имели деревянные стены и потолки... Жили в страшных, замшелых от сырости хибарках, скорее похожих на гробы, чем на жилье живого человека. А многие живали и просто в землянках, выкопанных за чертой города.

Жизнь рабочего-железнодорожника с каждым днем, с каждым часом становилась все более и более невыносимой, нетерпимой. И все думали только об одном: «Где же выход?». И выход был найден...

Нелегальные кружки со дня на день пополнялись все новыми и новыми членами. Юный Сталин в беседах с рабочими раскрывал им глаза на их тяжелое, бесправное положение и указывал путь — путь борьбы за лучшую жизнь.

Превосходно зная историю рабочего движения на Западе, постигнув в совершенстве великое учение Маркса, Сталин свои беседы с рабочими насыщал глубочайшим содержанием и расширял их кругозор. Вся его речь была пересыпана яркими выдержками из лучших художественных произведений классической литературы и примерами, взятыми из самой жизни.

О том, какое значение придавал юный Сталин занятиям в рабочих кружках, указывает тот факт, что, когда он проводил занятия, перед ним непременно лежала записная книжка или листки мелко исписанной бумаги, в которых уже заранее была разработана тема предстоящей беседы.

Повидимому, к каждому своему выступлению он тщательно и серьезно готовился

«Выступления товарища Сталина походили на беседы, — рассказывает в своих воспоминаниях старый рабочий-железнодорожник Георгий Нинуа. — Он, бывало, не перейдет к новому вопросу, пока не убедится, что мы поняли его, усвоили его слова. Отвечая на вопросы товарища Сосо, мы приводили факты из своей рабочей жизни, рассказывали, что делается на заводах, как эксплуатируют нас администрация, подрядчики, мастера.

Товарищ Сталин особенно оживлялся, когда затрагивалась эта тема. Он задавал рабочим много вопросов, а потом делал выводы. Эти выводы имели решающее, руководящее значение для революционного движения.

Товарищ Сталин был нашим учителем, но он часто говорил, что он сам учится у рабочих».

Рабочие главных железнодорожных мастерских предъявили администрации требование о сокращении рабочего дня, увеличении заработной платы и улучшении обращения с ними.

В ответ на это «начальство» еще больше усилило преследование рабочих.

В мастерских вспыхнула забастовка.

Это была первая крупная забастовка на Закавказской железной дороге, ею руководил Сталин при участии Миха Бочоридзе, Закро Чодришвили и Вано Стуруа.

Отсюда по Тифлису прокатилась волна крупных забастовок, проведенных под руководством товарища Сталина.

Бастовали рабочие предприятий Бозарджианца и Адельханова, бастовали в типографиях и на конке.

19 апреля 1899 года под руководством товарища Сталина за городом была организована первая маевка тифлисских рабочих.

Первая закавказская революционная газета ленинско-искровского направления «Брдзола», отмечая на своих страницах маевки тифлисского пролетариата, писала:

«19 апреля 1899 года 70 рабочих тайно собрались за городом с красным флагом и поклялись друг другу: „Соединимся, присоединим к себе всех наших братьев и смело начнем борьбу с нащим общим врагом — с буржуазией и правительством".

На маевке присутствовали рабочие всех национальностей и различных промышленных предприятий (главным образом из железнодорожных депо-мастерских, где раньше всего зародилось движение)...»

Через год в этот же день была устроена за городом, у Соленого озера, вторая маевка. Около пятисот рабочих в тот день под красным стягом повторили клятву о братстве, единстве, о самоотверженной борьбе с царским самодержавием, капиталом и буржуазией.

На рабочих знаменах колыхались портреты великих основоположников научного социализма Маркса и Энгельса...

Говорил Сталин. Как всегда, ясно и просто. И каждое его слово проникало в самую глубину сознания слушателей.

«Мы сейчас настолько уже окрепли, что в будущем году сможем провести маевку не в горных ложбинах, а в самом городе, на главных улицах.

Наше красное знамя должно развеваться в центре города, чтобы самодержавие почувствовало нашу силу!»

Так говорил Сталин — учитель и любимый друг рабочих Закавказья.

Сорок лет прошло с тех пор, как на маленькой поляне у Соленого озера прозвучали эти гордые и бесстрашные слова, но и сейчас, вспоминая о них, старые железнодорожники Закавказской так ярко переживают волнение тех незабываемых дней, как если бы это было только вчера, а не сорок лет тому назад...

*

Три месяца не утихала волна забастовок в Тифлисе.

В августе 1900 года Сталин при активном участии М. И. Калинина поднял рабочих железнодорожных мастерских и депо Закавказской железной дороги на грандиозную стачку.

Четыре тысячи человек покинули свои станки. У дороги перехватило дыхание...

Подобной массовой стачки еще не знало Закавказье.

Августовская стачка железнодорожников закончилась победой.

«Мы не раз побеждали на поле брани наших грабителей! — писал тогда товарищ Сталин в своей прокламации. — Ну-ка, вспомните, какое объявление было расклеено в наших мастерских в 1898 году? Что спасло или кто спас нас от этого унижения, от этого распоряжения, которое приравнивало нас к животным?— Борьба!..»

«Борьба!.. Борьба!..» — этот сталинский лозунг на протяжении многих лет был путеводной звездой, светящей сквозь мглу царской реакции на революционный путь рабочих Закавказья.

На заводах и фабриках, в рабочих предместьях и на окраинах Тифлиса готовилась первомайская демонстрация.

Руководящая центральная социал-демократическая группа, в которую входили передовые железнодорожники: М. Бочоридзе, З. Чодришвили, В. Стуруа и др., возглавляемая товарищем Сталиным, проводила в те дни огромную агитационную и организационную работу по подготовке этой демонстрации.

Деятельно помогал товарищу Сталину в этой работе его ближайший друг и соратник Виктор Константинович Курнатовский, образованнейший марксист того времени, сподвижник Ленина, переселившийся после царской ссылки в Тифлис.

Имя этого пламенного революционера, стойкого ленинца, с большой любовью и уважением произносится в среде старшего поколения рабочих-железнодорожников Закавказья. Курнатовский был одним из любимых и почитаемых учителей в первых, только еще зарождающихся на Закавказской железной дороге марксистских кружках, как сторонник сталинского направления.

Невиданный размах агитационной работы, предшествовавший первомайской демонстрации, повлек за собой усиление полицейской слежки среди революционно настроенной интеллигенции и рабочих.

В ночь на 22 марта был арестован Курнатовский. В ту же ночь жандармерия ворвалась в здание тифлисской сейсмической обсерватории, где в то время проживал товарищ Сталин, состоя на службе в обсерватории в качестве наблюдателя.

К счастью, товарища Сталина дома не оказалось.

В его комнате был произведен тщательный обыск, а на другой день жандармское управление вынесло постановление:

«... привлечь названного Иосифа Джугашвили и допросить обвиняемым по производимому в порядке положения о государственной охране исследованию степени политической неблагонадежности лиц, составивших социал-демократический кружок интеллигентов в г. Тифлисе». (Архив Тбилисского филиала ИМЭЛ ф. 31, д. № 23, т. III, л. 2).

Но «привлечь» и «допросить» Сталина на этот раз жандармерии не удалось... Предупрежденный товарищами о случившемся, в ту же ночь товарищ Сталин переходит на нелегальное положение.

*

22 апреля 1901 года на мостовых Тифлиса раздалась мерная и грозная поступь рабочих колонн.

Ничего подобного этому тифлисские улицы никогда еще не видели...

Демонстрация собиралась в самом центре города, на Солдатском базаре близ Александровского сада.

Около двух тысяч рабочих приняли участие в этой демонстрации. И в первых рядах тифлисского пролетариата шли революционные рабочие-железнодорожники Главных мастерских и депо Закавказской железной дороги.

«Рабочие всей России решили праздновать первое мая открыто — на лучших улицах города. Они гордо заявили власти, что они не боятся казацких нагаек и шашек, пыток жандармов и полицейских!

Объединимся же и мы, друзья, с российскими товарищами! Подадим друг другу руки, грузины, русские, армяне, соберемся вместе, подымем красное знамя и отпразднуем наш праздник первое мая!»

Пламенные слова сталинской прокламации вздымали вверх полотнища алых знамен и они плескались над потоком людей, словно паруса в разбушевавшемся море...

Демонстранты были атакованы полицией и казаками. Против революционных рабочих было пущено в ход оружие.

В свисте полицейских сабель и казацких нагаек падали люди...

У знамени, врученном Сталиным, шел железнодорожный рабочий Леонтий Мамаладзе. Вид красного знамени приводил в бешеную ярость и без того озверевшую свору царских опричников...

«Я все время был возле знамени, пока без чувств не упал на мостовую, — рассказывает товарищ Мамаладзе, — то же было со многими товарищами».

«Когда наседала полиция, — рассказывает другой участник демонстрации, — мы бросались к знамени и оно снова высоко взвивалось на древке».

Сталин находился в самом авангарде рабочих колонн. Он указывал рабочим, как нужно держаться, как действовать в борьбе.

В столкновении с полицией и казаками было ранено четырнадцать рабочих и арестовано свыше пятидесяти.

«Демонстрация рабочих на улицах Тифлиса — кавказской цитадели русского самодержавия — явилось крупнейшим политическим событием и оказало огромное революционное воздействие на весь Кавказ» (Л. П. Берия. «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Изд. 4-е, стр. 24).

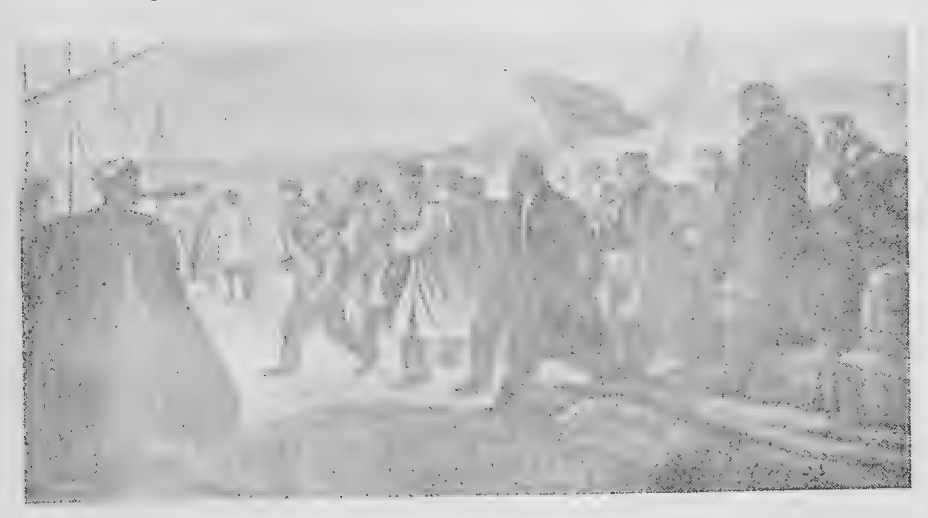
Весть о событиях 22 апреля в Тифлисе широко разнеслась

по всей России. По поводу тифлисской демонстрации ленинская «Искра» писала:

«Событие, бывшее в воскресенье 22 апреля (ст. стиля) в Тифлисе, является исторически-знаменательным для всего Кавказа: с этого дня на Кавказе начинается открытое революционное движение» («Искра» № 6, июль 1901 г.).

В те дни сталинская газета «Брдзола» с присущей ей прозорливостью писала:

«Власть не менее нас убеждена, что уличная агитация — смертный приговор для нее, что достаточно еще пройти 2—3 годам и перед ней встанет призрак народной революции».



Демонстрация рабочих под руководством товарища Сталина (Батум, 9/III 1902).— С картины художн. Кутателадзе

Этот призрак вставал над Кавказом... Он всходил над нищими полями гурийских и имеретинских крестьян, проникал в самые глубокие штольни чиатурских рудников, кружил над мачтами кораблей в Батумском порту и призывными гудками широко разносил по путям Закавказья свой боевой революционный клич...

*

Это было в Тифлисе в 1902 году.

В одном из домов по Лоткинской улице жили рабочие железнодорожного депо — Сологашвили.

Они имели небольшой участок земли, который предоставили тифлисской организации для постройки подпольной типографии.

Руководил этим делом Миха Бочоридзе. За постройку взялись свои люди — каменщики Мириан и Тедо Маградзе и плотник Цхалоб Сологашвили.

Спешно был отстроен одноэтажный домик с подвалом, вход в который был сделан через потайной люк, устроенный между плитой и стеной комнаты.

Барабан и чугунную плиту тайно отлили в литейном цехе главных мастерских Закавказской железной дороги. Два рельса к барабану отковал сам Миха Бочоридзе.

Вначале вся эта несложная типография помещалась под резервуаром городского водопровода у подножья горы Давида. Затем, когда новое помещение на Лоткинской было готово, рабочий депо вагонного парка Георгий Делошвили перевез туда на тачке все типографское оборудование.

Вскоре товарищам удалось достать настоящую «бостонку», и работа тогда пошла быстрее.

Через несколько месяцев хлынули небывалые дожди, они затопили всю окраину города.

Разбушевавшаяся вода снесла домик на Лоткинской...

«Бостонку» перевезли на новое «местожительство» — в Чугуреты на Аматуньевскую улицу в дом Гвенцадзе.

Подпольное хозяйство нуждалось в «хозяйке». Туда пришла Бабэ Лашадзе-Бочоридзе, родственница Миха Бочоридзе, воспитанница революционной семьи железнодорожников.

Типография помещалась в жилой комнате, и это, конечно, представляло большую опасность, так как каждую минуту можно было ожидать прихода полиции.

Власти прекрасно знали, какая сила таилась в подпольных типографиях революционеров, и в случае открытия их сурово и беспощадно расправлялись со всеми, кто хоть в какой-нибудь мере был связан с подпольным печатным станком.

А какая требовалась конспирация!.. Малейшая неосмотрительность, неосторожный шаг — и провалена вся партийная работа, арестованы лучшие товарищи.

... Вот скрипнула калитка... Бабэ тревожно выбегает на балкон... Во дворе стоит полицейский.

Хитрым взглядом в прищурку он разглядывает дом. Глаза его напоминают глаза рыси. Противные глаза!

— Что тебе надо? — спокойно спрашивает Бабэ. — Никого нет дома.

— Как же, я своими глазами видел мужчину.

Бабэ нетерпеливо передергивает плечами.

— Почем я знаю, кого ты видел. Может быть кошка пробежала...

В глазах Бабэ светится явная насмешка... Полицейский соображает: по всей вероятности ничего подозрительного в доме нет, если эта женщина ведет себя так непринужденно. Но все же он исправный служака... Полицейский проходит в дом.

Болезненно сжимается сердце Бабэ. Все погибло... Эти собаки пронюхали квартиру...

Полицейский входит, останавливается посреди комнаты, бросая по ее углам косые взгляды.

Рядом, за тонкой стеной, в смежной комнате печатный станок, шрифты, бумага, свежие, только что отпечатанные прокламации, еще пахнущие типографской краской...

Все это настолько остро, что Бабэ кажется, что нет этой тонкой стены, что рысьему взгляду полицейского открывается вся картина подполья. Она вступает с ним в отчаянную перебранку, от которой полицейский теряется, не успевая отгрызаться от «докучливой скандальной бабы». Они долго спорят. Наконец полицейскому все это надоедает, и он, плюнув и напоследок ругнувшись, покидает дом.

Спровадив полицейского, не на шутку встревоженная Бабэ спешит в город, чтобы разыскать своего племянника Миха Бочоридзе и предупредить о посещении незванного гостя.

Через несколько часов машину пакуют в ящики и спешно перевозят к Миха Бочоридзе, пряча во дворе под досками.

*

На всю Грузию, на все Закавказье прогремели батумские события 9 марта 1902 года.



Разгон митинга рабочих железнодорожных мастерских в Тифлисе (1902)

«Батумские события 9 марта имели огромное политическое значение в деле развертывания революционного движения в Грузии и во всем Закавказье. Они оказали большое революционизирующее влияние на все Закавказье, особенно в районе Черномор-

ского побережья. Они в известной мере подготовили почву для дальнейших революционных событий, имевших место в Грузии и Закавказье в 1905 году» (Л. П. Берия. «Знаменательная дата»).

Товарищ Сталин находился в заключении в Батумской, затем в Кутаисской тюрьме.

Из мрачного царского застенка Сталин дал указание членам Кавказского Союзного Комитета РСДРП о создании в Тифлисе мощной подпольной типографии.

Это указание товарища Сталина было передано тифлисским товарищам через Миха Бочоридзе.

Тотчас же начали подыскивать удобное и надежное место. Выбор пал на участок земли, арендованный рабочим железнодорожных мастерских Ростомашвили, которого Миха Бочоридзе знал до того по работе в мастерских.

Участок этот находился на Авлабаре за чертой города. Место было пустынное: вокруг несколько домиков, поблизости хмурый корпус инфекционной больницы, несколько поодаль — строения кирпичного завода и за полотном железной дороги — кладбище. А дальше, до самого Навтлуга, тянулись унылые, заброшенные пустыри. Город был связан в то время с Авлабаром избитой проселочной дорогой.

План типографии составлялся коллективно, каждый вносил в него свои соображения и уточнения, но в основном пришли к решению о постройке на участке жилого дома с двумя подвалами и подземным ходом.

Юридическим лицом был Давид Ростомашвили, исхлопотавший в городской управе через знакомого техника разрешение на постройку дома из двух комнат с подвалом.

Когда все формальные процедуры были закончены, Кавказский Союзный Комитет снабдил Ростомашвили деньгами на строительство, и работа началась.

Перед началом земляных работ вся территория участка была обнесена высоким дощатым забором.

В очень короткий срок вырыли глубокий котлован. На вопросы землекопов и соседей, зачем нужен такой глубокий подвал, отвечали, что хозяин хочет иметь при доме большой ледник. Когда эта работа была закончена, землекопов рассчитали.

Подземелье обнесли кирпичным сводом и сверху наглухо засыпали землей.

Приступили к возведению жилого дома с небольшим подвалом и по окончании этой работы рабочих рассчитали.

Теперь предстояло решить самую трудную задачу — ход сообщения с подземельем. Вначале предполагали вырыть наклонный проход от колодца прямо к подземелью, но этот вариант был отвергнут как очень сложный, требующий точных расчетов, а ошибка в расчетах повлекла бы потерю дорогого времени. Поэтому было решено: параллельно с основным колодцем вырыть

другой колодец и на большой глубине соединить их прямым туннелем.

Эта работа была самым конспиративным участком строительства и не могла быть передоверена посторонним людям. Ее выполняли свои специалисты: двое каменщиков, трое столяров братьев Чодришвили и еще два товарища, которые потом остались работать в подполье в качестве наборщиков.

Второй параллельный колодец был также сверху глухо заделан землей.

Последней стадией работы был основной колодец, вырытый до воды на глубину двадцать два аршина.

Все работы были закончены в несколько месяцев. Создавалась строгая конспиративная система: для того чтобы попасть в типографию, нужно было спуститься по веревке в основной колодец, где, не доходя двух аршин до поверхности воды, туннелем пройти в параллельный колодец; здесь была специально установлена шестнадцатиаршинная деревянная лестница, по которой нужно было подняться до второго туннеля, ведущего в подземелье, где и находилась типография. Этот путь служил как для прохода в типографию людей, так и для снабжения ее бумагой, красками, шрифтами и всем необходимым. Таким же путем доставлялась наверх вся отпечатанная в типографии нелегальная литература.

Дом был готов. Появилась «домовая книга». «Хозяин» дома Давид Ростомашвили ходил в полицию прописывать новых жильцов. Прикидываясь неграмотным, он учтиво обращался к полицейскому чиновнику, прося за особое вознаграждение вписать жильцов в книгу. Чиновник очень охотно шел на это.

Подпольщики поселились в доме под видом рабочих-железнодорожников.

Вскоре в одну из первых страниц домовой книги каллиграфическим почерком полицейского чиновника было вписано: «Бабэ Лашадзе из с. Телав в Кахетии, род. 15 октября 1861 г.»

В доме появилась «хозяйка»; одним она приходилась «матерью», другим — «теткой».

На участке были разбиты грядки, посажены фруктовые деревья, по двору стали расхаживать куры...

На фасаде дома, выходящем на улицу, была прибита новая, свежеокрашенная дощечка с надписью: «Каспийская ул. д. № 4. Д. Ростомашвили».

Дом был, как дом, как сотни таких же домов в предместьях и на окраинах Тифлиса.

*

В зимнюю стужу 5 января 1904 года товарищ Сталин бежал из Иркутской ссылки.

Спустя три дня, начальник жандармского управления в Иркутске полковник Левицкий шифрованной телеграммой извещал департамент полиции о побеге из Балаганского уезда «поднадзорного Иосифа Джугашвили».

А в это время товарищ Сталин нелегальными путями пробирался в Закавказье.

Вскоре он прибыл в Тифлис и снова возглавил большевистские подпольные организации в Закавказье.

В Авлабарской типографии закипела работа.

Товарищ Сталин поселился на квартире у Миха Бочоридзе по Гончарной улице, № 18.

В этом доме товарищ Сталин писал статьи, брошюры, листовки, прокламации, воззвания, работал над изданием на языках народов Закавказья статей В. И. Ленина.

Здесь же товарищ Сталин редактировал орган Кавказского Союзного Комитета «Пролетариатес Брдзола» («Борьба пролетариата»). Газета «Борьба пролетариата» была продолжательницей первой нелегальной большевистской газеты ленинско-искровского направления «Брдзола» («Борьба»).

В годы революционного подъема «Борьба пролетариата» под руководством товарища Сталина сплачивала рабочий класс для революционного вооруженного восстания. Газета призывала рабочих и крестьян к непримиримой борьбе с царским самодержавием и буржуазией.

В статье, напечатанной в № 12 газеты [28(15)октября 1905 г.], «Реакция усиливается» товарищ Сталин писал: «... Всеобщее восстание, вот что мы хотим: спасение народа в победоносном восстании народа.

Смерть или победа революции — вот каков должен быть ныне наш революционный лозунг».

Газета «Борьба пролетариата» сыграла огромную роль в борьбе против предательской политики закавказских меньшевиков, беспощадно разоблачая перед рабочим классом подлую, двурушническую сущность меньшевизма.

В № 11 «Борьбы пролетариата» [15(28) августа 1905 г.] напечатана статья «Ответ социал-демократу», в которой «товарищ Сталин дает уничтожающую критику меньшевистской оппортунистической теории стихийности и обосновывает марксистско-ленинское учение о значении революционной теории и политической партии для рабочего класса... Товарищ Сталин развивает тезис Ленина о внесении социалистического сознания в стихийное рабочее движение, тезис о необходимости соединения революционной теории с массовым рабочим движением» (Л. П. Берия. «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье»).

Первые же вышедшие номера «Борьбы пролетариата» вызвали живейший отклик центрального органа партии «Пролетарий», который в № 12 1905 г. писал:

«Горячо приветствуем расширение издательской деятельности Кавказского Союза и желаем ему дальнейших успехов в восстановлении партийности на Кавказе».

Несколько позже на страницах «Пролетария» в рецензии на

№ 11 «Борьбы пролетариата» В. И. Ленин дал блестящую оценку статьям товарища Сталина (газета «Пролетарий» № 22, 1905 г.):

«Руководимая товарищем Сталиным газета ,,Пролетариатис Брдзола", выходившая на грузинском, русском и армянском языках, являлась боевым органом большевистской партии» (Л. П. Берия. «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье»).

Эта газета печаталась в Авлабарской подпольной типографии.

В тот же период в Авлабарской типографии печатались в большом количестве революционные брошюры с тиражем от одной до трех тысяч экземпляров, прокламации и листовки.

Перу товарища Сталина принадлежат: «Обращение к организованным рабочим г. Тифлиса» — прокламация, изданная по поводу роспуска тифлисского меньшевистского комитета, вышедшего из Кавказского Союза РСДРП (17/I 1905 г.); «Товарищи» — прокламация, изданная в связи с русско-японской войной; обращение к рабочим Кавказа; «Что выяснилось», призывающее к революционному восстанию; «Воззвание к рабочим», выпущенное в связи с октябрьским манифестом 1905 года, и ряд других.

В Авлабарской типографии был напечатан также ряд брошюр и статей Ленина и Сталина: «К деревенской бедноте», «Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», «Две тактики социал-демократии в демократической революции» (Ленин), «Вскользь о партийных разногласиях», «Две схватки», «Ответ социал-демократу», «Вооруженное восстание и наша тактика», «Реакция усиливается», «Маска сорвана» и др. (Сталин).

Большая часть передовиц и руководящих статей для газеты «Борьба пролетариата» писалась лично товарищем Сталиным и передавалась в типографию через Миха Бочоридзе.

Авлабарская типография вскоре уже не могла удовлетворять все возрастающий спрос среди революционно настроенных масс на литературу. В связи с этим товарищем Сталиным был поставлен вопрос о приобретении большой печатной машины.

По договоренности Кавказского Союзного Комитета с Бакинским Комитетом РСДРП большевики-железнодорожники перевезли из Баку в Тифлис в разобранном виде скоропечатную машину типа «Бостон». С большими предосторожностями ее доставили на Авлабар и по частям спустили в подземелье.

*

Работа в типографии начиналась с шести часов утра. Обычно в девять завтракали и затем работали до четырех. После обеда работали до десяти часов вечера, а когда была спешная работа, проводили у станка все ночи напролет.

Товарищ Сталин большое внимание уделял работе типографии, лично вникая во все мельчайшие детали, проявляя большую заботу к людям, работающим в трудных условиях в подземелье.

Нередко, когда работники типографии приходили на квартиру Миха Бочоридзе за материалами к печати, товарищ Сталин беседовал с ними; давал ценнейшие указания о том, как правильно организовать процесс типографской работы, как уберечь типографию от полицейского сыска, и не раз во время таких бесед товарищ Сталин упрекал подпольщиков в том, что они слишком мало отдыхают и не берегут своих сил и здоровья.

Распространение по городу и по всему Кавказу нелегальной большевистской литературы в массовых тиражах вызывало большое беспокойство полиции и жандармерии, направлявших все свои усилия к розыску подпольной типографии. Только строжайшая конспирация большевиков-подпольщиков, воспитанных товарищем Сталиным, спасала на протяжении целых двух лет типографию от провала.

Вот что рассказывает о работе типографии участник Авлабарского подполья, бывший рабочий депо Закавказских железных дорог, Георгий Делашвили:

«Наша Авлабарская типография имела свой транспорт — тачку для перевозки бумаги и литературы и даже воду мы привозили в бочке своими средствами, лишь бы не подпускать к дому посторонних людей.

Отпечатанную литературу отвозили в город и на станцию для отправки в Баку, Батум и другие города.

Верхний этаж, если за нижний считать подземелье, составлял две комнаты. В одной жили наборщики, в другой — наша „хозяйка" Бабэ и я.

Из второй комнаты в подвал была проведена сигнализация.

Условились, что один звонок означает тревогу, два звонка обязывали нас выглянуть из подвала, а три — разрешали подняться наверх.

Бабэ Лашадзе готовила обед, убирала комнаты, стирала белье, а мы — пять человек — проводили день, а иногда и ночь в подполье.

Подвал был так хорошо оборудован, что не пропускал наружу шума машины. Стены были выложены кирпичом и камнем. Воздух проникал через отдушины, мы даже приспособили железную печку, чтобы сжигать в ней ненужные бумаги, обрезки.

Горели три газовые лампы, четвертую и пятую зажигали во время печатания.

Я работал машинистом-накладчиком, но научился и наборному делу. Приходилось работать также и по перевозке литературы Тачка наша была двухколесная, на рессорах. Печатную бумагу мы закупали по десять—пятнадцать пудов. Доставляли ее сперва в подвал старика Ростомашвили, торговавшего фруктами, а оттуда по частям перебрасывали в типографию.

Из типографии мы выходили и возвращались туда или рано утром, когда все еще спали, или ночью. С тачкою мы двигались

по глухим закоулкам. Бывало, завернешь за угол и оглянешься, если нет подозрительных лиц, — едешь дальше.

Тифлисская подпольная типография была образцом сталинской школы большевистского подполья, строгой конспирации».

*

13 декабря 1904 года под руководством товарища Сталина в Баку вспыхнула грандиозная стачка.

Все работы на нефтяных промыслах были парализованы. Бакинский пролетариат крепкой рукой сжал нефтяные артерии, остановив поток «черного золота», а заодно с ним и потоки настоящего золота, льющегося в карманы нефтепромышленников.

Напоследок лязгнули буферами железнодорожные составы, заскрежетали тормозами и стали.

Ветер, дующий с моря, бил в пустые цистерны, и они во мраке ночи заунывно гудели, гудели не переставая...

На пристанционных путях сиплой, простуженной глоткой изредка посвистывал маневровый паровоз, одинокий, окоченевший от стужи и безделья.

У морского берега в сером студне застывшего Каспия болтались пустые нефтеналивные шаланды, выставляя напоказ высоко над водой свои прозеленевшие бока, перетянутые красным поясом ватерлинии...

Нефтяной город замер...

Восемнадцать дней продолжалась стачка, до тех пор, пока нефтяные магнаты дрожащей от страха рукой не подписали предложенный рабочими коллективный договор.

Это был первый в истории рабочего движения в России договор с нефтепромышленниками... Его продиктовал Сталин.

Бакинская стачка громовым эхом прокатилась по всему Закавказью, по всей России и своим мощным размахом всколыхнула новую, небывало широкую волну революционного движения.

Бакинская стачка послужила «сигналом славных январско-февральских выступлений по всей России» (Сталин).

Волны народного гнева, вскипевшие на берегу Каспийского моря, в Баку, девять дней спустя с еще большей силой забушевали на берегу Невы — в цитадели российского самодержавия — в Петербурге.

*

«Да, пора разрушить царское правительство, и мы разрушим его! Тщетно стараются гг. либералы спасти обрушивающийся трон царя! Тщетно протягивают царю руку помощи! Они стараются вымолить у него хоть какую-нибудь милостыню и склонить его в пользу своего „проекта конституции", чтобы мелкими реформами, проложив себе путь к политическому господству, обратить царя в свое оружие, заменив самодержавие царя самодержавием бур-

жуазии и затем систематически душить пролетариат и крестьянство!..

С другой строны, волнующиеся народные массы готовятся к революции, а не к примирению с царем; они упорно держатся пословицы: „горбатого одна только могила исправит".

Да, господа, тщетны ваши старания! Русская революция неизбежна и так же она неизбежна, как неизбежен восход солнца! Можете ли остановить восходящее солнце — вот в чем вопрос!..» (Сталин. Воззвание «Рабочие Кавказа, пора отомстить!»).

Пламенные слова Сталина поднимали рабочий класс на борьбу с царем и капиталистами.

В эти исторические январские дни 1905 года тифлисский пролетариат объявил всеобщую забастовку. За ним последовали горняки Чиатура, рабочие Батума, Кутаиса, Самтредиа и других городов Закавказья.

«Стачки и забастовки обычно перерастали, под руководством большевистских организаций, в вооруженные демонстрации и вооруженные столкновения рабочих с полицией и войсками» (Л. П. Берия).

«Уже поднимается буря, предвестница зари! Еще вчера, позавчера кавказский пролетариат — от Баку до Батума — единогласно выразил свое презрение царскому самодержавию. Нет сомнения, что эта славная попытка кавказских пролетариев не пройдет даром для пролетариев других уголков России. Далее, пересмотрите бесчисленные резолюции рабочих, выражающих глубокое презрение царскому правительству; прислушивайтесь к глухому, но сильному ропоту в деревнях — и вы убедитесь, что Россия — заряженное ружье с приподнятым курком, могущее разрядиться от малейшего сотрясения. Да, товарищи, недалеко то время, когда русская революция поднимет паруса и „сотрет с лица земли" гнусный трон презренного царя!» (Сталин. Воззвание «Рабочие Кавказа, пора отомстить!»).

В Гурии вставало крестьянство... Зугдиди, Гори, Душети, Телавский и Сенакский уезды были объяты пламенем крестьянских вооруженных восстаний.

Чаша страданий крестьян переполнилась до краев... С гневом и ненавистью они срывали со своей шеи ярмо кабалы и рабства, надетое дворянами и помещиками. Повсеместно происходил захват помещичьих земель; крестьяне отменяли налоги, бойкотировали князей, помещиков и правительственные учреждения. Князья, дворяне и помещики в паническом страхе убегали, бросая свои владения и награбленное добро...

Власти пришли в полную растерянность.

Лавина революционного гнева с чудовищной силой неслась по Закавказью, сметая все на своем пути...

«Так вперед же, товарищи! Когда царское самодержавие колеблется, наша обязанность готовиться к решительному натиску! Пора отомстить!» (Сталин).

Искры сталинских слов разносились по Грузии, по всему Кавказу и бушевали могучим пламенем первой всенародной революции.

*

Главные мастерские-депо Закавказской железной дороги были охвачены забастовкой. Дорогу лихорадило, но движение по ней еще не прекращалось, так как машинисты, являясь наиболее обеспеченным слоем среди железнодорожников, долгое время оставались в стороне от забастовки.

Но среди машинистов были передовые люди; они всеми силами старались влиять на товарищей с тем, чтобы те примкнули к всеобщей железнодорожной забастовке.

Наконец, для этого настал благоприятный момент. Начальник тяги Вартенбург приказал снизить поверстную оплату и премию за топливо. Заработок машинистов сразу упал ровно наполовину.

Посланные к Вартенбургу делегаты от машинистов вернулись ни с чем, они просто не были приняты.

Ранний апрельский вечер. К пяти часам, несмотря на дождь, в библиотеке-читальне при депо собралось свыше ста человек машинистов и их помощников.

Машинисты узнают, что начальник тяги Вартенбург выпроводил делегатов и наотрез отказался с ними разговаривать.

Гневно сжимаются кулаки, по комнате проносится ропот... Кто-то вскочил с места...

— Товарищи! Покажем же, наконец, нашу силу. Присоединимся к товарищам-революционерам. И так давно на нас указывают пальцем...

В комнате растет шум, движение...

Из президиума собрания раздается призыв председателя:

— Ясно, товарищи! Если не постоим за себя, начальник тяги еще больше сядет нам на шею... Надо всем присоединиться к забастовке!

И в ответ на это со всех сторон несутся голоса: «Бастуем! Бастуем!»

И целый лес рук поднимается кверху, голосуя за забастовку.

Только несколько человек остались с неподнятыми руками... Машинисты Головачевский и Урусов тайком пробираются к выходу. Они жмутся к дверям, но... Деваться некуда — члены патриотического общества миссионеров топчутся у запертой двери...

— Кто за забастовку с сегодняшнего же вечера — пусть подпишет сей лист, — объявляет один из товарищей, членов стачечного бюро.

Один за другим подходят к столу машинисты и подписывают забастовочный листок.

Подписали все. Остались только двое — Головаческий и Урусов. Товарищи ждут... И это молчаливое ожидание тревожно и угрожающе. Под выжидательные, напряженные взгляды собравшихся,

неуверенной походкой, озираясь по сторонам, к столу приближается Головачевский и дрожащей рукой подписывает забастовочный листок. Вслед за ним ставит свою подпись и Урусов. Собрание закрыто.

Поздний вечер... От стрелочных фонарей разбегаются в стороны смоченные дождем станционные пути.

У складов, пакгаузов и нефтяных баков резво посвистывают маневровые паровозы.

Но гудки их становятся все реже и реже и наконец совсем умолкают.

Товарищи из забастовочного комитета обходят пути и на месте охлаждают встречающиеся паровозы.

Справа и слева от станции, у входных стрелок, выставлены забастовочные пикеты; они ожидают подхода поездов с двух направлений — от Навтлуга и Авчал.

По сигналу «стоп» поезда останавливаются на стрелках. Забастовщики охлаждают паровозы.

Станция «зашита» с обеих сторон...

Приближается час отхода пассажирских поездов на Батум, Баку и Карс.

На первом и втором путях стоят составы, готовые к отправлению.

Вокзальная касса бойко торгует билетами.

В своем кабинете спокойно пьет чай начальник станции, ничего не подозревая о случившемся.

До отхода поездов остаются считанные минуты... Но паровозы под поезда не подаются. Совершенно необычайное явление!

Распаренный чаем, красный, вспотевший выскакивает на перрон начальник станции. По платформе забегали станционные жандармы.

Пассажиров охватила тревога. На вокзале появляется сам начальник тяги Вартенбург. Он обращается к пассажирам с просьбой не беспокоиться, потерпеть еще самое большее час, и поезда будут отправлены. Он просит публику не винить ни в чем дорогу, так как виноваты в этом «негодяи-забастовщики, сорвавшие график нормального движения».

Проходит час, другой, третий, а паровозов все нет.

Два часа ночи... Пассажиры уже потеряли всякую веру и угомонились. На вокзале и на путях тишина необычайная.

Невдалеке от станции, на квартире у одного из членов стачечного комитета собралась группа товарищей для выработки требований, которые на утро должны быть выставлены перед администрацией. И вдруг откуда-то издалека доносится паровозный свисток...

Все вскочили встревоженные, точно это был не далекий, еле слышимый свисток, а разрыв тяжелого артиллерийского снаряда.

«...Не может быть!.. Кто посмел?.. Какой негодяй изменил?..»

Без единого слова товарищи покидают квартиру и бегут к тому месту, откуда доносятся паровозные свистки. Вот уж они совсем близко, рядом, за железным забором... По путям бегает маневровый

паровоз и с особой, лихорадочной поспешностью старается расчистить главный путь, забитый вагонами. В окошко выглядывает голова предателя Головачевского.

Один миг — и камни в руках забастовщиков. А еще через миг Головачевский с окровавленной головой спрыгивает с паровоза и опрометью бежит по путям по направлению к станции.

И вновь тишина... Никем и ничем не нарушаемая до утра.

Утром на столе начальника тяги Вартенбурга лежали требования забастовщиков: улучшить материальное положение паровозных бригад, ввести восьмичасовой рабочий день и трехсменное дежурство на маневрах, устроить на паровозах скамейки для сидения, оградить от дождя и ветра брезентами, а главное — оградить рабочих от начальника тяги Вартенбурга.

Вартенбург вызвал роту солдат, просил применить против забастовщиков оружие.

По команде офицера раздался залп. Ни одна пуля не коснулась рабочих; солдаты стреляли вверх. Пули пробили расположенные вблизи керосиновые баки, и вместо крови фонтаном брызнул керосин.

По требованию Вартенбурга эту роту заменили другой.

Забастовка железнодорожников шла дружно и сплоченно.

Администрация вынуждена была пойти на уступки и удовлетворить все требования бастующих.

*

III съезд партии... Ленин с трибуны съезда предлагает послать приветствие революционным борцам Кавказа:

«III съезд РСДРП от имени сознательного пролетариата России шлет привет геройскому пролетариату и крестьянству Кавказа и поручает Центральному и местным комитетам партии принять самые энергичные меры к наиболее широкому распространению сведений о положении дел на Кавказе путем брошюр, митингов, рабочих собраний, кружковых собеседований и т. д., а также к своевременной поддержке Кавказа всеми имеющимися в их распоряжении средствами» (из резолюций III съезда РСДРП).

В то время Ленин писал:

«Нас опередили в этом отношении и Кавказ, и Польша, и Прибалтийский край, т. е. именно такие центры, где движение всего дальше ушло от старого террора, где восстание подготовлено всего лучше, где массовый характер пролетарской борьбы всего сильнее и ярче выражен» (Ленин. «Современное положение России и тактика рабочей партии», т. IX, стр. 27).

*

Царское правительство, ввязавшееся в неудачную войну с Японией, не имело достаточных сил для подавления народной революции. Поэтому оно решило обманным путем воздействовать на массы и переключить их с революционного пути на путь веры и надежды в «дарование» царем всяческих прав и свободы народу.

В октябре Николай II подписывает манифест.

Меньшевики восторженно встретили этот лживый манифест царя. В день объявления его они торжественно возвещали: «Отныне самодержавия нет, самодержавие умерло, Россия входит в ряды конституционных монархических государств».

Меньшевики Грузии тотчас же стали призывать рабочих к разоружению, выдвинув лозунг: «Мы не хотим оружия, долой оружие!»

В тот же день на митинге тифлисских рабочих выступал товарищ Сталин. Он сказал:

«Какая революция может победить без оружия и кто тот революционер, который говорит: долой оружие? Оратор, который это говорит, наверное толстовец, а не революционер, и кто бы он ни был, он враг революции, свободы народа...

Что нужно, чтобы действительно победить? Для этого нужны три вещи: первое, что нам нужно, — вооружение, второе — вооружение, третье — еще и еще раз вооружение».

В статье «Реакция усиливается» 15 (28) октября 1905 года товарищ Сталин писал:

«Черные тучи собираются над нами. Дряхлое самодержавие воспрянуло духом и встречает нас огнем и мечом. Реакция усиливается. Напрасно указывают нам на царские „реформы", которые призваны укрепить царское самодержавие: „реформы" лишь оправа пуль и нагаек, так щедро расточаемых кровавым правительством. Да, реакция усиливается...».

*

«Царь испугался — издал манифест:
Мертвым свобода, живых — под арест»

На следующий день после объявления царского манифеста Кавказский Союзный Комитет партии, возглавляемый товарищем Сталиным, обратился с воззванием «Ко всем рабочим»:

«Царское самодержавие преграждает путь народной революции, оно пытается вчерашним своим манифестом приостановить это великое движение, — ясно, волны революции поглотят и далеко выбросят царское самодержавие».

Революционный пролетариат Тифлиса и Баку отвечает на манифест массовыми демонстрациями протеста.

По всему Закавказью прокатывается новая волна вооруженных восстаний.

Пламенный голос Сталина будит, зовет, поднимает народ на беспощадную, решительную борьбу с царем, капиталистами и помещиками...

«Граждане!

Могучий великан — всероссийский пролетариат вновь зашевелился... Россия охвачена широким повсеместным стачечным движением. Как по мановению волшебного жезла, во всем необъятном

пространстве России жизнь сразу остановилась. В одном Петербурге с его железными дорогами забастовало более миллиона рабочих. Москва — тихая, недважная, верная Романовым старая столица — вся охвачена революционным пожаром. Харьков, Киев, Екатеринослав и прочие культурные и промышленные центры, вся средняя и южная Россия, вся Польша и, наконец, весь Кавказ остановились и грозно смотрят в глаза самодержавию». (Прокламация Тифлисского Комитета Кавказского Союза РСДРП, ноябрь 1905 г.).

Тифлисский большевистский комитет, руководимый товарищем Сталиным, принимает решение о восстании.

Рабочие захватывают Управление Закавказских железных дорог и телеграф. В кратчайший срок вся экономическая жизнь города оказалась в руках восставшего пролетариата.

Вся западная Грузия пылала в огне вооруженных восстаний.

Горы Аджарии, Имеретии, Мингрелии, Гурии грохотали эхом беспрерывной канонады...

Грозный клич Сталина — Пора отомстить! — поднимал народы Закавказья и вел их на невиданные в истории революционного движения Кавказа бои с царским правительством.

Сторожевые псы царского трона — полиция и жандармерия — в страхе поджали хвосты...

Начальник полиции на Кавказе Ширинкин в донесении директору департамента полиции 9 декабря 1905 года сообщал:

«Кутаисская губерния в особом положении... Жандармов обезоружили, завладели западным участком дороги и сами продают билеты и наблюдают за порядком...

Донесений из Кутаиса не получаю, жандармы с линии сняты и сосредоточены в Тифлисе. Посылаемые нарочные с донесениями обыскиваются революционерами и бумаги отбираются; положение там невозможное... Наместник болен нервным переутомлением, положение пока небезнадежное. Граф принимает важнейшие доклады, но он очень слаб. Подробности сообщу почтой или при невозможности — нарочным».

Царская власть организовала вооруженный разгром рабочего района Тифлиса — Надзаладеви. Вся Тифлисская губерния была объявлена на военном положении. Наместник царя на Кавказе в связи с событиями издал следующий приказ:

«Ввиду того, что за последние дни крайние революционные организации выступили с активными действиями, выразившимися в насильственном завладении железнодорожной линией с устройством на ней забастовки, в закрытии в городе Тифлисе торговых и промышленных предприятий, в воспрепятствовании восстановления почты и телеграфа и т. п., я признал необходимым объявить, на основании высочайше предоставленной мне власти, на военном положении гор. Тифлис с Тифлисским уездом и Закавказскую железную дорогу, объединение военной и гражданской власти в местностях, объявляемых на военном положении, возлагаю на помощника

моего по военной части генерала-лейтенанта Маламу с предоставлением ему прав временно генерал-губернатора. О вышеизложенном объявляю во всеобщее сведение и, кого касается, исполнение».

Дни 22 и 23 декабря ознаменовались крупной вооруженной схваткой рабочих с царскими войсками. Бои шли в самом центре Тифлиса, в районе Солдатского базара и Дидубе.

*

Царское правительство бросало все новые и новые вооруженные силы против народа. В телеграмме военному министру от 31 декабря 1905 года Воронцов-Дашков требует направления на Кавказ «еще двух дивизий с артиллерией с целью занять главнейшие пункты Кубанской и Терской областей и для восстановления законного порядка в Кутаисской губернии».

У восставших нехватало оружия... Горняки брали в руки кирки, крестьяне — топоры и вилы и с этим «оружием» шли в наступление на артиллерийские батареи врага.

Против необученных красных отрядов правительство бросало регулярные части пехоты, кавалерию и артиллерию.

Силы были неравные... Революция в империи развертывалась неравномерно, неорганизованно.

«Когда Москва боролась на баррикадах, Петербург безмолвствовал; Тифлис и Кутаис готовились к штурму, когда Москва уже была „покорена"; Сибирь бралась за оружие, когда юг и латыши были „побеждены", — а это значит, что борющийся пролетариат встретил революцию раздробленным на группы, вследствие чего правительству было сравнительно легко нанести ему поражение». (Сталин. «Текущий момент и объединительный съезд рабочей партии», 1906 г.).

Грузинские меньшевики в дни декабрьского восстания стали прямыми изменниками революции, они всячески старались отвлечь рабочие массы от вооруженной борьбы, вносили смуту и раскол в ряды партии, усиленно сеяли в народе сомнения и неверие в победу революции.

Меньшевики в эти дни на Кавказе совершили подлейший в истории революционной борьбы акт измены, став прямыми пособниками царского правительства в его гнусной расправе над восставшим пролетариатом.

В то время, когда царские сатрапы на Кавказе в крови народа топили революцию, грузинские меньшевики получали из рук палачей оружие.

Царский сатрап Воронцов-Дашков писал Николаю II:

«...Я решил выдать 500 ружей рабочей партии чистых социал-демократов меньшевиков, вызвавшейся, в отступление от своего принципа, не пользоваться оружием при преследовании партийных целей» («Революция 1905 года и самодержавие», стр. 179).

В дни первой революции «чистые социал-демократы» за спиной

борющегося народа протянули свою грязную, предательскую руку царским палачам.

В газете «Кавказ» было объявлено, что за каждого изобличенного в порче дорог или железнодорожных сооружений будет выдаваться вознаграждение в размере до пятисот рублей, в зависимости от серьезности повреждения.

Репрессии против рабочего класса с каждым днем усиливались.



Товарищ Сталин разоблачает меньшевиков в Чиатурах. — С карт. художн. Нарарейшвили

На вокзале станции Тифлис было вывешено следующее объявление временного начальника Закавказской железной дороги полковника Нейгебауера:

«Всем служащим службы движения, тяги, пути и материальной станции Тифлис. По случаю открывающегося движения поездов на вверенных мне дорогах предлагается всем желающим, за исключением лиц, участвовавших в стачечном бюро и исполняющих его распоряжения, заявить до 12 часов дня 30 декабря сего 1905 г. своим непосредственным начальникам, а именно: начальникам станции, депо, участка пути и смотрителю склада или их заместителям о своем желании вступить на службу. Не заявившие до назначенного срока о своем желании вступить на службу будут уволены со дня последней забастовки, начавшейся 12 декабря. Билеты для пропуска в район станции будут выдаваться начальником Тифлисского жандармского отделения г. Вальтером. Настоящее объявление не касается служащих главных мастерских, коим будет объявлено особо».

29 декабря на вокзале станции Тифлис вывешено было еще одно объявление полковника Нейгебауера:

«Сим объявляется, что с 15-го декабря 1905 г. Закавказские железные дороги на всем протяжении объявлены на военном положении, а поэтому всякие насилие и противодействие правильному и безопасному движению поездов будут подавляться военною силою».

По всей линии Закавказских дорог царские палачи учиняли свою кровавую расправу над революционными железнодорожниками.

*

Революция отступила...

Изменники и враги рабочего класса ликовали; они кричали о поражении революции, о том, что пролетариат разбит и побежден.

И тогда вновь раздался мощный голос вождя:

«Нет, товарищи! Пролетариат не побежден, а отступил на время, и теперь он готовится для новой славной схватки. Российский пролетариат не опустит обагренные кровью знамена, он был и будет единственным достойным руководителем великой русской революции» (Сталин. «Две схватки», изд. Кавказского Союзного Комитета РСДРП, 1906 г.).

Над страной нависли мрачные тучи реакции. С Украины, из Польши и Прибалтики, от берегов Черного и Каспийского морей по унылым, безлюдным трактам уходили в далекую Сибирь лучшие сыны народа...

Осенним дождем плакали, провожая их, хмурые, безлистные березы, одинокими странниками стоящие по обочинам дорог.

Ветры подхватывали глухой стон арестантской песни, заунывный перезвон кандалов и разносили эти печальные звуки по всей России.

«Дзинь-бом-м... Дзинь бом-м...
Слышен звон кандальный...
Дзинь-бом-м... Дзинь-бом-м...
Путь сибирский дальний!..
Дзинь-бом-м... Дзинь-бом-м...
Слышно там и тут:
Нашего товарища
На каторгу ведут...»

«Великая русская революция не умерла — нет, она жива! Она только отступила и накопляет силы для будущих мощных выступлений.

Ибо двигатели революции, пролетарии и крестьяне, живы и невредимы, и они не хотят, не могут отказаться от своих кровных требований...

Мы живем накануне новых взрывов, мы стоим перед старой задачей свержения царской власти...

Нашей обязанностью, обязанностью передовых рабочих, являет-

ся — достойно встретить грядущие славные сражения за республику, за права пролетариата.

Нам, и только нам, передовым рабочим, придется, как и в 1905 году, руководить революцией, направлять по пути к полной победе...

Нам, и только нам, передовым рабочим, придется, как и в 1905 году, сплачивать крестьян вокруг революционных требований...

Для всего же этого необходима единая и сильная партия, могущая взять на себя дело подготовки всех живых сил пролетариата к грядущим битвам...» (Сталин. Передовая статья в газете «Тифлисский пролетарий» № 1, от 5 января 1910 г.).

Партия, единая, великая, монолитная партия Ленина — Сталина в годы решающих боев с царским самодержавием и капиталом объединила под своими знаменами все живые силы пролетариата. Партия, великая партия Ленина—Сталина привела народы России к окончательной победе революции...

Под знаменами партии Ленина—Сталина великий советский народ построил Социализм и неуклонно идет к вершине человеческого счастья — к Коммунизму!

«Солнце встает над землей.
Взвейтесь знамена!
Слава борцам, с отвагой в сердцах
Павшим в боях! Победившим в боях!
Ставшим, как звезды в наших краях!
Взвейтесь знамена!
Слава вождям, в грозе закаленным!
Слава тому, кто ведет миллионы!
Утро. Теснее сплотитесь колонны!
Знамена! Знамена!
Взвейтесь знамена!» [1].



ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ

Г. П. ГАГЛОЕВ

Старый рабочий тбилисских Главных железнодорожных мастерских Г. П. Гаглоев делится воспоминаниями о работе молодого Сталина, первого учителя борьбы и победы трудящихся Закавказья.

Мне было пятнадцать лет, когда я приехал в Тифлис и в 1894 году начал работать в токарном цехе железнодорожных мастерских. Работал я учеником в бригаде Аллилуева. Через четыре года, впервые в железнодорожных мастерских, произошла крупная забастовка. Вслед за ней начались массовые увольнения рабо-

[1] «Знамена», народный поэт Грузинской ССР Галактион Табидзе.

чих. Я был тогда еще мальчиком и не мог хорошо разбираться в целях и задачах забастовки.

Недели через три меня снова приняли на работу. В нашем цехе работал строгальщик Левас. Он постепенно вовлек меня в революционную работу.

Обычно члены нашего кружка собирались у меня в маленькой комнатушке, на окраине города в Дидубе.

Это было в 1899 году. Однажды Левас пришел на обычное собрание кружка не один. С ним был юноша, просто и скромно одетый. Занятие кружка на этот раз шло особенно живо и интересно. То, о чем говорил этот юноша, чему учил он нас, надолго врезалось в память. Просто, увлекательно, с необычайным огоньком рассказывал наш новый руководитель о задачах рабочего класса в борьбе с самодержавием; о прибавочной стоимости; о том, как на каждом шагу капиталисты грабят и обманывают рабочих. К сожалению, вскоре занятия нашего кружка были прерваны. Часть из нас, в том числе и я, были снова уволены из мастерских.

Вано Стуруа и я переехали в Баку. Здесь я работал на механических заводах в Балаханах и в Черном городе; здесь я продолжал свою революционную работу. За это время я много узнал, многому научился.

На Балаханскую улицу, где я жил, часто приходил Ладо Кецховели. Он проводил с нами беседы, от него мы получали отдельные поручения.

Как сейчас помню работу по распространению прокламаций на заводах; мне было поручено тщательно прострогать доску, которая, оказывается, нужна была для подпольной типографии, руководимой Ладо Кецховели.

В Баку я узнал, что руководителем кружка в Тифлисе, собиравшегося у меня в комнате, был товарищ Сталин. Это он разъяснял нам основы политической грамоты и учил борьбе с самодержавием. Он воспитывал в нас великое чувство беззаветной преданности делу рабочего класса.

В Баку я несколько раз встречал товарища Сталина. В последний раз я встретился с товарищем Сталиным в Тифлисе в 1926 году. Тогда товарищ Сталин, выступая на собрании железнодорожников, говорил:

— Я, действительно, был и остаюсь одним из учеников передовых рабочих железнодорожных мастерских Тифлиса.

Товарищ Сталин тут же вспомнил о кружках, которыми он руководил.

— Я вспоминаю, — говорил товарищ Сталин, — 1898 год, когда я впервые получил кружок из рабочих железнодорожных мастерских. Это было лет двадцать восемь тому назад. Здесь, в кругу этих товарищей, я получил тогда первое свое боевое революционное крещение. Здесь, в кругу этих товарищей, я стал тогда учеником от революции. Как видите, моими первыми учителями были тифлисские рабочие.

Тогда же товарищ Сталин поблагодарил за это тифлисских рабочих.

— Я вспоминаю далее, — говорил товарищ Сталин, — 1905—1907 гг., когда я по воле партии был переброшен на работу в Баку. Два года революционной работы среди рабочих нефтяной промышленности закалили меня как практического борца и одного из практических руководителей. В общении с такими передовыми рабочими Баку, как Вацек, Саратовец и др., с одной стороны, и в буре глубочайших конфликтов между рабочими и нефтепромышленниками, с другой стороны, я впервые узнал, что значит руководить большими массами рабочих. Там, в Баку, я получил, таким образом, второе свое боевое революционное крещение. Здесь я стал подмастерьем от революции. Позвольте принести теперь мою искреннюю товарищескую благодарность моим бакинским учителям!

Наконец, я вспоминаю 1917 г., когда я волей партии, после скитаний по тюрьмам и ссылкам, был переброшен в Ленинград. Там, в кругу русских рабочих, при непосредственной близости с великим учителем пролетариев всех стран товарищем Лениным, в буре великих схваток пролетариата и буржуазии в обстановке империалистической войны я впервые научился понимать, что значит быть одним из руководителей великой партии рабочего класса. Там, в кругу русских рабочих — освободителей угнетенных народов и застрельщиков пролетарской борьбы всех стран и народов, — я получил свое третье боевое революционное крещение. Там, в России, под руководством Ленина, я стал одним из мастеров от революции. Позвольте принести мою искреннюю, товарищескую благодарность моим русским учителям и склонить голову перед памятью моего учителя Ленина.

От звания ученика (Тифлис), через звание подмастерья (Баку), к званию одного из мастеров нашей революции (Ленинград) — вот какова, товарищи, школа моего революционного ученичества...

*

Каждый случай, когда мне приходилось встречать и слушать товарища Сталина — великого мастера нашей революции и строительства коммунизма, — навсегда хранится в моей памяти как ценнейшее приобретение моей жизни. Его учение и даже одно его имя вызывают во мне неизменное и неувядаемое определение — любимый Учитель.

☆

МЕЩАНЕ

М. ГОРЬКИЙ

(Отрывок из пьесы)

В своей знаменитой пьесе «Мещане», акт из которой приводим, А. М. Горький вывел молодого машиниста Нила — сильного человека на голову превышающего весь окружающий его обывательский мирок. Образ Нила—борца по натуре, одного из тех, кто в 1905 г. породил революционеров типа Ухтомского, особенно хорошо раскрывается в помещаемом отрывке.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Бессеменов, Василий Васильевич, 58 лет, зажиточный мещанин, старшина малярного цеха.
Акулина Ивановна, жена его, 52 лет.
Петр, бывший студент, 26 лет } их дети.
Татьяна, школьная учительница, 28 лет } их дети.
Нил, воспитанник Бессеменова, машинист, 27 лет.
Перчихин, дальний родственник Бессеменова, торговец певчими птицами, 50 лет.
Поля, его дочь, швейка, работает в семьях поденно, 21 года.
Тетерев, певчий } нахлебники Бессеменовых.
Шишкин, студент } нахлебники Бессеменовых.
Цветаева, учительница, подруга Татьяны, 25 лет.
Степанида, кухарка.

Место действия — маленький провинциальный город.

Действие четвертое

...Вечер. Комната освещена лампой, стоящей на столе. Поля собирает посуду для чая. Татьяна, больная, лежит на кушетке в углу в полутьме. Цветаева — на стуле около нее.

Татьяна (*тихо, укоризненно*). Думаешь, я не хотела бы смотреть на жизнь вот так же весело и бодро, как ты? О, я хочу... но не могу. Я родилась без веры в сердце... Я научилась рассуждать.

Цветаева. Голубчик! Ты слишком много рассуждаешь. А, ведь, ты согласись, — не стоит быть умным человеком для того, чтобы только рассуждать... Рассудок — это хорошо, но видишь ли... чтобы человеку жилось не скучно и не тяжело, он должен быть фантазером, он должен, хоть не часто, заглядывать вперед, в будущее... (*Поля, внимательно слушая речь Цветаевой, улыбается ласково, задумчиво*).

Татьяна. Что там, впереди?

Цветаева. Все, что захочешь видеть!

Татьяна. Да-а... нужно выдумать!

Цветаева. Поверить нужно...

Татьяна. Во что?

Цветаева. В свою мечту. Ты знаешь... когда я смотрю в

глаза своих мальчишек, я думаю о них: вот Новиков. Он кончит школу, пойдет в гимназию... потом — в университет... он будет доктором, мне кажется! Такой солидный мальчик, внимательный, добрый... лоб у него огромный. Он очень любящий... он будет очень много работать, бескорыстный, славный... и люди будут его очень любить, уважать... я это знаю.

И однажды, вспоминая свое детство, он вспомнит, как учительница Цветаева, играя с ним во время перемены, разбила ему нос... А, может, и не вспомнит... ну, все равно!.. Нет, вспомнит, я думаю... он очень любит меня. Есть у меня рассеянный, растрепанный и всегда чумазый Клоков. Он вечный спорщик, задира, озорник. Он сирота, живет у дяди, ночного сторожа! Он почти нищий... но такой гордый, смелый! Я думаю, он будет журналистом. Ах, сколько у меня интересных мальчишек! И как-то невольно всегда думаешь о том, что будет с ними, какую роль они сыграют в жизни... Ужасно интересно представить себе, как будут жить мои ученики... Ты видишь, Таня, это ведь немного... но если б ты знала, как приятно!

Татьяна. А ты? Где ты сама? Твои ученики будут жить, быть может, очень хорошо... а ты тогда уже...

Цветаева. Умру? Вот еще! Нет, я намерена жить долго...

Поля (*негромко, ласково, как бы вздыхая*). Какая милая вы, Маша! Какая славная...

Цветаева (*улыбаясь Поле*). Запела коноплянка... Ты знаешь, Таня, я не сентиментальна... но когда подумаю о будущем... о людях в будущем, о жизни — мне делается как-то сладко, — грустно... Как будто в сердце у меня сияет осенний, бодрый день... знаешь, бывают такие дни осенью: в ясном небе — спокойное солнце, воздух глубокий, прозрачный, вдали все так отчетливо... свежо, но не холодно; тепло, а не жарко...

Татьяна. Все это... сказки... Я, впрочем, допускаю, быть может, вы—ты, Нил, Шишкин, и все похожие на вас, быть может, вы, действительно, способны жить мечтами... Я — не могу.

Цветаева. Нет, подожди... Ведь, не одни мечты...

Татьяна. Мне ничто, никогда не казалось достоверным... кроме того, разве, что вот это — я, это стена... Когда я говорю — да или нет... я это говорю не по убеждению... а как-то так... я просто отвечаю, и только. Право! Иногда скажешь — нет, и тотчас же подумаешь про себя — разве? а, может быть, — да?

Цветаева. Тебе нравится это... Присмотрись-ка к себе, не находишь ли ты что-то приятное для себя в таком раздвоении души? А, может быть, — ты боишься верить... ведь, вера — обязывает...

Татьяна. Не знаю... не знаю. Заставь меня поверить. Ведь, вот других вы заставляете верить вам... (*Тихо смеется*). А мне жалко людей, которые верят вам... ведь, вы их обманываете! Ведь, жизнь всегда была такая, как теперь... мутная, тесная... и всегда будет такая!

Цветаева (*улыбаясь*). Разве? А, может быть — нет?

Поля (*как бы про себя*). Нет.

Татьяна. Ты что сказала?

Поля. Я говорю: не будет!

Цветаева. Молодец, тихая птичка-коноплянка!

Татьяна. Вот одна из несчастных... верующих... А спроси ты ее, — почему нет? Почему изменится жизнь? Спроси.

Поля (*тихо, подходя поближе*). Ведь, видите, какое дело, — не все еще люди живут! Очень мало людей жизнью пользуются... множеству их жить-то и некогда совсем... они только работают, куска хлеба ради... а вот, когда и они...

Шишкин (*входит быстро*). Добрый вечер! (*Поле*). Здравствуй, русоволосая дочь короля Дункана.

Поля. Что? Какого короля?

Шишкин. Ага-а! Поймал! Вижу теперь, что Гейне-то вы не читали, хотя книжка у вас находится более двух недель. Здравствуйте, Татьяна Васильевна!

Татьяна (*протягивает руку*). Ей теперь не до книг... Она выходит замуж...

Шишкин. Но-о? За кого это? а?

Цветаева. За Нила...

Шишкин. А-а! В этом случае еще могу поздравить... Но, вообще говоря: это не умная шутка — жениться, выходить замуж и прочее в этом духе... Брак при современных условиях...

Татьяна. Ой, нет, не надо! Избавьте. Вы уже не однажды высказывались по этому поводу...

Шишкин. Когда так, — молчу! Кстати — мне и некогда. (*Цветаевой*). Вы идете со мной? Прекрасно! Петра — нет?

Поля. Он наверху.

Шишкин. Мм... Нет, не пойду к нему! Я попрошу вас, Татьяна Васильевна... или вас, Поля... скажите ему, что я... опять того, знаете... то-есть, что урок у Прохорова — свободен...

Цветаева. Опять. Ну, не везет вам!

Татьяна. Вы поругались?

Шишкин. Собственно говоря... не очень! Я — сдержан.

Цветаева. Но — из-за чего? Ведь, вы же сами хвалили Прохорова.

Шишкин. Увы! Хвалил... чорт побери! И, в сущности, он... порядочнее многих... не глуп... немножко вот — хвастун... болтлив и, вообще (*неожиданно и горячо*), — порядочная скотина!..

Татьяна. Едва ли теперь Петр станет доставать вам уроки...

Шишкин. Н-да, пожалуй, рассердится он...

Цветаева. Да что у вас вышло с Прохоровым?

Шишкин. Представьте себе, он — антисемит!

Татьяна. А вам какое дело до этого?

Шишкин. Ну, знаете... неприлично это! Недостойно интеллигентного человека. И вообще, он — буржуй! Хотя бы такая история: его горничная ходила в воскресную школу. Чудесно! Он же

сам прескучно доказывал мне пользу воскресных школ... о чем я его совсем не умолял! Он даже хвастался, что я-де один из инициаторов устройства школы. И вот, недавно, в воскресенье, приходит он домой и — ужас! Дверь отворяет не горничная, а нянька. Где Саша? В школе. Ага! И — запретил горничной посещать школу. Это как назвать по-вашему? (*Татьяна пожимает плечами молча*).

Цветаева. А такой он говорун...

Шишкин. Вообще говоря, Петр, точно насмех, достает мне уроки все у каких-то шарлатанов.

Татьяна (*сухо*). Помнится, вы очень хвалили казначея.

Шишкин. Да... конечно... старикашка милый! Но — нумизмат. Сует мне под нос разные медяшки и говорит о цезарях, диадохах и разных там фараонах с колесницами. Одолел, — сил моих нет! Ну, я ему и говорю: «Послушайте, Викентий Васильевич! А по-моему все это — ерунда! Любой булыжник древнее ваших медяков!» Он обиделся. «Что же, говорит, я пятнадцать лет жизни на ерунду убил?» Я же — ответил утвердительно. При расчете он полтину мне не додал... очевидно, оставил для пополнения коллекции. Но это — пустяки... а вот с Прохоровым я... н-да. (*Уныло*). Скверный у меня характер! (*Торопливо*). Слушайте, Марья Никитишна, идемте, пора!

Цветаева. Я готова. До свидания, Таня! Завтра воскресенье... я приду к тебе с утра...

Татьяна. Спасибо. Мне... право, кажется, что я какое-то ползучее растение у вас под ногами... ни красы во мне, ни радости... а итти людям я мешаю, цепляясь за них...

Шишкин. Какие вредные мысли, фу-у!

Цветаева. Обидно слышать это, Таня.

Татьяна. Нет, погоди... ты знаешь? Я понимаю... поняла жестокую логику жизни: кто не может ни во что верить, тот не может жить... тот должен погибнуть... да!

Цветаева (*улыбаясь*). Разве? А, может быть, нет?

Татьяна. Ты передразниваешь меня... ну, стоит ли? Смеяться надо мною... стоит ли?

Цветаева. Нет, Таня, нет, милая. Все это говорит твоя болезнь, усталость, а не ты... Ну, до свидания! И не считай нас жесткими и злыми.

Татьяна. Идите... до свидания.

Шишкин (*Поле*). Ну-с, когда же вы будете читать Гейне? Ах, да вы замуж... гм!.. Против этого можно бы кое-что сказать... но — до свидания! (*Уходит вслед за Цветаевой. Пауза*).

Поля. Наверно, скоро всенощная кончится... Сказать, чтобы подавали самовар?

Татьяна. Едва ли старики будут пить чай... Как хочешь, впрочем. (*Пауза*). Раньше тишина тяготила меня, а теперь мне приятно, что у нас тихо.

Поля. Вам не пора ли принять лекарство?

Татьяна. Нет еще... Последние дни у нас было так суетно, крикливо. Какой шумный этот Шишкин.

Поля (*подходя к ней*). Хороший он...

Татьяна. Добрый... но глупый...

Поля. Славный он, смелый. Где что увидит несправедливое, сейчас вступается. Вот — горничную заметил. А кто замечает, как живут горничные и другие люди, служащие богатым? И если заметит кто — разве вступится?

Татьяна (*не глядя на Полю*). Скажи мне, Поля... Ты не боишься за Нила замуж итти?

Поля (*спокойно, с удивлением*). Чего же бояться? Нет, ничего, я не боюсь...

Татьяна. Чего?.. А я... боялась бы. Я говорю с тобой об этом потому, что... люблю тебя! Ты не такая как он. Ты простая, он много читал, он уж образованный. Ему, может быть, скучно с тобой... Ты думала об этом, Поля?

Поля. Нет. Я знаю: он меня любит.

Татьяна (*с досадой*). Как можно это знать?

(*Тетерев вносит самовар*)

Поля. Вот спасибо вам! Пойду за молоком (*уходит*).

Тетерев (*с похмелья, опухший*). Иду мимо кухни, а Степанида взмолилась: «Батюшка! Внеси самовар! Я, говорит, тебе, когда понадобится, огурчика дам, рассольцу...». Соблазнился я, чревоугодник...

Татьяна. Вы уже от всенощной?

Тетерев. Нет, не ходил сегодня. Башка трещит. Вы — как? Лучше чувствуете себя?

Татьяна. Ничего, спасибо. Меня об этом спрашивали раз двадцать в день... Я чувствовала бы себя еще лучше, если бы у нас было менее шумно. Меня немножко раздражает эта беготня... все куда-то стремятся, кричат. Отец злится на Нила, мать все вздыхает... А я лежу, наблюдаю и... не вижу смысла в том, что они... все эти... называют жизнью.

Тетерев. Нет, любопытно. Я человек посторонний, не причастный к делам земли... живу из любопытства и нахожу, что здесь — довольно интересно.

Татьяна. Вы не взыскательны, я знаю. Но что ж тут интересного?

Тетерев. А вот — люди настраиваются жить. Я люблю слушать, когда в театре музыканты настраивают скрипки и трубы. Ухо ловит множество отдельных верных нот, порою слышишь красивую фразу... и ужасно хочется скорее услышать — что именно будут играть музыканты... Кто из них солист? Какова пьеса? Вот и здесь тоже... настраиваются.

Татьяна. В театре... да. Там приходит дирижер, взмахивает палочкой, и музыканты скверно, бездушно играют какую-нибудь старую, избитую вещь. А здесь... а эти? Что они способны сыграть? Я не знаю.

Тетерев. Кажется, что-то фортиссимо...

Татьяна. Посмотрим. *(Пауза. Тетерев раскуривает трубку).* Зачем вы трубку курите, а не папиросы?

Тетерев. Удобнее. Ведь я — бродяга, большую часть года провожу в дороге. Вот, опять скоро уйду. Установится зима, и я в путь.

Татьяна. Куда?

Тетерев. Не знаю... Да, ведь, это все равно.

Татьяна. Замерзнете где-нибудь... нетрезвый...

Тетерев. В дороге — никогда не пью... А и замерзну — что ж в том? Лучше замерзнуть на ходу, чем гнить, сидя на одном месте...

Татьяна. Это вы на меня намекаете?

Тетерев *(испуганно вскакивая).* Боже упаси! Что вы? Разве я... я не зверь!

Татьяна *(с улыбкой).* Да вы не беспокойтесь! Меня, ведь, это не обижает. У меня потеря болевой чувствительности. *(С горечью).* Все знают, что меня нельзя обидеть. Палагея, Елена, Маша... Они ведут себя, как богачи, которым нет дела до того, что чувствует нищий..., что думает нищий, когда видит, как они кушают редкие яства.

Тетерев *(сморщив лицо, сквозь зубы).* Зачем унижение? Надо уважать себя...

Татьяна. Ну, хорошо... оставим это. *(Пауза).* Скажите мне что-нибудь... про себя! Вы никогда не говорите о себе... Почему?

Тетерев. Предмет большой, но неинтересный.

Татьяна. Нет, скажите! Почему вы так странно живете? Вы кажетесь мне умным, даровитым... Что случилось с вами в жизни?

Тетерев *(скалит зубы).* Что случилось? О, это длинная и скучная история... если ее рассказывать своими словами...

Я—солнца, счастья шел искать,
Наг и бос вернулся вспять;
И белье, и упованья
Истаскал в моем скитаньи.

Но это объясненье красиво слишком для меня... хотя оно и кратко. К нему добавить надо, что в России удобнее, спокойнее быть пьяницей, бродягой, чем трезвым, чистым, дельным человеком. *(Входят Петр и Нил).* Только люди безжалостно прямые и твердые, как мечи, — только они пробьют. А, Нил! Откуда?

Нил. Из депо. И после сражения, в котором одержал блестящую победу. Этот дубиноголовый начальник депо...

Петр. Наверно, тебя скоро прогонят со службы...

Нил. Другую найду...

Татьяна. Знаешь, Петр, Шишкин поругался с Прохоровым и, не решаясь сказать это тебе лично...

Петр *(сердито раздражаясь).* Чорт бы его побрал. Это... возмутительно! В какое идиотское положение он ставит меня перед Прохоровым! И, наконец, лишает возможности быть полезным другому товарищу...

Нил. Ты погоди сердиться. Узнал бы прежде, кто виноват?

Петр. Я это знаю!

Татьяна. Шишкину не понравилось, что Прохоров антисемит...

Нил (*смеясь*). Ах, милый петушок.

Петр. Ну да! Тебе это нравится. Ты тоже совершенно лишен чувства уважения к чужим взглядам... дикие люди!

Нил. Постой! Ты сам-то разве склонен юдофоба уважать?

Петр. Я ни в каком случае не сочту себя в праве хватать человека за глотку.

Нил. А я — схвачу...

Тетерев (разглядывая спорящих по очереди). Хватай!

Петр. Кто дал... Кто дал вам это право?

Нил. Права̀ не дают, права̀ берут... Человек должен сам себе завоевать права̀, если не хочет быть раздавленным грубой обязанностью...

Петр. Позволь!..

Татьяна (*тоскливо*) Ну, закипает спор... бесконечный спор! Как вам не надоедает?

Петр (*сдерживаясь*). Извини, я не стану больше! Но, право же, этот Шишкин ставит меня...

Татьяна. Я понимаю... он глупый.

Нил. Он славный парень! Не только не позволит наступить себе на ногу, сам первый всякому наступит! Хорошо иметь в себе столько чувства человеческого достоинства...

Татьяна. Столько ребячества, — хотел ты сказать?

Нил. Нет я не ошибся. Но пусть это ребячество — и все-таки хорошо!

Петр. Смешно...

Нил. Н-ну, когда единственный кусок хлеба отшвыривается прочь только потому, что его дает несимпатичный человек...

Петр. Значит, тот, кто швыряется хлебом, не достаточно голоден... Я знаю, ты будешь возражать. Ты сам таков, ты тоже... школьник... Вот ты на каждом шагу стараешься показать отцу, что у тебя нет к нему никакого уважения... Зачем это?

Нил. А зачем это скрывать?

Тетерев. Дитя мое! Приличие требует, чтобы люди лгали...

Петр. Но какой смысл в этом? Какой?

Нил. Мы, брат, не поймем друг друга... нечего и говорить. Все, что делает и говорит твой отец, мне противно...

Петр. Мне тоже противно... может быть. Однако я сдерживаюсь. А ты постоянно раздражаешь его... и это раздражение оплачиваем мы — я, сестра...

Татьяна. Ну, будет вам! Ведь скучно же это! (*Нил, взглянув на нее, отходит к столу*).

Петр. Тебя беспокоит разговор?

Татьяна. Мне надоело. Одно и то же... всегда одно и то же.

(Входит Поля с кринкой молока в руке. Видя, что Нил мечтательно улыбается, она оглядывает публику и говорит).

Поля. Смотрите, какой блаженный.

Тетерев. Ты что смеешься?

Нил. Я? Я вспоминаю, как отчитывал начальника депо... Интересная штука — жизнь!

Тетерев (*густо*). Аминь!

Петр (*пожимая плечами*). Удивляюсь! Слепыми, что ли, родятся оптимисты?

Нил. Оптимист я или что другое, — это не важно, но жить — мне нравится. (*Встает и ходит*). Большое это удовольствие — жить на земле!

Тетерев. Да, любопытно!

Петр. Вы оба — комики, если вы искренние люди!

Нил. А ты... уж я не знаю, как тебя назвать? Я знаю, — и это, вообще, ни для кого не тайна: ты влюблен, тебя — любят. Ну, вот, хотя бы по этому поводу — неужели тебе не хочется петь, плясать? Неужели и это не дает тебе радости? *(Поля гордо смотрит на всех из-за самовара. Татьяна беспокойно ворочается, стараясь видеть лицо Нила. Тетерев, улыбаясь, выколачивает пепел из трубки).*

Петр. Ты забываешь кое-что. Во-первых — студентам жениться не позволено; во-вторых — мне придется выдержать баталию с родителями; в-третьих...

Нил. Батюшки! Да ведь это что же? Ну, тебе остается одно — беги! Беги в пустыню! (*Поля улыбается*).

Татьяна. Ты балаганишь, Нил...

Нил. Нет, Петруха, нет. Жить, — даже и не будучи влюбленным, — славное занятие! Ездить на скверных паровозах осенними ночами, под дождем и ветром... или зимою... в мятель, когда вокруг тебя — нет пространства, все на земле закрыто тьмой, завалено снегом — утомительно ездить в такую пору, трудно... опасно, если хочешь, — все же в этом есть своя прелесть. Все-таки есть. В одном не вижу ничего приятного, — в том, что мною и другими честными людьми командуют свиньи, дураки, воры... Но — жизнь не вся за ними! Они пройдут, исчезнут, как исчезают нарывы на здоровом теле. Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось!..

Петр. Не раз я слышал эти речи. Посмотрим, как тебе ответит жизнь на них!

Нил. Я заставлю ее ответить так, как захочу. Ты не стращай меня. Я ближе и лучше тебя знаю, что жизнь тяжела, что порой она омерзительно жестока, что разнузданная, грубая сила жмет и давит человека, я знаю это — и это мне не нравится, возмущает меня. Я этого порядка — не хочу! Я знаю, что жизнь — дело серьезное, но не устроенное... что она потребует для своего устройства все силы и способности мои. Я знаю и то, что я — не богатырь, а просто честный, здоровый человек, и все-таки говорю: ни-

чего! Наша возьмет! И на все средства души моей удовлетворю мое желание вмешаться в самую гущу жизни... месить ее и так и этак: тому — помешать, этому — помочь... вот в чем радость жизни!

☆

СТРЕЛОЧНИК ГРАНКИН

Ф. БЕРЕЗОВСКИЙ

Березовский Ф. А. (род. 1877 г.) бывший батрак, потом телеграфист на железных дорогах; как участник революционных событий 1905 г. был приговорен к расстрелу, но спасся. В отрывках автор описывает путь роста рядового революционера — из честного, но темного и неграмотного пролетария — в осознавшего свою роль и значение бойца.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Летом 1900 года меня перевели на маленькую станцию, расположенную в далекой сибирской тайге. После девятидневного путешествия вагон, нагруженный домашним скарбом и ребятишками, прибыл к месту назначения ночью и был поставлен в тупик. Утром, умывшись и почистившись, пошел я обозревать свою новую резиденцию и представляться станционным агентам.

На станции пусто: поездов не было, не видно и людей кроме двух стрелочников, которые сидели на шпалах около западных стрелок. Люди были на расстоянии полуверсты от меня, но казалось, что они разговаривают рядом со мной.

Волнуясь, я перешагнул порог конторы, где за письменным столом сидел и что-то писал движенец лет тридцати трех, атлетического сложения, с шелковистой русой бородой, полным и несколько бледным лицом, с красноватой припухлостью вокруг небольших карих глаз. На нем была красная фуражка, чесучовая тужурка и широкие шаровары, заправленные в лакированные голенища сапог.

У аппарата Морзе, сложив на стол руки калачиком и положив на них голову, спал телеграфист.

При моем появлении движенец поднял глаза, встал из-за стола и, улыбаясь, протянул руку.

— Кажется, мой новый помощник? — проговорил он мягким баритоном, несколько растягивая слова. — Я начальник станции, Брызгин. Садитесь!

Он подставил стул по другую строну письменного стола, а сам сел на прежнее место.

— Ну, как доехали?

— Ничего... Благодарю вас! Благополучно...

— Издалека же вас двинули к нам! — продолжал он, наскоро делая записи в журнале. — Небось, со страхом смотрите на здешний край.

— Большого страха нет, но и радости мало.

— Вот погодите, поживете годик-два, все страхи пройдут. Привыкнете — хвалить будете.

— А как относительно квартир?

— Квартиры незавидные. Вам, как старшему помощнику, будет комната и кухня. Не угодно ли посмотреть? Идемте!

При нашем появлении в третьем классе два стрелочника и сторож встали и отдали честь, взяв «под козырек».

— Вот что, ребята, — обратился к ним начальник станции. — Нужно выгрузить вещи вновь прибывшего помощника. И надо перетаскать их в свободную квартиру.

— Што ж — можно! — не то с задором, не то с враждой ответил один из стрелочников. — На пару бутылок водки перепадет, поди?

Начальник станции блеснул загоревшимися карими глазами и тоном приказания произнес:

— Я думаю, можно и без бутылки обойтись!

— Што ж, можно и так, — все тем же странным тоном ответил стрелочник. — Я, ведь, это к слову.

— Ну, так идите и гоните из тупика вагон!

Начальник станции повернулся ко мне:

— Или, быть может, рано еще. Ваша семья спит?

— Нет, семья уже встала. Пусть гонят, — ответил я, озадаченный тоном стрелочника.

— Идите! — приказал начальник станции стрелочникам и предложил мне пойти посмотреть квартиру.

Идя к жилому дому, я в уме разбирал значение разговора между начальником станции и стрелочником. Я знал, что в нашей железнодорожной среде иногда можно было снять с подчиненного последнюю рубашку и не встретить с его стороны протеста, а тут что-то совсем другое. Подчиненный открыто выражал желание получить плату за свои труды со своего ближайшего начальства! Стрелочник меня заинтересовал. Я понял, что приписать это здешним нравам нельзя. Сторож и второй стрелочник все время молчали и недружелюбно косились на смельчака-товарища. А начальник станции шел рядом со мной и говорил:

— Этот стрелочник у меня сволочь. Вам, конечно, как дежурному по станции придется иметь с ним дело. Советую обратить на него особое внимание. Фамилия его — Гранкин.

— Да... Смел, — смущенно заметил я.

— Какое там смел! — подхватил начальник станции. — Это просто олицетворение нахальства!

Мы осмотрели квартиру и вернулись на станцию: начальник станции в контору, а я на платформу, куда стрелочники подгоняли мой вагон. Теперь их было четверо и пятый сторож. Остано-

вив вагон против жилого дома, мы стали выгружать вещи и переносить их в квартиру.

Гранкин вошел в вагон и вместе со мной стал подавать оттуда вещи, а три стрелочника и сторож занялись переноской.

Только теперь я хорошенько рассмотрел Гранкина.

Это был мужичок лет сорока, маленького роста, сухопарый, с продолговатым лицом, украшенным льняного цвета бородёнкой, высоким тонким носом и смелым взглядом серых глаз. На нем была форменная шапка с гербом, заплатанный серый пиджачишко, подпоясанный ременным поясом с бляхой и такие же заплатанные серые шаровары, заправленные за голенища громадных сапог, подбитых гвоздями. У пояса висели ножны с флагами, медный рожок и коробка петард. Мы заговорили.

— Давно ты здесь служишь? — спросил я.

— Да уж года два, — приветливо ответил он, не отрываясь от дела.

— Все время на этой станции?

— Нет, здесь месяцев пять. А раньше служил на Уктуйской. Это перегонов пять отселева. Да повздорил там с начальником. Перевели сюда.

— Значит, ты уже привык к здешнему краю?

Он поднял на меня глаза и, почесав затылок, улыбаясь, ответил:

— Как сказать... Нужда заставит — и в аду привыкнешь, да еще нахваливать будешь.

*

Из кабинета начальника послышался грозный баритон Брызгина:

— Я спрашиваю: кто тебе позволил о бутылках говорить?

— Што ж тут такого? — слышался спокойный ответ Гранкина. Я, ведь, не требовал, а просто так, к слову пришлось.

— Раз и навсегда заруби себе на носу, — отчеканивал начальник станции, — ты обязан такую работу исполнять без всяких бутылок!

— Што ж... Это мы можем. А только должен я вам обсказать, господин начальник... Хоть я человек темный, неграмотный, а только ни в одной инструкции не сказано про это... штобы стрелошники выгрузкой займовались.

— Я — для вас инструкция! — рявкнул начальник станции. — Понял?

— Как не понять, понял. Только не по правилу это...

— Молчать! — взревел начальник станции и послышался удар кулаком по столу.

— Што ж... воля ваша. Можем помолчать, — слышался все такой же спокойный голос Гранкина. — А только вины моей тут нету никакой. Зря шумите, господин начальник...

— Раз я говорю, значит, есть вина! Ты это запомни! И убирайся вон!

Хлопнула дверь. В станционном здании водворилась тишина.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЗНАКОМСТВО

Нахлестывая себя зелено-курчавым веником и поглядывая на работу моего веника, он восклицал:

— Ловко! Здорово! Вот это по-нашему! По-мужичьи, по-русски!

— А ты что же думал? — спросил я, бросая веник.

— Каюсь: думал — барин. Типерьча вижу: мужик, настоящий мужик! Здорово!

В следующую баню он сам предложил мне пойти вместе и «сразиться» на вениках. К третьей бане мы были уже друзьями. Вели разговоры на самые разнообразные темы.

Гранкин оказался интересным собеседником.

Теперь я ясно видел его особенность: он любил обличать и громить несправедливых людей.

В маленькой серенькой фигурке Гранкина оказалась большая душа, протестующая против всякого вида угнетения и неправды.

Начальник станции был для него олицетворением гнета, и он громил его, разумеется, больше всех. Как я ни старался его примирить с начальником станции, Гранкин неизменно твердил одно:

— Што вы там ни толкуйте, а подлец он.

— Да почему же, — спрашиваю, — почему подлец?

— А потому, что измывается он над нашим братом, галится, вот почему! — с азартом ответил Гранкин и, подумав, заговорил гневно:

— Ну, рассудите сами, по правилу это? Выкосили мы ему нынче сено. Два стога во каких наворотили! И хучь бы тебе грош заплатил сукин сын! Или так, скажем: пьянствуют сами без просыпу, поезда держат без всякой причины. Это — ничего, можно! А наш брат, выпей какую рюмку али задремли в будке, сейчас же тебе штраф!..

Он остановился и почти шопотом прибавил:

— По мордасам бьет... тех, дураков-то. Ну, рассудите: по-человечески это? По правде это?

— Да, за это похвалить нельзя.

— Ну вот, видите! — радостно подхватил Гранкин. — А, помните, когда вы просили нас выгрузить свои вещи, то я упомянул про водку за труды. Ведь он меня как распекал-то за это! А што тут такого? Ведь, ежели по правде-то рассудить, я имел полное право просить. Потому все мы робим и все этим кормимся. А ежели я получаю двадцать рублев, так я за это стрелошником состою и выгрузкой вещей займоваться не обязан. Вот ежели бы на свете все люди по-одинаковому жили и никто нужды не терпел бы, тогда другой резон. Тогда и просить бы не к чему было.

Помолчав, он спросил:

— Вы как располагаете: переделают это когда-нибудь аль нет? Будут люди жить по правде, без нужды?

Я боялся еще итти на большую откровенность с Гранкиным и решил пока отвечать неопределенно:

— Трудно сказать, Гранкин, что будет.

Гранкин оживился:

— Ну, а с подлецами воевать надо?

— Один ты этого не выведешь...

— Я-то? — воскликнул Гранкин. — Ну и пускай не выведу! Когда-нибудь кто-нибудь выведет, окромя меня. А я за правду всегда стоять буду. Завсегда буду супротив подлецов иттить!..

Он замолчал, и серые глаза его, только что гневно блестевшие, стали наполняться грустью. Вытянув вперед правую руку и глядя на нее, он воскликнул:

— Эх, кабы писала у меня вот эта, отсохлая-то! Натворил бы я делов!..

— Вот и учись! — подхватил я. Учиться никогда не поздно, Гранкин.

Гранкин махнул рукой и с безнадежностью заговорил:

— Не стоит! Все едино так типерьча не научишься, штобы, значит, сразу мог непорядки уничтожить и жисть перевернуть. Штобы вот писнул одно слово — и нет подлеца, писнул бы второе слово — и нет еще одного подлеца. А так-то... пробую я, склады разбираю... Вот ежели бы здесь народ был другой, дружный, тогда и без грамоты можно было бы кое-кого сократить. А эти што же... Одни каторжные — народ натерпевший. Другое — расейские. В Расее-то их, говорят, раньше барины вроде как бы скотину держали. Даже на собак меняли. Забитый народ, куда им...

Гранкин вдруг как-то смешно тряхнул бороденкой и с беззаботной улыбкой воскликнул:

— Ну, а покель што и так поживем!.. Ну-ка, лезьте на полок, а я ковшичка два поддам, да и сразимся.

Он поддал вместо двух ковшей четыре, и мы полезли с ним на полок «сражаться».

*

Иногда мы ходили с Гранкиным за грибами. Собирание грибов часто прерывали и присаживались где-нибудь на опушке у поляны покурить. Гранкин ложился на спину и упирался взглядом в голубое небо. Я доставал папиросы и мы закуривали. Он пускал кверху клубы дыма и начинал сосредоточенно следить за их движением. Это предвещало, что сейчас он начнет кого-нибудь громить или обличать. И действительно, через две-три минуты он со вздохом произносил:

— Да, мало нынче хороших людей на свете...

— Почему ты так думаешь? — спрашивал я.

— А как же? Ведь што кругом происходит-то! Какой грабеж идет! Ужасти! Одни анжинеры какие мильены воруют! Вот я недавно собственными ушами слыхал. Приехал к нам на охоту начальник участка с приятелем каким-то. Опосля охоты выпивать

стали, запершись в первом классе. Известно, языки развязались. И давай он приятелю-то рассказывать, как строил станцию в Кедровке. Струб-то, говорит, вывел по-подрядному, а подрядчиком бывший сторож состоял. И за это шестьдесят рублев в месяц получал. А остальное доделывали по табелям, вроде как на ремонт пути. Понимаете? И ничего! Еще хохочет: дескать, на таких пустяках пять тысяч нажил... Сколь же он всего-то ворует?..

— Что же поделаешь, Гранкин. Ведь у этих мошенников все законно и бумагами подкреплено.

— А зачем же контролеры существуют? — воскликнул Гранкин. — Али тоже для грабежу?

— Контролеры такие же люди, как и инженеры.

— А зачем же ставят такую сволочь?

— А где же взять лучше? Ведь когда они не были контролерами, наверное, считались честными людьми, а вот попали к денежному делу и, как прочие, казнокрадами стали. — Смеясь, я добавил: — Вот, поставить бы тебя к такому делу, наверное, тоже соблазнился бы, а?

Гранкин быстро сел и испуганно замахал своими короткими, но крепкими руками:

— Што вы, што вы? За кого вы меня считаете? Нет уж... не такой я. Будь я контролером, да пиши бы у меня вот эта «отсохлая» — он с горечью посмотрел на свою правую руку, — ой-ой-ой, што бы я наделал!

Я решил начать наступление на Гранкина и сказал:

— Все так говорят, пока до денег не дорвутся.

Гранкин загорячился:

— Да вы што же, как располагаете? Неужто только в деньгах и счастье?

— Нет, я этого не думаю. Но вижу, что люди к деньгам рвутся. Никто от денег не отказывается.

— Ну, не-е-ет! — задорно пропел Гранкин. — Я так не располагаю. Не в том человечье счастье.

— А в чем же?

— А я так располагаю: найди человек свою линию, свою дорогу и иди по той дороге. Борись за правду и жисть расчищай. Вот тебе и счастье.

— А за какую правду людям надо бороться?

Гранкин удивленно посмотрел на меня.

— Тоись, как за какую? Поди, одна правда на свете существует.

— А по-моему не одна.

— А сколько же? Ведь не десять же? Была одна правда и завсегда останется одна...

— А по-моему никогда этого не было. Ну, возьмем вот такой пример: в Тальминке существует спичечная фабрика. Правда это или не правда?

— Знамо, существует, — смеясь ответил Гранкин.

— И принадлежит эта фабрика купцу Воробьеву. Это тоже правда?

— Конешно, правда.

— А выстроили фабрику рабочие. Они же делают спички. Они же упаковывают эти спички в ящики. Они же вывозят спички на станцию, распределяют по магазинам. Это тоже правда?

— Правда, правда, — посмеиваясь говорил Гранкин. — Все правильно.

— Значит, и фабрика и спички созданы руками рабочих. Спички распределены по магазинам рабочими и проданы приказчиками...

— Ну, ну? — понукал меня Гранкин, настораживаясь.

— А денежки, вырученные от продажи спичек, барыши, кто положил себе в карман? Воробьев?

— Ну, знамо, Воробьев, — ответил Гранкин. — Не мне же их отдать! Он хозяин фабрики, ему и барыши.

— Но ведь он же ни черта не делал. Все сделано чужими руками, руками рабочих. За что же он собирает в свои карманы капиталы, созданные не его руками? Где же тут справедливость? Где правда?

По мере того как я развивал свою мысль, улыбка с лица Гранкина постепенно исчезала, лицо его становилось все более серьезным и в глазах появилось удивление. На последних словах он перебил меня:

— Постойте! Постойте! Как же это. Вот штука-то! Значит, выходит... правды-то две, што ли?

Я ответил:

— Да, Гранкин, пока что на свете существуют две правды: у богатых и правящих людей — своя правда, у бедных и бесправных — своя.

Гранкин почесал затылок и, растягивая слова, пропел:

— Вот это здо-о-ро-во. М-да-а...

Мы оба замолчали.

После длинной паузы Гранкин, обратился ко мне.

— Дайте-ка еще папиросочку!

Закурив, он быстро и глубоко стал заглатывать дым. Видно было, что он усиленно думает. Лицо сделалось сосредоточенным, глаза блестели и часто мигали. Помолчав он вдруг сорвал с головы фуражку, шлепнул ее о землю и решительно заговорил:

— Ну, и чорт с ними! Я вот всю жизнь в бедности живу. И ни черта! Не плачу.

— Что же, ты чувствуешь себя счастливым? — спросил я Гранкина.

Он быстро ответил:

— А што же мне еще надо?

— Но ведь помимо того, что ты беден, ты знаешь, что тебя все ненавидят, даже твои сотоварищи по службе.

— А вот это-то мне и любо. Я иной раз за дураков горой

стою, а они на меня же рычат... Ничего! Пускай рычат. Своего антиресу не понимают, но когда-нибудь и Гранкина вспомянут. А на тех, на подлецов-то, плевать я на них хочу!

СТОЛКНОВЕНИЕ С НАЧАЛЬНИКОМ УЧАСТКА

—А это чья квартира? — спросил начальник участка, ни к кому не обращаясь.

— Это стрелочника, — ответил начальник станции. — Здесь необходимо печь переложить.

Начальник участка потыкал тросточкой в щели, образовавшиеся по бокам печи, заглянул в чело и промычал:

— М-м-да-а. Пожалуй надо переложить. — Он помолчал и, обернувшись к начальнику станции, прибавил: — Имейте в виду, что в квартирах стрелочников окраски полов не будет.

Только успел он договорить последнее слово, как из-за спины начальника станции раздался дерзкий голос Гранкина:

— Это по какому такому правилу?

На мгновение водворилась тишина.

— Это... кто же говорит? — удивленно спросил начальник участка, задирая голову и сверкая глазами сквозь пенсне.

С заложенными за кушак руками, с вызывающим видом Гранкин вышел вперед и тем же тоном, ответил:

— Я это говорю, стрелошник!

— А по такому правилу, — злобно передразнил его начальник участка, — что окраски полов в квартирах стрелочников не полагается!

— Тэ-э-кс... — с иронией пропел Гранкин. — Это што же выходит? По-вашему, значит, стрелошник не человек, стрелошник вроде скотины? Значит, только барины должны жить в чистоте да в опрятности? А стрелошников можно и в хлеву держать?

— Помилуйте... что же это такое? — сразу пониженным тоном обратился растерявшийся начальник участка к начальнику станции.

— Это не твое дело! — рявкнул на Гранкина начальник станции. — Я тебе приказываю замолчать!

— Нет, не замолчу! — крикнул в свою очередь Гранкин, делая шаг к начальнику участка. — Он думает, что на постройке Кедровской станции награбил пять тысяч, так и тут утянет што-нибудь. Нет, врет! Закона такого нету, штобы нам не красить полы. И я ему не дам ни гроша здесь заработать!

— Ма-ал-чать! — взревел начальник станции, багровея и топая ногой.

Начальник участка, потный и красный, как рак, беспомощно повертывался то ко мне, то к начальнику станции и растерянно бормотал:

— Послушайте, что же это такое?.. Я вынужден буду... телеграфировать. Ведь это оскорбление высшего агента! Ведь это разбой!..

Гранкин не унимался:

— Хучь самому министру доносите, а я не замолчу! Я не дежурный, и воспретить мне разговаривать вы не имеете полного права. А што касается грабежу казны, то вам не выгорит. Я и сам лупну гумагу, куда следовает...

— Да замолчи ты, гадина! — взвыл начальник станции, меряя его дикими глазами и сжимая кулаки.

— Нет, не замолчу, — спокойно ответил Гранкин. — Потому, сказываю вам, что не дежурный я.

— Тьфу! — плюнул начальник станции и кинулся к дверям. Начальник участка рванулся за ним...

ЗАДУШЕВНЫЕ РАЗГОВОРЫ

...Гранкин затянулся табачным дымом и заговорил:

— Вот, ежели бы люди дружка дружке только правду в глаза говорили, сколько бы подлецов-то на свете убавилось! И-и-и! Сосчитать невозможно! Я так располагаю в конце концов на свете подлецы совсем бы перевелись.

— Очень возможно, Гранкин, — согласился я. — Но для борьбы с подлецами прежде всего надо иметь в руках вещественные доказательства против них. И, кроме того, надо иметь за собой поддержку других людей...

— Ни черта не надо! — задорно перебил меня Гранкин. — Правду завсегда можно доказать. Лишь бы захотели сами люди. А доказать можно. Я, вот, сказал правду в глаза — и ни черта со мной не сделали. Видите, опять служу.

— Но тебя могли бы и прогнать со службы.

— Ну так што же... А я лупнул бы гумагу начальнику дороги, сам бы поехал к нему.

— Но ведь начальник дороги тоже инженер. Только вчера еще он сам был таким же начальником участка. Своего брата, инженера, он не променяет на стрелочника?

Гранкин быстро приподнялся, сел и, захлебываясь табачным дымом, возбужденно заговорил:

— Да што же по-вашему на свете нет честных людей? Нет правды? Все подлецы, мошенники?

— Ну, насчет правды мы уже раз говорили. И ты как будто согласился со мной, что правды разные бывают. И мы ведь не о всех людях говорим, Гранкин. Мы говорим с тобой о богатеях, о тех, кто ныне властвует и управляет. А эти люди, по-моему, сплошь бюрократы, подлецы и грабители.

В глазах Гранкина блеснул ехидно-веселый огонек, и он многозначительно спросил меня:

— А министры? А царь?

— Министры такие же прохвосты и грабители. А самый подлый и самый ужасающий прохвост и грабитель среди них — это и есть царь.

Пока я говорил эту фразу, глаза Гранкина все больше и больше расширялись, а когда я закончил, глаза его стали круглыми, и он перестал мигать.

Оценка, которую я дал царю и его министрам, для Гранкина, повидимому, была ударом молота по голове. Долго он смотрел на меня остановившимися глазами и молчал. Потом заговорил сразу охрипшим голосом:

— Постойте, постойте!.. Как же это?.. Про царя?.. Такие слова?.. Кто же так говорит про царя?

— Что поделаешь, Гранкин... Как бы тебе ни было неприятно, но таково мое убеждение. Я так думаю и говорю.

Все так же хрипло, заикаясь, Гранкин шептал:

— А я... считал вас... Ну, как же это?.. Постойте... Фу, ты, господи, боже мой!.. Неужто все?.. Вот так здорово?.. А я думал... Постойте!.. Не пойму я...

Мысли Гранкина, повидимому, окончательно спутались, пересохшее горло перестало ему повиноваться, голос оборвался.

*

— А надысь я был в городу. Всячины насмотрелся. Хорошо живут там люди, вольготно. А подойдешь к окошку магазина и не знаешь, на што смотреть. Аж глаза разбегаются. Народу нарядного на улицах — пушкой не пробьешь. Рысаков да экипажей разных ужасти сколько! А вечером шел я мимо губернаторского дворца. Вот жизня-то! На дворе темь, хоть глаз выколи, а во дворце будто солнце светит и весь дом насквозь видать. Народу военного — полнешенько. И духовая музыка наяривает. — Гранкин вздохнул и закончил рассказ:

— Да-а, хорошо живут люди, язви их...

Я спросил:

— А что, все люди в городе нарядно и праздно живут?

Гранкин махнул рукой:

— Какой там все! Рабочему люду худо живется. Сам ведь жил я в городу, знаю. Месяцами впроголодь живут.

— А как ты думаешь, Гранкин, долго такая жизнь будет продолжаться?

Гранкин настороженно приподнялся и спросил:

— То есть... какая жисть?

— Ну, вот такая: одни люди в роскоши утопают, а другие с голоду дохнут. Помнишь, ты сам мне почти такой же вопрос задавал?

Гранкин снова опрокинулся на спину и, не глядя на меня, безнадежно махнул рукой.

— Богатые и бедные завсегда были. Не в том дело.

— А знаешь ли ты, Гранкин, что придет время, когда вот в этих самых дворцах, залитых светом огромных электрических солнц, будут сидеть те самые рабочие, которые сейчас с голоду дохнут...

Гранкин быстро повернул ко мне удивленное лицо.

— Да, да, Гранкин! Они придут в эти дома и дворцы. И будут сидеть там как хозяева и управители жизни.

Гранкин подпрыгнул и сел. Широко раскрыв глаза, он замахал на меня руками, словно в испуге от слышанного.

— Постойте, постойте! Шутите вы, аль што, Иван Миколаевич?

— Да, да, Гранкин! Пройдет двадцать-тридцать лет, и ты будешь сидеть в этих дворцах как хозяин и управитель. Если не ты, так твои дети.

Гранкин не сводил с меня удивленно раскрытых глаз. Видно было, что он сдерживает какое-то бурно охватившее его чувство. Его тонкие губы подергивались, а бороденка вздрагивала. Потом вдруг он дико захохотал:

— Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!..

Он хватался руками за живот, раскачивался, крутил головой и хохотал.

— Что ты хохочешь? — попробовал я остановить Гранкина.

Но Гранкин неудержимо и громко заливался:

— Нет, постойте, постойте!.. Ха-ха-ха!.. Царя долой! Ха-ха-ха!.. А Гранкина в губернаторский дворец!.. Ха-ха-ха!..

Он протянул ко мне правую руку:

— А куда же тогда мою «отсохлую»-то?.. Ха-ха-ха?..

— К тому времени она будет писать.

Гранкин снова закатился бурным хохотом.

— Нет! Ха-ха-ха!.. Это — я-то... во дворце!.. Ха-ха-ха!.. Распорядитель!.. Начальство!.. Ха-ха-ха!..

Гранкин хохотал долго, до коликов, до слез.

Протерев глаза рукавом синенькой выцветшей рубахи, он заговорил устало и прерывисто:

— Ну и сказал, Иван Миколаич! О, господи, боже мой, чево придумал человек! Чуть не уморил!

— Почему ты думаешь, Гранкин, что это несбыточно?

Гранкин вдруг стал серьезным. Видно было, что мои разговоры о возможности пребывания Гранкина в губернаторском дворце в качестве одного из управителей он принял за издевательство. Он поднялся с земли и заговорил деловым тоном, в котором слышалась затаенная обида.

— Ну, ладно, отдохнули и довольно. Пора ко дворам. Нечего зря язык трепать! Не дурачок ведь я...

Забрав корзины с грибами, мы двинулись тропой по направлению к станции.

Я попробовал возобновить прерванный разговор и хотел растолковать Гранкину смысл происходящей в мире борьбы. Но Гранкин сдержанно и твердо остановил меня хмурясь:

— Ладно, Иван Миколаевич! Сказал ведь я, зачем зря язык чесать? Бросьте!.. Не маленький я...

Я стал заводить разговор издалека. Но всякий раз с первых

же слов Гранкин разгадывал мой ход и, иронически улыбаясь, перебивал меня:

— Вы опять к царю подводите. При чем тут царь?

— Да при том, что все зло от него идет.

— Это вы зря, — снова перебивал меня Гранкин. — По-вашему, выходит, царь виноват, што вся земля подлецами загажена?

— Да, царь.

— Значит, царь развел всю эту ораву?.. Царь наплодил столько мошенников?

— Ну, конечно, царь.

Гранкин крутил головой и повторял:

— Здорово! Ловко! — И, мгновенно переменив тон, глядя куда-то вдаль суровыми глазами, он почти враждебно обрывал разговор: — Ладно, Иван Миколаич, бросьте... Поговорили и довольно.

Но бросать я не собирался. При первом же удобном случае снова заговорил о царе.

И снова Гранкин поспешил отделаться от неприятного ему разговора.

— Опять! — воскликнул он. — Фу ты, господи, боже мой! Да в жисть я не поверю, што царь во всем виноват... Зря вы, Иван Миколаич, ей-бо, зря!..

Но чем чаще мы говорили о царе, тем больше менялся тон Гранкина. Звучавшая вначале враждебность в голосе Гранкина вскоре сменилась сухостью, а сухость — спокойным тоном. Но Гранкин все еще упорно защищал царя.

В начале осени в селе случилось происшествие. Сельский стражник избил крестьянина, вышиб ему два зуба и повредил барабанную перепонку. Крестьянин оглох. Когда в село приехал урядник, избитый крестьянин пожаловался ему и... получил две недели высидки в «холодной».

В этот день я был дежурным по станции.

Вечером, во время перерыва движения поездов, в контору вошел Гранкин. Он был расстроен. Присаживаясь на стул и обращаясь ко мне, кивнул головой в сторону села:

— Слыхали, дела-то какие? Урядник-то чего отчубучил с избитым, с мужиком-то?

— Слыхал.

— Што же это такое? Неуж на подлецов нет управы?

— Стало быть, нет.

— Да какое же такое полное право имеет стражник? Как может он калечить людей? Ну, скажем, провинился человек, не подал лошадь во-время. Ну, ладно, посади его в холодную... Оштрафуй! Зачем же калечить? Под суд надо стражника! В острог, сукина сына!..

— А урядник посадил в холодную избитого мужика! — нарочно насмешливо перебил я Гранкина.

— Значит, и урядника под суд надо! — кипятился Гранкин. —

И отдадут! Посадят! Вы што думаете, — так пройдет?.. Мужик-то не дурак, найдет управу и на урядника!.. Не сумлевайтесь, посадят и урядника!

— А я думаю, так пройдет.

— Это почему же?

— Да потому, что ворон ворону глаз не клюет. Говорил я тебе уже много раз... Кто поставил стражника к делу?

— Кто?.. Известно кто. Поди урядник и поставил.

— А урядника кто поставил?

— Почем я знаю. Кто-нибудь повыше ставил. Становой пристав, поди.

— Правильно, Гранкин!.. Урядника поставил к делу становой пристав. А станового пристава поставил полицмейстер. Полицмейстера поставил губернатор. Губернатора — министр. А министра — царь... — Вот и попробуй, пожалуйся на стражника в суд!.. Какая цепь защитников потянется за стражником?.. Ведь судьи-то тоже царем поставлены.

Гранкин смотрел на меня изумленными глазами. Но это продолжалось недолго. Он отвел глаза в сторону и, махнув рукой, просказал:

— Опять вы за свое...

Я наступал:

— Да ведь так это, Гранкин, так! Ты и сам увидишь, что правда это...

Гранкин задумался. Я заметил, что в нем происходит внутренняя борьба и готовился торжествовать победу. Но после раздумья Гранкин тряхнул бородкой и решительно произнес:

— Не дураки и меня учили: на небе бог, а на земле царь...

Он встал и направился к двери.

Я крикнул вслед:

— Значит, и стражник имеет кусочек власти, дарованной богом царю?

Гранкин не обернулся и ничего не ответил.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Меня перевели на разъезд — еще дальше от города, и жизнь моя потянулась однообразно и скучно.

Однажды, не успел поезд остановиться, из вагона третьего класса выскочил малого роста человек, в сером пиджачишке, в форменной фуражке с гербом и кинулся ко мне. Это был Гранкин. Улыбающийся, с лихорадочно блестевшими глазами, он на ходу кричал:

— Здравствуй, Иван Миколаич! Съели ведь меня... Съели!

Пожимая его руку, я спросил:

— Неужели, Гранкин? Как же это случилось?

— А так, — заговорил Гранкин, быстро выбрасывая слова. — Приезжал к нашему начальнику в гости Миколай Миколаич

А после того наш начальник признал меня слепым, ну и, конешно, послал к дохтору. А дохтор-то его приятель. Стал он мне фокусы показывать. Показывает два желтых шарика: один-то шибко желтый, а другой обыкновенный, и спрашивает:

— Этот какова цвету?

— Желтый, — говорю.

— А этот какова?

— Тоже, — говорю, — желтый.

— Врешь, — говорит, — этот желтый, а этот — оранжевый. Ты, говорит, слепой и служить не можешь. Понял я тут все — и домой. А там уж и до дежурства меня не допустили.

Гранкин приподнялся на носках и зашептал мне на ухо:

— Типерьча сам вижу... правильно вы сказывали, все мошенники: министры, анжинеры и царь такой же подлец. Все они — одна шайка!

Изумленный, я воскликнул:

— Как ты додумался до этого?

— Жизня научила! — твердо ответил Гранкин.

Раздался второй звонок.

Я схватил Гранкина за руку и, крепко пожимая, спросил:

— Куда же ты едешь, Гранкин?

— В город направляюсь, в мастерскую хочу поступить аль на фабрику...

— Оставайся здесь. Куда-нибудь устроим.

Гранкин махнул рукой и быстро заговорил:

— Не стоит, Иван Миколаич. Да и нечего мне здесь делать. Правильно вы когда-то сказали: один в поле не воин. Не с этого надо начинать... — Он опять приподнялся на носках и зашептал. — К фабричным надо присоглашаться... К рабочим. Всем-то миром сковырнем всех подлецов. И царя вместе с ними сковырнем! Обязательно!

Пробил третий звонок.

Гранкин потряс мне руку.

— Ну, счастливо оставаться! Може не свидимся! Прощайте!

Он на ходу вскочил в свой вагон.

*

КАРЬЕРА ПОДПОЛЬЩИКА

С. ВАСИЛЬЧЕНКО

Революционные выступления ростовских рабочих осенью 1902 г. — одно из звеньев важнейших событий кануна первой буржуазной революции в России. Рабочие железнодорожных мастерских стояли в первых рядах движения в Ростове-на-Дону. Васильченко С. Ф. (род. 1881 г. из семьи рабочего-железнодорожника—как активный участник ростовских событий — дважды ссылался на царскую каторгу. Его повесть имеет автобиографический характер; отрывки освещают положение рабочих железнодорожных мастерских и их борьбу в те далекие годы.

1. ПЕРВАЯ ПРОКЛАМАЦИЯ

Мотькин отец, стрелочник, простудился на дежурстве и заболел воспалением легких. Его отправили в соседний город, в приемный покой железной дороги. Оттуда мать получила известие о его смерти.

От покойного в семье осталась одна наследственная ценность — кожух стрелочника, полученный им незадолго перед болезнью.

Отнесла этот кожух Максимовна одному нескладному мастеровому железнодорожных мастерских — рессорщику Евдокиму Моргаю, договорилась с ним насчет сына и, получивши обещание устроить мальчугана, сообщила об этом Мотьке.

Мотька поднял голову вверх.

Через несколько дней прибежал во двор, запыхавшись сам Моргай, чумазый здоровяк. Он явился в замусоленной одежде, сорвавшись, должно быть, прямо с работы.

— Готово! — воскликнул он и объяснил, что Мотьку требуют с паспортом в контору мастерских.

Пока Моргай наскоро допивал стакан чаю, Мотька разыскал паспорт и устремился с рессорщиком к мастерским, сам себе не веря, что он поступает на работу.

В конторе кузнечного отделения он отвечал на вопросы мастера. Фамилия, мол, Юсаков. Грамотен. В феврале исполнилось 16 лет.

Ответы и внешний вид Мотьки удовлетворили мастера.

На следующий день — медицинский осмотр. Выдали рабочий номер.

Поднявшись в пять часов утра, Мотька направился в Кавалерку к Евдокиму Моргаю, а с ним — в мастерские; прошли в кузницу.

Возле горнов кузнецы зажигали концы пакли, пропитанные нефтью. Сразу в нескольких местах под железными зонтами начали летать вверх раскаленные угольки, кузница стала в то же

время заволакиваться дымом. Вдруг застучал по наковальне какой-то выскочка ручник. Стукнули кувалды — и затрещали, как по команде, сразу десятки молотков в разных местах. Заговорил, начиная работу, и паровой молот.

Кузница была в полном ходу. От утренней прохлады не осталось и следа. Воздух стал накаляться. От движения, биения огня, звона, угольного смрада помещение, где работало около двухсот человек, уже к десяти часам утра превратилось в клокочущее пекло. Сами люди разгорячились, глаза их засветились особым, горячим блеском, лица накалились так, что на них краснели, казалось, даже сажа и копоть, а на всем теле выступал обильный пот, после которого рубашки покрывались солью и неприятной тяжестью висли на спинах.

Мотька приглядываясь убеждался, что после Московской улицы он словно в каком-то новом мире...

Когда в цехе появился монтер Садовкин, Моргай, кликнув Мотьку, подвел его к будущему его начальству.

— Это мой родственник, Иван Кузмич. Леонид Сергеевич приняли его в кузницу. Велели, чтобы вы определили...

— Магарыч! — подмигнул Садовкин Моргаю. — Идем, родня! Как фамилия?

— Юсаков. — И Мотька последовал за коренастым монтером, командовавшим артелью подростков и несколькими мастеровыми.

Садовкин провел его мимо горнов в другой угол кузницы, где почти рядом стояли два небольших молота, и сказал работавшему на молоте рыжему мальчугану, дождавшись, пока тот окончит бить ковку.

— Возьми, Солдатенков, этого товарища и покажи ему, как работать. Будет учиться у тебя.

— Становись рядом, смотри, — крикнул рыжий, пересиля шум кузни. — Когда под молотом ничего не будет, буду учить.

Мотька стал. Уже через минуту подросток объяснял ему:

— Эта ручка только для того, чтобы пустить пар к молоту. Ее надо перевесть, пока работа идет, и пусть она без движения стоит. Этой ручкой, — указал он на рычаг, ведущий к золотнику цилиндра, — регулируется движение. Ее нужно держать в руке твердо и не упускать. Попробуй!

Мотька оглянулся, не смотрит ли кто-нибудь из кузнецов, и робко взял рычажок в руки.

В ту же секунду рычажок, как живой, задергался у него в руках, и молот со звоном забухал по голой наковальне.

— Не можешь! — сказал рыжий, схватывая рычажок и поднимая молот для следующей ковки.

— Смотри, как я буду бить, — и он без единого слова команды кузнеца, не перестававшего вертеть под ударами молота раскаленную полосу, начал то редкими ударами ее приглаживать, то мелким и быстрым боем оттягивать и приравнивать, как-будто

знал заранее, чего именно хочет от него взлохмаченный, подергивавший плечами в такт движению рук, с видом завзятого работяги, кузнец.

— Новый? — взглянул тот вопросительно на Солдатенкова, ткнув при этом клещами в сторону Мотьки.

— Новый! — подтвердил рыжий товарищ Мотьки.

Кузнец покровительственно кивнул головой, взглянул еще раз на Мотьку и посторонился, пропуская к молоту другого кузнеца.

Рыжий быстро заработал рычажком и вокруг молота начал лететь фонтан огненных брызг. Работавшие щедро поливались ими, но, несмотря на обжигавшее их дыхание каленого железа, двигали его по наковальне то от себя к себе, перекидывали со стороны на сторону, подкладывали под удар то конец, то середину и, наконец, только тогда, когда оно стало почти синим, остановились, чтобы перевести дух. Но в это время подали под молот новую работу, и рыжий снова принялся за рычаг. И так до самого перерыва на завтрак, потом на обед, потом до шести часов вечера, когда кончали работу.

Как только загудело где-то на завтрак, Солдатенков схватил эмалированную кружку и, налив чаю, устремился к группе рабочих, начавших устраиваться для игры в карты. Часть рабочих в разных местах кузницы, в копоти и смраде, одновременно и завтракала и, держа в руках веера замусоленных карт, переругивалась и азартно дулась в «короля». Другая часть чинно закусывала картошкой, воблой или колбасой, запивая завтрак горячей жидкостью из своих кружек. Было несколько таких счастливцев, у которых были пирожки и даже лимон к чаю. Кое-кто поспешил прилечь на коробках с инструментами и минут на двадцать передохнуть.

Мотька позавтракал возле молота рыбой и редиской, которые ему положила мать, и выпил чаю, присоединившись к артельному чайнику рессорщиков.

Когда прогудел гудок, Солдатенков вскочил и кивнул Матвею:

— Идем!

В течение десяти минут, пока кузнецы нагревали остывшие за время завтрака горны, Солдатенков объяснил Матвею процесс работы на молоте и в заключение дал попробовать ему управлять рычажком.

Матвею наконец удалось правильно поднять молот, стукнуть им несколько раз с неуверенными выдержками и остановить, а затем еще стукнуть и остановить.

Первый успех был налицо. После обеденного перерыва урок повторился. То же делалось в течение нескольких последующих дней, и скоро Матвей стал работать, сменяя Солдатенкова сперва урывками, а затем, на равных правах, чередуясь с ним ежечасно.

Матвей, выглядевший уже сложившимся здоровяком-подростком, начал присматриваться к жизни кузнечного отделения, а затем и других цехов.

... Матвей работал в кузнице уже месяца три. Научился работать на большинстве молотов. Познакомился со всеми мастеровыми артели Садовкина. Знал каждый уголок кузни. Начал понемногу слесарничать на отделке частей для машин. Работал сплошь и рядом вечерами и в воскресные дни, чтобы выработать на рубль больше.

В это время он начал призадумываться над своим положением: что толку в том, если он сделается через год-два лучшим слесарем и затем начнет бродить по заводам?

Правда, интересного в тех человеческих массах, которые заполняли мастерские, было не мало. Жизнь тут царила трудовая, артельная. С первого же дня Матвея, не взирая на то, что он был подростком и только учился еще работать, все стали называть товарищем. Через несколько дней уже после того, как он поступил, его фамилия начала аккуратно фигурировать в табелях заработка, отмечавшегося возле доски, на которой вывешивались номера рабочих. Но что из всего этого было Матвею, когда, заглядывая в будущее, он не видел никакого смысла в вечной работе во имя того, чтобы сомнительно обеспечить свое существование на следующий день.

Он глядел на старого кузнеца Склярова, работавшего в мастерских со времени их основания. Скляров работал здесь и в такое время, когда рабочим, чтобы удержать их, поднимали заработную плату. Благодаря этому Скляров, подобно полдюжине других пожилых кузнецов, получал четыре рубля в день. Он имел уже собственный домик.

Но дальше и Скляров, чтобы домик не проесть, должен был работать, как вол.

С двумя молотобойцами он бегал то к наковальне, то к паровому молоту, ворочал тяжести, клевал разогретое железо ручником, правил ударами молотобойцев в течение четверти часа, пока железо не застывало, затем, когда становился мокрым и красным, как-будто его тоже только что хорошо нагрели в горне, подымал с полу ведро холодной воды и через край выливал себе в горло добрую его часть. Этот старичина действительно был здоров, как богатырь. После такого охладительного приема воды он полминуты отдыхал, а затем снова набрасывался на ковку.

— Неужели всю жизнь так? — снова и снова спрашивал себя Матвей.

Работа слесарей не была такой отчаянной. Слесаря, за некоторым исключением, работали обычно с прохладцей. Труд возле верстаков не требует такого физического напряжения, как движение кувалд или ворочанье клещами поковок. Но дело было не лучше: слесаря могли приработать только сверхурочной работой.

Разве можно было им мечтать хотя бы о маленьком перерыве, о недельном отдыхе? «Отдых» могла принести безработица или болезнь, но и того и другого все рабочие боялись, избегали даже думать об этом.

Стоила ли, наконец, такая жизнь того, чтобы так зверски работать?

Матвей не мог этого допустить и тем больше мучился новыми вопросами. Но ему казалось, что есть все же люди, которые что-то о смысле жизни знают. Он присматривался вокруг и совершенно неожиданно нашел ответ.

Однажды, это было уже осенью, Матвей, придя сравнительно рано на работу, направился в стоявшую за кузницей дежурку, где сходились явившиеся до гудка кузнецы, чтобы побалагурить с бывалым кладовщиком Арефьевым, который совместно с конторщиком приходил обычно в четыре часа утра, чтобы выписать кузнецам материалы по требованиям, поступившим к нему с вечера.

В маленькой дежурке, образованной из корпуса товарного вагона, горела лампа, на чугунной печке грелся чайник, а возле стола кроме Арефьева сидели, близко склонившись друг к другу, кузнецы Соколов и Мокроусов, бандажник Простосердов и молотобоец Воскобойников-Качемов.

Когда Матвей открыл в дежурку дверь, все сидевшие за столом отшатнулись от лампы и взглянули на вошедшего.

Одно мгновение они нерешительно молчали, очевидно, прервав какое-то занятие. Затем Мокроусов, отличавшийся тем, что в рабочие дни обычно мало разговаривал, а в праздник — пил, повел глазами на Арефьева и отрывисто, хрипло буркнул:

— Продолжай! Не съест.

Рабочие выделяли шустрого юношу-мастерового из среды подростков, подметив искания и серьезность Матвея.

Бандажник Простосердов кивнул головой кладовщику. Остальные также не видели препятствий в приходе Матвея, и Арефьев, положив на стол какой-то печатный листочек, продолжал прерванное чтение.

Матвея, во-первых, заинтересовала таинственная сообщническая обстановка, и он, подсев ближе в читающим, внимательно слушал. Начала он не слышал, но и услышанного было достаточно, чтобы у него в голове вдруг закружилось... Все, что было раньше прочитано, продумано, пережито и прочувствовано,—всколыхнулось.

В этом печатном листке, который боязливо читали бородачи-кузнецы, шла речь именно о тех вопросах, которые больше всего мучили Матвея: должны ли рабочие, которых листок называл пролетариями, всю жизнь нести каторгу подневольной работы и влачить нищенское существование или они могут добиться действительно человеческой жизни?

Что же это за листок, ставивший перед рабочими прямо те самые вопросы, на которые до сих пор Матвей не находил ответа, и дающий ясные разъяснения?

Матвей, затаив дыхание, слушал, жадно глотая каждое слово. Арефьев кончил чтение. Кузнецы оторвались от стола.

— Да... — промолвил Простосердов, делая махорочную цыгарку и передавая кисет Мокроусову.

— Правда-то оно правда, жизнь собачья, но один рабочий в поле не воин. А у нас и совсем нет таких, чтобы темной кареты не испугались и добивались этого социализма.

— Не все испугаются, — придирчиво буркнул Мокроусов.

Остальные молчали. Соколов, неопределенно оглянув Простосердова и Мокроусова, поднялся:

— Сейчас рявкнет наш соловей-разбойник. Пойдем, посмотрим, что сегодня нашему начальству снилось по поводу прокламаций. Идем, Кузьма.

Он и Простосердов пошли, за ними поднялись и другие. Матвей вдруг решил опередить всех и догнал Мокроусова. Он видел, что Арефьев после чтения сунул листок свирепому нелюдиму.

— Товарищ Мокроусов! — остановил мастеровой необщительного кузнеца. — Очень прошу вас, что хотите делайте, а дайте мне листок прочесть!

Мокроусов взглянул на подростка глубоко провалившимися глазами, до половины скрытыми густыми бровями, ехидно улыбнулся и вынул из кармана листок.

— На! Только смотри, чтобы никто не видел; принесешь обратно не говори никому, что брал у меня, иначе на тебя же все сверну потом. Скажу, ты мне подбросил.

— Ладно.

... Матвей словно переродился. Рабочие цеха для него были теперь новыми людьми. Это были не распыленные единицы мастеровых и подмастерьев, из которых одни были домовладельцами, хотя и продолжали тянуть поденщину, а другие не имели и хлеба вдоволь, чтобы быть сытыми. Все они были людьми одного, общего классового положения — пролетарской массой.

2. ВСТРЕЧА С ТРЫНКИНЫМ

Матвею как члену подпольного кружка были переданы прокламации для распространения по кузне. Пришел он рано утром, чтобы подбросить их к горнам и коробкам с инструментами. Но, памятуя, как за подобным же занятием был замечен Соколов, и увидев одного-двух пришедших рабочих, постарался не обратить их внимания на себя. Один из них начал отделывать у верстака нож, очевидно для собственных надобностей. Другой — молотобоец Трынкин — возбудил у Матвея особый интерес.

Трынкин, гвоздивший целыми днями у Склярова кувалдой, озираясь и крадучись в черных тенях предрассветной рани, чего-то искал. Пошарил в пищевом шкафчике Склярова и что-то достал. Потом то же сделал у шкафчика Соколова. Наконец, перешел к шкафу Простосердова.

Матвею пришла бросившая в жар мысль, не делает ли Трынкин то же самое, что он сам... Это было бы настоящим открытием: иметь в кузне еще одного товарища — члена организации...

Но Трынкин всегда так резко обрывал агитационные подходы к нему, что эта мысль все же не укладывалась в голове Матвея. Поэтому он решил узнать манипуляции Трынкина и приблизился к нему.

Каково же было удивление Матвея, когда он увидел в руках молотобойца остатки засохшего хлеба! Трынкин, увидев Матвея, выронил их из рук. Матвей понял, что он застал рабочего на вынужденной голодом краже.

Молотобоец смотрел на Матвея и ежился от конвульсий.

— Чего ты? — хрипло сказал пойманный, не зная, что делать.

Матвей быстро поднял оброненный хлеб, взял за руку рабочего и с участием тихо спросил:

— Тебе нечего есть?

Неуклюжий, косоплечий молотобоец клацнул челюстями, сдерживая внезапный припадочный всхлип, но у него вырвался полустон:

— И-эх-а-а!..

Матвей взметнулся:

— Стой, Трынкин, — заспешил он. — Бери хлеб и успокойся! Иди, ешь и ничего не думай! Пусть кто-нибудь попробует слово сказать! Вся кузня позаботится, чтобы ты не голодал. Об этом я никому ничего говорить не буду, а помощь тебе сочиним! Тебе часто получки не хватает?

Трынкин, сгорая от стыда, повертел в руках хлеб, а затем с отчаянием бросил его на горно и махнул рукой.

— И нехватает и все складывается к одному. Я вчера ничего не ел и сейчас на целый день пришел с пустыми руками. Думал, черным заморить... Заболела старуха. А без нее ни в долг не возьмешь, ни денег не достанешь. Пропаду, если еще оштрафуют за что-нибудь.

— Не пропадешь! Иди, успокойся. Что-нибудь придумаем. Позавтракаем вместе сегодня, мне мать наложила — на трех хватит. Я приду к тебе...

— Спасибо, товарищ!...

Матвей крепко пожал руку достойному по всей его усердной работе, но такому обокраденному эксплуатацией работнику.

Этот случай произвел на Матвея ошеломляющее впечатление. Он и сам знал в детстве голодные дни, достаточно читал о страданиях бедноты. Но там — беспомощные бедняки, а тут вопиющий голод усердно работающего молотобойца вызывался безобразием общественного порядка.

3. ЗАБАСТОВКА

Младший Сабинин, ученик строгальщика, стоял возле огромного точила и заправлял резцы. Целиком ушедший в работу, он вдруг услышал возгласы резких пререканий. Повернувшись в сторону шума, как повернулись еще десятка два рабочих, стоявших

за станками, он увидел возле токаря Цесарки ненавистного цехового мастера Голоцюцкого.

Постылый мастер, всегда придирающийся к рабочим, застал Цесарку за дожевыванием соленого огурца.

Это оказалось достаточным, чтобы Голоцюцкий вышел из себя и начал кричать на мастерового, требуя, чтобы тот бросил огурец.

Цесарка сперва удивленно посмотрел на мастера, а затем, заметив поощрявшие его взгляды рабочих, воодушевился и заявил, что не только не бросит огурец, но возьмет еще другой.

Действительно, возбужденно болтая руками, Цесарка повернулся к шкафику и, вынув оттуда второй огурец, стал перед Голоцюцким и начал чавкать, вызывающе отгрызая куски то от одного, то от другого огурца.

Рабочие ближайших станков, наблюдавшие эту сцену, хихикнули. Дальше стоявшие рабочие, хотя не совсем понимали, что происходит, тоже смеялись.

Голоцюцкого взорвало.

— Брось огурцы, иди к станку! — рычал он, топнув ногой.

— Не брошу! Ты мне их не покупал. Они мне дороже твоих соусов.

— Иди, говорю тебе, работай!

— Я вижу, как идет работа.

Голоцюцкий взревел, схватил Цесарку и толкнул его к станку. Токарь споткнулся о лежавшую под ногами доску и чуть не угодил руками в шкаф станка, однако удержался и кинулся на Голоцюцкого. Мастер снова толкнул его и рабочий упал.

Ближайшие рабочие ахнули, бросая станки...

Голоцюцкий, увидев что смех окружающих сразу сменился возмущенным переглядыванием, спохватился и бросился поднимать Цесарку. Но прежде чем он успел нагнуться, возле него было уже несколько молодых мастеровых.

Подскочивший Сабинин поднял Цесарку и, весь трепеща, сжимая кулаки, стал перед мастером. Тут же оказалось двое-трое рабочих из других цехов. Некоторые из рабочих накануне были на тайном собрании котельщиков, где как раз говорилось о том, что необходимо при первом же удобном случае начинать стачку. Они переглянулись.

— Это что же, товарищи, нашего брата уже швырять под машины начинают?!

— Куска хлеба нельзя съесть, если вошел в мастерскую?!

Молодые мастеровые, состоявшие членами подпольных кружков, стали лицом к лицу перед явившимися сюда же несколькими стариками и вопросительно смотрели на них. Старики, выросшие и состарившиеся в мастерских, сроднившиеся с ними, в свою очередь были возбуждены. Они знали, что почти каждый из них — кандидат к увольнению. Эти ветераны труда были свидетелями обогащения правления дороги. Сотни их своей работой обеспечили это обогащение, а теперь в них уже не нуждаются, набирают

приходящую со стороны, более дешевую молодую мастеровщину. Перестали ценить рабочего.

В то же время в повседневных разговорах старики успели выяснить, что их собственные настроения становятся все ближе к взглядам активно проявляющих себя в мастерских социал-демократов. Это решило их отношение к инциденту.

— Анатолий! — скомандовал Сабинину старый монтер Осадчий, — беги, гудок давай!

Молодежи словно кто пару поддал. Она метнулась к станкам.



Собрание ростовских рабочих (XI. 1902). — С карт. художн. Топоркова

— Бросай работать, товарищи! Бросай работать! Бросай работать!..

— Сообщите в другие цеха, чтобы бросали работу! — продолжал командовать Осадчий. — Вырывай инструмент у того, кто не присоединяется!

Но в мастерских и без того был дан сигнал к стачке. В котельном цехе молодежь, приготовившаяся к стачке, затеяла ссору с мастером Полубояриновым и, провозгласив борьбу, ворвалась в механический цех.

— Бросай работать! Бросай работать!..

... Полиция в первые дни растерялась и не принимала никаких мер. Но когда стачка достигла апогея, жандармы сразу арестовали почти половину состава стачечного комитета, состоявшего из старых рабочих, вроде Осадчего из механического цеха, Соколова из кузни, монтера Гиркина из сборной и т. д. Тут же арестованные были куда-то увезены. Оставшиеся выборные были вызваны к наказному атаману и вожаки стачки поручили им потребовать освобождения арестованных, свободы собраний для бастующих и их неприкосновенности.

На другой день было вескресенье. Часов в десять утра Камышевахинская балка, широкими откосами спускавшаяся к городу, наполнилась тридцатитысячной массой рабочих и горожан. День выдался, несмотря на середину ноября, теплый, солнечный. Вверху над балкой собралось несколько пролеток городской буржуазии, приехавшей посмотреть, что тут творится. Тут же резвились ребятишки, бегавшие и звонко кричавшие. Продавцы носили в лотках сласти.

Но сегодня тут же видна была и группа жандармов. Кроме того, внизу в балке стоял эскадрон верховых казаков и расположилась спешившаяся сотня, вносившая немую настороженность в настроение рабочих.

Сабинин, стоя в одном конце балки, следил за всем, что происходит, и старался дать себе отчет в том, что может произойти из-за присутствия войск. Угадать, однако, ничего нельзя было. Но вот на обычном месте над морем голов показывается оратор.

— Товарищи — звучно, с перекатом по всему собранию, несутся его слова. — Вчера бросили работать рабочие гвоздильного завода. Мы получили известие, что к нам намереваются присоединиться также мастерские на станции Тихорецкой, поддерживающие все наши требования.

— Ура! — отвечает ликующая толпа, прерывая оратора.

— Теперь, товарищи, мы даем слово делегации, бывшей у наказного атамана. Слово имеет товарищ Осадчий.

Старый монтер, которого события вынудили сделаться оратором, поднялся и, то поглаживая бороду, то безнадежно махая рукой и скребя затылок, степенно рассказал, как нескольких его товарищей арестовали. Арестованных отвезли в поезде верст за двадцать к Новочеркасску и на промежуточной станции Аксай ссадили с поезда и велели итти, куда хотят.

— Малахольная у нас жандармерия, что ли, не знает, что делает? — развел руками под дружеский хохот митинга удивленный рабочий.

Затем Осадчий сообщил о переговорах депутатов с наказным атаманом.

Атаман предложил представителям рабочих выдать вожаков, стать на работу, и тогда возможные требования будут удовлетво-

рены. Для обсуждения его предложений он разрешил сегодняшнее открытое собрание рабочих.

После сообщения делегатов поднялся Ставский, проникший, по обыкновению, конспиративно на митинг. Он сейчас был в своей тужурке, переодевшись в нее тут же среди товарищей. Ставский указал на особенности условий наказного атамана:

— «Станьте прежде на работу, выдайте вожаков, тогда возможные требования будут удовлетворены».

Но какие же требования считается возможным удовлетворить? Об этом атаман не говорит.

И не скажет. Правление дороги от него не зависит. Атаман требует выдачи вожаков. Мы здесь все налицо. Откажемся ли мы пойти в тюрьму? Нет. Но что из этого выйдет? Атаман знает, что если вы одних выдадите, других арестует он сам, и тогда с вами не только не будут говорить об удовлетворении требований, а завтра же каждый мастер опять безнаказанно будет рукопашно расправляться с закабаленными рабочими. Но решайте сами, товарищи, — обращается вожак к собранию, не пропускающему ни одного слова, — скажите — и мы сейчас будем в тюрьме. Хотите ли вы этого, товарищи? Хотите ли вы, чтобы мы были арестованы, а стачка сорвана?

— Нет! — гремит балка. — Долой самодержавие! Не хотим слушать об этом.

— Вот этого пусть попробуют! — поднимается вверх несколько палок и кулаков.

— Может быть, вы отвечаете не подумавши, товарищи, может быть, вы в глубине души думаете, что лучше сговориться с атаманом и развязаться с нами? Говорите тогда это прямо, товарищи!

— Нет! — снова гремят тридцать тысяч голосов.

— А если нет, то давайте, товарищи, держаться. Сегодня нас больше, чем было вчера. Сегодня у нас здесь собралось полгорода людей, сочувствующих нам. Товарищи, они пришли не только посмотреть на нас, а и помочь, чем могут. Товарищи, производите сборы для стачечников. Пусть жертвует, кто чем может, для помощи нуждающимся.

По толпе начинают ходить сборщики с шапками и кружками. Видно, как толпа дает им дорогу и суется руками к кружкам. В то же время среди собравшихся начинают раздаваться и разбрасываться очередные воззвания Донского комитета. Пачки их взлетают белыми голубками над головами толпы, волнующейся возле них и подхватывающей их. В разных местах начинается чтение.

*

КОЗЛЕНА И ЖЕЛВУНЦЫ

ИВАН ЕВДОКИМОВ

Роман советского писателя И. Евдокимова «Портрет Василия Мещерина» носит автобиографический характер. В помещаемых отрывках писатель показывает среду и быт железнодорожных телеграфистов эпохи первой революции, которых постепенно втягивают в подпольную работу ссыльные революционеры.

. — — . — . . . . . . — . . . . . — — — . .
— — . — — . — . . — . . . — .

Это — В а с и л и й М е щ е р и н — на «языке» Морзе. Василий так расписывался. Первым был изумлен отец. Федор Степанович попросил написать полный свой титул. Вася исполнил.

— Которое тут слово наша фамилия? — спросил отец, недоверчиво прибрав к рукам оба листка с китайской грамотой.

Сравнение подтвердило одинаковость написания в обоих случаях. Отец и сын молчаливо усмехнулись. Однако Федор Степанович бережно положил пробу в карман. Опять оба поняли друг друга:

— Трифонов то же напишет, — сказал Вася, — проверь!

Трифонов — бывший телеграфист. Он спился и теперь шатается из трактира в трактир.

На пасху, когда Федор Степанович первый день праздника проводил дома, пришли к Василию в гости товарищи.

Праздновали окончание ученичества и назначение Васи старшим по смене. Отец был очень доволен: все много ели, но наотрез отказались от водки, выпили только по рюмке запеканки. Потом он оставил гостей и ушел полежать.

Друзья стали петь знакомые песни: запевал Коровин, подхватывали и Вася, и Соломкин, и Черевков.

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно!..

— Валите во все тяжкие! — кричал из-за перегородки Федор Степанович, поощряя. — Я в своем трактире давно оглох. Шумите на всю Кобылку: усну!

И он действительно уснул под «Осенний мелкий дождичек» и «Лучинушку», под «Стеньку Разина» и «Пой, ласточка, пой»!..

Телеграфисты скромно веселились. Читали свои и чужие стихи, рассказы.

На телеграфе собралось с десяток похожих друг на друга недорослей. Одного выгнали из семинарии, другого из реального,

третьего из гимназии; четвертый собирался учиться и узнавал только адреса недоступных школ...

В первые же дни знакомства оказалось, что все они кое-что читали, пробовали сочинять, игрывали в любительских спектаклях, пробирались в театры и ярмарочные балаганы, как и Мещерин. Всех их роднили полное безденежье и причудливая мечта о будущем, в котором они хотели найти какое-то свое, особое место. Фантазеры и мечтатели! На телеграфе появился литературный кружок.

Коровин — маленький, ловкий и красивый, жил с матерью на пенсии после отца-чиновника; он где-то нашел рецепт, как варить студень для гектографа.

Соломкин Петя — сын кружевницы. У них свой, двухэтажный дом. Внизу жильцы, хозяева наверху. На дворе коровий сарай с сенником над потолком. Туда — высокая лесенка. Удобно для хранения гектографа. Это теперь типография. Тут печатался рукописный журнал «Северные осоки».

Черевков — сын бедного часовщика. У Саши светлые в кудрях до плеч волосы. Он поэт. Он говорил всегда, некстати вставляя в речь иностранные слова. Поймали: Саша зубрил слова под ряд по словарю.

Саша переписывал для «Северных осок» все рукописи химическими чернилами. Переписывал, будто гравировал.

В старой глиняной плошке вровень с невысокими краями лежал печатный студень. На него переводили гравирование Саши. Петя Соломкин — главный техник. Никто лучше и чище не умел печатать. Рукава засучены. Ворот всегда расстегнут. Широкий подполок рубахи отброшен к плечу, он открывается и закрывается, точно форточка в ветер. Громоздкие пальцы Пети до второго сустава лиловы и черны. В лиловых крапинках лицо. Он бережно снимал страничку за страничкой с гектографа, непременно высовывая кончик языка и закусывая его зубами, как делают кошки после вкусного.

— А вот первая посадка и готова! — провозглашал он, отпечатав пять-шесть экземпляров странички.

«Северные осоки» выдавались каждому из участников литературного кружка. Один номер был общий. Он — самый богатый. В нем на многих пустых местах телеграфист Петелькин рисовал карикатуры на телеграфное начальство, на построечных инженеров, подрядчиков и поставщиков.

На последней страничке журнала Петелькин циркулем делал большой круг, заполнял его диковинным растительным орнаментом, а в самой середине круга красными чернилами выводил: Издание литературного кружка «Мировая сказка».

Соломкин трудился неделями, бастовал, грозил выбросить гектограф в помойку. Но стоило у него попросить гектограф, чтобы облегчить труд печатника, как тотчас же Петя принимался за дело. Принимался с остервенением.

Соломкин исполнял и посторонние заказы: печатал для желающих небольшие тетради стихов. И даже брал плату: десяток папирос за стихотворение, будь оно из одного четверостишия или на нескольких страницах. И презирал прозаиков. Поэтому те платили в два раза дороже. Собственные стихи Петя печатал только на разноцветной бумаге, а фамилию подписывал задом наперед: Никмолос.

Кружок «Мировая сказка» находился в постоянном действии. Мещерин теперь был всегда озабочен и при деле. Стало нехватать времени. То печатали, то читали, то обсуждали.

Телеграф мешал. Надо дописывать и отделывать стихи к следующему заседанию, а тут дежурь!

Вскоре работы еще прибавилось.

В один из летних дней Коровин явился на телеграф в чужую смену и, сторонясь надсмотрщика, таинственно шепнул Мещерину, Соломкину и Черевкову:

— Надо срочно собраться...

Товарищи посмотрели с недоумением.

— У кого? — настаивал Коровин. Квартира должна быть безопасна. Ни одного постороннего.

Коровин разжег любопытство, но на все расспросы отказался отвечать.

— До вечера, твердил он.— Здесь не место. Я не имею права...

Решили сойтись на сеннике у Соломкина.

Друзья раскрыли рты, захохотали, едва увидели Коровина, запоздавшего с приходом. Он преобразился: черная рубаха с белыми пуговищами; вместо картуза с желтым кантом — поношенная широкополая черная шляпа. Маленький, тоненький, он походил на раскрытый зонтик.

— Форма — это ерунда, — важно сказал он. — Это ливрея раба. Она унижает человеческое достоинство.

— Я ее буду носить только поневоле, по обязанности. Вот — моя настоящая!.. — Коровин с гордостью провел рукой по своей черной рубашке и, ловко сняв шляпу, помахал ею в воздухе. — Мама мне сшила рубашку, а шляпу я сегодня купил на базаре.

Все перестали смеяться. Коровин говорил странные и новые вещи. Он как будто сразу поднялся выше, надев сапоги с высокими каблуками.

Наконец Коровин открылся.

— Ближе ко мне, — зашептал он, тревожно оглядываясь по сторонам и требуя, чтобы товарищи сели прямо на сено. — Надеюсь, здесь нет соглядатаев. Товарищи... — дрогнул его голос, — я познакомился с политическими ссыльными. Они знают о нашем кружке. Я показал им «Северные осоки». Я поручился за весь кружок и сказал, что мы все революционеры. А Васька Мещерин даже старый революционер. Он давно ведет пропаганду среди булочников. Ссыльная Анна Яковлевна Воскресенская пожала мне руку и звала нас завтра к себе. Она живет на Желвунцах. Другой

ссыльный — он у нее сидел в гостях — Николай Павлович Житницын — на Козлене. Я его провожал до самого дома. Помни теперь, ребята, — Желвунцы и Козлена.

«Старый революционер» Мещерин почувствовал большое удовлетворение и гордость, что о нем уже знали самые настоящие заговорщики. В то же время вкралась зависть в сердце, что ему как «старому революционеру» следовало первому свести ребят с политическими, а не этому проныре Коровину. Он успел первым и в шляпу перерядиться.

Мещерин мгновенно вспомнил, что у мамы в комоде лежал черный ластик папе на рубаху: белые рубахи за буфетом быстро пачкаются. Можно будет сшить и ему. А шляпу купят новую. Он на службу будет ходить в форменном, а после службы — в штатском.

— Соломкин, — сказал Коровин, — Анна Яковлевна тебя очень хвалила. Какой, говорит, у вас прекрасный гектограф, а техник еще лучше! И тебя, Черевков, тоже — за почерк. Так, говорит, хорошо написано — любой малограмотный прочтет. Виднее, чем по-печатному.

...В маленькой беленькой комнатушке в Желвунцах, где-то далеко от улицы, на задворках Анна Яковлевна встретила телеграфистов.

— Все сразу? Целой организацией? Здорово! Только ноги, товарищи, хорошенько почистьте о половичок. Вот он у дверей.

Кружок «Мировая сказка» немного опешил. В неудобной сутолоке телеграфисты скопились на маленьком половичке и все сразу принялись тереть подошвами

В комнатушке нехватило двух стульев.

— А окна для чего? — приветливо спрашивала хозяйка. — Целых два окна!

Телеграфисты испытывали неловкость. Они церемонно и застенчиво сидели на краешках стульев, не знали, куда девать руки, не могли оторвать глаз от таинственной женщины, сосланной в Вологду. Было бы проще если Анна Яковлевна была бы в каком-нибудь особенном костюме, даже, например, в мужском, в высоких сапогах, в шапке; если она исподлобья взглядывала бы на них и говорила грубым, мужским голосом. А на Анне Яковлевне была легкая белая кофточка. Она была в белых парусиновых туфлях. И нога у ней маленькая и красивая. А голос звонкий, как у девочки, какой-то радостный, ласковый...

— Товарищи, товарищи, — укорила Анна Яковлевна, — да вы точно на экзамен пришли. Расселись и ждут очереди. А я экзаменовать и не буду... Коровин, — вдруг сказала она совсем приятельски, как будто знала Коровина очень давно, — пойди на кухню и скажи Маше, пускай она нам самоварчик поставит.

Коровин, ловя на себе восхищенные взгляды товарищей, кинулся заказывать чай.

Скоро пришел Николай Павлович. Без предупреждения тщательно топтался у дверей на половичке, принес кулек с плюшками, сунул его на стол и провозгласил:

— У тебя, Аннушка, прямо целый телеграф...

— Здравствуйте, товарищи, здавствуйте! Очень рад познакомиться. Читал ваш журнал «Северные осоки» и думаю: вот молодцы ребята, где-то добыли гектограф, образцово печатают, времени затрачивают уйму. Шутка сказать — три номера откатали! Страничка к страничке. Видать сразу — с увлечением работают!

Николай Павлович поздоровался со всеми за руку, растормошил телеграфистов, сдвинул их вместе со стульями к столу.

Сели тесно и тепло. За чаем разговорились, спорили и даже кричали друг на друга. А перед самым уходом Анна Яковлевна, положив руку на плечо сидевшего рядом с ней Мещерину, сказала:

— Ничего-то вы, товарищи телеграфисты, не знаете и не понимаете! Издавайте журнал себе на здоровье. Я — первый ваш читатель. А давайте-ка займемся и другим делом. Приходите ко мне раз в неделю... — Анна Яковлевна подумала, — да, раз в неделю, по средам. Среда у меня свободна от других кружков... Коровин, ты организуй кружок телеграфистов.

— А когда Анна Яковлевна, — добавил Николай Павлович, — занята и ей некогда, я ее заменю. Только условие: раз среда, то она не пропадает даром. Все приходят на кружок. Дисциплину введем. Кто три раза пропустил без уважительных причин, того по шапке. Работать будем много и хорошо. Вам самим еще книги писать рано, а книги других читать следует взасос.

Но когда же, когда же Мещерин увидит заговорщиков? Анна Яковлевна и Николай Павлович были очень простыми, добрыми, веселыми людьми — и только! Никакой таинственности. Они никого не ругали. Ни разу не упомянули ни о губернаторе, ни о царе. Никому не грозили. Николай Павлович вынул из кармана точно такой же перочинный ножик, какой был у Мещерина, и очинил в пепельницу карандаш, не уронив на пол ни одной соринки.

Чудно, но Николай Павлович и Анна Яковлевна, схватив друг друга за руки, дружно хохотали, когда Коровин мрачно и твердо сказал:

— Не выходите все сразу. Я должен выйти сначала на разведку. Может быть, дом окружен полицией.

Коровин растерялся и покраснел, услыхав непонятный хохот.

— Ах ты, милый наш конспиратор, — сказал Николай Павлович, — да ведь на улице совсем светло. Полиция не любит работать днем, а в темноте. Днем ей неудобно, неприятно привлекать внимание. И почему она будет нас окружать? Вы наши гости, пили с нами чай среди бела дня. В полицию мы не ходим за разрешением, с кем и когда нам встречаться.

Но Мещерину понравилось больше, когда Анна Яковлевна, вытирая мокрые от смеха глаза, как-то извинительно сказала Коровину:

— Я не над твоей осторожностью хохотала, а над твоим голосом... Ой, не могу!.. Ты, как Монтигомо Ястребиный Коготь... Насупился... и голос у тебя, точно бас... Это хорошо, что вы сразу же стали предусмотрительными. Лучше им не попадаться на глаза. Приходите сюда и уходите отсюда, осмотревшись. Вот и сейчас. Половина — через сад. У нас там калитка. Другая половина — как пришла. Где-нибудь подальше от дома соединитесь. Еще лучше поодиночке выходить и приходить. Сегодня не надо, а там, впоследствии...

Это уже походило на некоторую загадочность!

— А мы выйдем после всех, — неожиданно проговорил Николай Павлович, обняв Мещерина за плечи и тем самым резко выделив его. — Нам с ним по пути.

Вася знал, что каждый хотел бы быть на его месте, поэтому он скромно отвел глаза, чтобы не дразнить товарищей.

Когда товарищи вышли, Николай Павлович вынул из внутреннего кармана пиджака какой-то пакетик, перевязанный шнурком, и подал его Васе.

— Занеси, пожалуйста, в крендельную. Передай старику Петрухину.

Мещерин широко раскрыл восхищенные глаза, держа на весу пакетик.

— Что, брат, — засмеялся Николай Павлович, — ты думал, меня не видал, так я тебя не знаю? Зачем книжки подбрасываешь Петрухину? — Николай Павлович шутливо погрозил пальцем.

Теперь Вася остался вполне доволен первой встречей.

— Ох, да, — вдруг спохватился Николай Павлович, — вы ведь съехали от Лаврухина из флигеля. Может быть, ты не можешь зайти?

Но Мещерин уже готов был исполнить любое поручение, если бы пришлось даже сделать двадцать-тридцать верст, а тут всего-навсего от новой квартиры Мещерина на Золотухе три бульвара и одна коротенькая улица до крендельной.

— Гонцу первый крендель, — пробормотал старик Петрухин вполголоса. — Я тебя, Вась, не видал и слыхом не слыхал, а ты меня и видел и слышал, потому крендели горячие любишь. Хе-хе! С тобой товарки али товарищи в союзе?

Петрухин выжидательно посмеивался. Мещерин было начал и остановился...

— Ты больно любопытен, папаша! — в совершенном восторге от своей догадливости ответил Вася.

— А понял — учу? — шепнул старик.

— Конечно, понял.

— В чем же дело, ежели понял? Ране подкидывал, а нынче прямо в копытца.

Старый и молодой, довольные забавой, смеялись.

Скоро весь кружок «Мировая сказка» переоблачился: все завели черные рубахи и шляпы. Настала очередь расстаться с пышным названием кружка. Николай Павлович и Анна Яковлевна попеременно спросили:

— Почему «Мировая сказка»? Что это значит? Объясните, пожалуйста.

Никто путно не мог объяснить. Мещерин простодушно ляпнул:

— Это для красного словца...

Мещерин с удивлением замечал, что почти все окружающее начало изменяться и преображаться. Все предметы, люди, поступки людей как будто рождались заново: стали яснее, правдивее и понятнее.

Мещерин впал в крайность: теперь он придирчиво искал недостатки повсюду, где их и не было. Вася нетерпимо охаивал все направо и налево. Конечно, раньше и прежде всего — порядки на телеграфе, начальство, охранявшее их, даже походку, голос и шевелюру начальства. Враги!

Мещерин и его товарищи считали своим долгом дерзить врагу и раздражать его. Они хотели, чтобы он побаивался их, ожидая всяческих неприятностей. Борьба!..

Вскоре было соединенное собрание телеграфистов, гимназистов и реалистов в Козлене у Николая Павловича. Все участники заранее прочитали «Историю культуры» Липперта. Николай Павлович устроил обсуждение книги, похожее на экзамен, очень ловко вызывал каждого высказываться.

Мещерин страдал весь вечер. Он завидовал гимназистам и реалистам. Как он хотел походить на них! И Перышкин, и Дмитриев, и Верхнераменский, и даже толстенькая Стеша Грибкова не чувствовали решительно никакого смущения перед хозяином, ходили и сидели, как у себя дома, горячо спорили с Николаем Павловичем и перебивали его. Васе представилось, что Перышкин и Верхнераменский говорили куда лучше Житницына. Вот бы сделаться таким оратором! А как они поняли и как разобрались в Липперте!

Мещерин не осилил эту книгу. Он запомнил из нее какие-то не связанные между собой куски. Николай Павлович пробовал несколько раз втравить Васю в спор. Но лицо у телеграфиста покрывалось лишь густой краснотой.

— Сейчас с Мещериным случится удар! — ядовито подставил ножку Верхнераменский.

Недалеко от Васи сидела бойкая говорунья гимназистка Клавдия Орлова. Она засмеялась обиднее всех. Раскатисто и откровенно, точно хотела доставить Мещерину удовольствие своим радостным смехом.

Мещерин наспех, часа за два до собрания, с головой, занятой

другим, кое-как докончил Липперта. Теперь пришла расплата. Смех Клавдии прозвучал оскорбительно и больно.

Николай Павлович бегло взглянул на Васю. Его жалкий вид, краснота указывали на какое-то внутреннее беспокойство. Житницын постарался сгладить неловкость и выручить растерявшегося Мещерина. Он тотчас же отвлек общее внимание от Васи, задав Верхнераменскому ряд трудных вопросов, ответить на которые тот не сумел с обычной самоуверенностью.

Но Васе не везло. Еле-еле пришло успокоение, как Анна Яковлевна отозвала Мещерина в сторону и прямо сказала ему:

— Вася, ты рассказываешь небылицы товарищам о своей поездке на линию. Ведь это неправда? Таких дел там не было? А если и были, то не так?

Мещерин смешался.

— Я это потому говорю, — смягчилась Воскресенская, — что хочу каждого из вас предостеречь от игры в революцию. Не болтай больше никогда о том, чего еще не в состоянии делать. Тебе надо сначала самому понять глубоко и со всех сторон много-много разных вещей, а потом уж и действовать.

Анна Яковлевна наклонилась близко к Мещерину и шопотом спросила:

— Ты почему так смутился? Ты не прочитал, должно быть Липперта? Ну, милый, это уж совсем по-школьному. Что мы, учителя вам? На экзамене срезывать будем? Мы вам товарищи, а не учителя! Для вас же это нужно. Знать, знать больше. Тебе следует бросить кружок, если ты думаешь, так поступать и дальше!

Бросить кружок? Ни за что! Вася пережил вдруг подлинное смятение перед тем, что он может утратить право входа на эти собрания, на встречи с Николаем Павловичем и Анной Яковлевной.

Но как причудлива жизнь! Воскресенская словно и не сердилась только что на Васю, отошла от него и ввязалась в спор, подхватив его в самом жару.

Соломкин перестал принимать заказы на печатание стихов. «Осенние осоки» высмеяли как глупое название и переименовали в «Залп». Техник не торопился. Он занимался журналом так лениво, что «Залп», отощавший наполовину, вылез года через полтора.

Соломкин полюбил тонкую папиросную бумагу. Он возился у своего гектографа, точно ходил каждый день на службу. Воскресенская и Житницын доставляли бумагу. Соломкин почти не слезал с сенника.

Кобылка. Знакомые и родные места. Там прожито долго. Там знают многие по имени.

В Кобылке дрались — артель на артель. Били в одиночку: на одного десятеро. Потом от грозы до грозы — городки, бабки, карты, борьба по-цыгански, чехарда...

Ребята вопили:

— Эй, Мещерин, иди в кон! На верблюде ровно бы мы не катались!

Теперь в тесных и низких сенцах шопот... Шорох передаваемых листков... Вечернее ожидание в глубине двора, за дровяными сараями... Удобно в полдень.

Высокая красная труба с закопченной верхушкой видна отовсюду с Кобылки. Вот рядом с ней, как белый пар из вскипевшего самовара, вырвалась густая кудрявая струя — штопор. Гудок на обед.

Принес из Козлены и Желвунцов прямо под рубашкой, на теле, шелестящую бумагу. Она попадет на вечернюю смену. Не надо прятать ее грузом на ночь в одном месте. Она тогда мертва. Не говорит. Не дышит. И ее могут взять.

Ночью на Кобылке ходят дозорным шагом люди в серых и черных шинелях, будят. Ищут. Находят. Но не жалко: один-два. Вороха подхватило ветром и разнесло. Серым и черным шинелям пожива на столбах, на афишных вертушках, на заборах. Берите ножи и скоблите!

До полночи, когда бродят на Кобылке последние пьяные, прошли засыпающими проулками Мещерин, Коровин, Черевков, Петелькин и запятнали броские в глаза места.

В укромьи, в репейниках и крапиве, перерастающих заборы, выгорают все лето не найденные наклейки. Челядь на Кобылке учится по ним читать и понимать.

Труба мастерских спокойно курит. Черная полоса дыма пряма, как разостланная на ровном полу дорожка. Труба и дым напоминают мужицкую косу, поставленную на корешок.

По Кобылке крупным шагом идут разномастные жеребцы. Патрули городовых. На улицах пусто. Одна неуемная челядь снует сзади и спереди патрулей: то подозрительно обгоняет, то отстает.

Есть лихая и веселая забава. Ребята смирненько идут по деревянным лавам, переброшенным через грязи и канавы. Патруль подъехал. И тут... взмах над головой маленькой жестяной коробкой. Она нарочно начищена. Какой-то сизый свет мелькает в воздухе. Патруль точно отбрасывает. Городовые, подымая лошадей на дыбы, напряженно смотрят... Ребята уже понеслись на свои задворки.

Так пугали городовых бомбой...

Затворены окна, замкнуты ворота и калитка на улице, зато все настежь в садики, на огороды, на помойки; дворы полны рабочих. Жалко — не дают спеть, а то бы спели...

Железнодорожники бастовали день-два. Тогда по той и по другой стороне улиц бездельно, не признаваясь друг другу, шли и переглядывались Мещерин, Петелькин, Коровин... Надо посмотреть. Надо рассказать ссыльным, как ездят патрули. Хотелось прямо, открыто войти в знакомые флигелишки... Удерживались: конспирация...

Мещерин встретил переодетых в штатское Верхнераменского и Перышкина. Ему показалось, что они были бледны и напуганы.

Вася точно участвовал в забастовке. Это он, нахлобучив картуз, вышел из проходной заводской будки и не вернулся на работу. Пускай сирена для потехи гудит в пять утра, в полдень, в одиннадцать ночи — все равно он не сдвинется с места, покуда начальник мастерских не сделает так, как сказано на папиросных листках.

— Слаба кишка! — слышал Вася в те же дни на телеграфе, в библиотеке, на улицах, даже у Анны Яковлевны и у Николая Павловича.

Кобылка опять побежала по гудку. Как будто ничего не было. Только кое-где во флигелях буйно.

— Забастовщик сыскался! — надрывно вопил бабий печальный голос. — Почему тебя с завода выгнали, а не Петруху, а не Ваньку, Гришку? Те попроворнее. Больше всех подбивали, а сами уселели, а вас, простофиль, вон! Бери ребенка! На! Пускай он у тебя сосет! У меня груди с голодухи высохли!

Бабы обивали пороги у конторы и голосили. Некоторые молча, словно по обету, шли на базар с узлами, продавали последнюю ветошь...

На Кобылке больше пьяных.

— Пропил! Последний мой сак пропил! — плакала другая, бросаясь от бабы к бабе и жалобно припадая к ним.

— И мой!

— И наш!

— Говорят, опять набирать будут.

— Какое!

— Надобно корзину на руку да из проклятой этой Вологды бежать, куда глаза глядят! Здесь хлеб пропал! На заметке! Подохни — не достанешь!

— Голубушка, мыкаемся, как цыгане! За три последних года третий раз скачем из одного города в другой. Нигде ужиться не можем! Гонют! Ребят плодим, а все труднее и труднее жить! Мой-то ожесточился на весь свет! Ровно бы перекувырнул все, будь на то его воля и сила!

— Да-а, перекувырнешь его! Кувыркал и много, да что в них толку! Много и мало. Сила, подумаешь, какая: на тачке мастера вывезли да свисток оборвали. А мастеров сколько хочешь других! Всех не вывезешь! Свисток починят.

— Ежели на свете голодных больше, чем сытых, так бастуй не бастуй — заместо наших наберут других голодранцев!

Как у нас на троне
Чучело в короне!..

кричал озлобленно и отчаянно подвыпивший рабочий, шагая грязной уличной дорогой в сдвинутом на затылок картузе, в распахнутом пиджаке и размахивая сжатыми кулаками.

Люди боязливо усмехались. От него сторонились.

— Ешь меня с кашей! — не унимался разошедшийся с горя человек. — Все равно! Не-е уступлю! Н-не сдамся! Не поклонюсь! Сволочи! Кровопивцы! В тюрьму желаю! Выведу бабу и ребят моих на главную улицу, и мы им запоем песню про царя и про всех всемирных палачей! Эх!

Он долго бродил с одного конца Кобылки на другой, покуда его насильно не затаскивали товарищи домой или не попадал он в часть.

*

Таинственные заглавные буквы Р С Д Р П. Знамя. Малое, как головной платок. Шестик. За городом, в бывших солдатских лагерях, в тени кем-то насаженных и заброшенных берез, на лугу — опять Кобылка. Тут Петрухин с пекарями. Тут Верхнераменский и Клавдя. Тут некрасивые, с шероховатыми руками, мойки с водочного завода. Худые девушки в бедных платьях. Анна Яковлевна и Николай Павлович попеременно говорят. Просто, понятно... Их сменяют другие ссыльные — товарищи Петр, Сидор, Егор...

Мещерин слушает издали. Вася горделиво думает, что он вместе с Николаем Павловичем и Анной Яковлевной делает огромное и нужное дело, которое принесет всему трудящемуся человечеству счастливую, солнечную жизнь. Вася в восторге от этих мыслей. Они сжимают ему горло, почти как слезы. Сегодня его очередь стоять под крайними березами на карауле и не сводить глаз с желтой дороги, тянувшейся к городу. Оттуда и туда изредка плетутся деревенские бабы, проезжают одиночки и обозы, просверкало светлыми спицами колес купеческое ландо.

Самодержавие... Царь... Помещики... Фабриканты... Беднота... Рабочие. Крестьяне. Р С Д Р П. Стачки. Революция. Вооруженное восстание...

Это знакомо и нужно, и каждый раз по-новому, точно накапливается это новое от массовки до массовки.

Вон по всей опушке стерегут дороги и тропы в город другие. Мещерин бдителен и зорок. Он до красноты в глазах навстречу ветру и пыли следит за опасными путями. Он горделиво и радостно чувствует себя участником общего дела. Это ничего, что на лугу народу мало. Мещерин часто думает о себе как о «старом революционере». Он считает... В прошлом году здесь было меньше. Люди приходят. И большой город будет таять. Если бы город не боялся, не надо бы стеречь кирилловский большак: по нему могут прискакать городовые, по нему могут, пыля тяжелыми сапогами, притти солдаты моршанцы.

Вон и Соломкин верит, что должно притти время, когда понадобится суковатая палка. Он изобретатель. Он сделал складную палку: одна вкладывается в другую, на кончике вкладыша маленький красный флажок, как осенний лист. Петя предусмотрителен: он заготовил, он хочет в нужный час открыть свою палку и поднять ее над толпой.

Анна Яковлевна и Николай Павлович с тремя товарищами спустились к реке и переехали на тот берег. Лодку погнал вниз Петелькин. Понемногу в разные стороны разбрелись все. Клавдя сделала из обеих рук по калачику. Мещерин и Верхнераменский подхватили.

Кружки, книги, собрания, встречи... На телеграф — сколько останется. Выгнали сначала Соломкина и Коровина. Они пропускали дежурства. Тяжелее всех пришлось Мещерину: он не посмел сказать отцу, не посмел снять картуз с желтым кантом.

И так десять месяцев. Вася в форме уходил, как будто на службу. Возвращался и переодевался. Но в служебное время нельзя ходить по городу, когда работа приходилась на день. Федор Степанович на улицах редок. Но бывал. Вася нашел пристанище: городская библиотека. За десять месяцев подневольного чтения Мещерин перерыл все библиотечные шкафы и полки. В ночные дежурства давали приют товарищи.

Зима. Поднятый воротник. Как будто кто-то закричал, догоняя по Козлене. Да, это так.

Николай Павлович почти бежал по обледенелым мосткам. Он, конечно, не испытывал холода. Непривычно небрежен костюм. Шуба расстегнута. Выбился и повис длинным ухом шарф. Уханку перекосило на бок. Так надевают люди вещи наспех.

— Вася, да знаешь ли ты, что в Петербурге настоящая революция! — воскликнул он перехватывающимся от волнения голосом.

Он кричал, забыв о проходящей мимо и презрительно прислушивающейся публике. Мещерин заметил в глазах Николая Павловича слезы. Житницын всегда сторонился на улице. Теперь он обнял Васю, и так, обнявшись, они пошли.

Это были гапоновские январские дни тысяча девятьсот пятого года.

Вася вглядывался в Николая Павловича и не узнавал его. Не узнавал Анну Яковлевну, Петра, Сидора, Егора...

Как-то внезапно прекратились собрания по средам. Вася испытывал настоящую ревность. Ссыльные точно изменили кружковцам. Вася никогда не заставал дома Николая Павловича и Анну Яковлевну.

— Некогда, Вася, некогда, — серьезно говорил Житницын. — Теперь надо работать так, как будто мы до сей поры никогда не работали и за нами накопился большой долг.

Вскоре Вася понял, что кружки телеграфистов и учащейся молодежи были только маленьким, незначительным делом для ссыльных.

Главное — на Кобылке, в железнодорожных мастерских, на кожевенных и мыловаренных заводах, на подгородных писчебумажных фабриках, на стеклянном Устьинском заводе, в солдатских казармах. Везде, где рабочие, где темны и подслеповаты окна рабочих бараков, где окраинное захолустье притаилось в маленьких жалких флигелишках, где грязь и бедность и несдерживаемый

гнев против чистой городской половины, против хозяев, против лощеной, бездельной и разряженной орды заводчиков, фабрикантов, их наймитов и угнетателей трудящихся.

Железнодорожники, пекари, приказчики, кожевенники, бумажники, наборщики, солдаты оттесняли говорливые и мечтательные кружки гимназистов, реалистов, «кружки между прочим», в безвременье... Но дело нашлось и Васе.

Месяц за месяцем Вася носился по городу с собрания на собрание, распространял листки на Кобылке, на водочном заводе, среди солдат, в городе, собирал кружки рабочих по затаенным зареченским и фрязиновским углам, проводил туда ссыльных агитаторов и пропагандистов. Вася не умел и не мог вести кружки сам: он мало знал. Он был способен, однако, помогать. Его называли «организатором». Он с гордостью носил это звание.

Жизнь изменялась и преображалась. Вася и не заметил, что отец выбрался из бедных городских трущоб, перешел на службу буфетчиком к первогильдейному купцу Межакову. На Козлене, недалеко от Николая Павловича, Федор Степанович снял большую квартиру. Из нее вела лестница в мезонин. И там были две просторные комнаты, направо и налево. Тогда же приехал брат Шурка. Он устроился помощником машиниста на Ярославско-Архангельскую линию, водил поезда... У братьев было по комнате.

Как удобно жить!

В ресторане первого разряда купцы, инженеры, помещики пили до трех часов ночи. Отец приходил в четвертом, на рассвете.

Прямо из крыльца еще одна лестница — в мезонин. Отцу некогда проверять: он уходит и приходит, когда Вася спит. Теперь к нему могли приходить рабочие, ссыльные, Клавдя.

В мезонине, в выдолбленном бревнышке стены, Вася хранил белые пироксилиновые шашки. В печном трубаке зложен ящик — там замурованы нужные книги. В мезонине глухо. За городом, за Турундаевскими мельницами, товарищ Егор обучал стрельбе из маузеров и браунингов.

Жизнь причудливо заполнялась. Васе порой казалось, что только одно положение почетно и завидно в жизни — это отдать всего себя революции, походить на Николая Павловича, на Егора, стать профессионалом-революционером, потерять свое настоящее имя, уйти из дома, скрыться в подполье и служить там великому делу освобождения...

Жизнь смелела. Клавдя перешла в шестой класс. Она завидовала уезжающим в Петербург на курсы восьмиклассницам.

— Учиться! Учиться! Учиться!

Вот когда захотелось все понять, все узнать. А главное, захотелось избежать всякой отцовской опеки.

Вологда стала тесна, как флигель на Кобылке.

Вася отчетливо не представлял, что он будет делать, оказавшись на свободе. Но ему во что бы то ни стало нужна свобода, нужен огромный город, нужна столица...

Федор Степанович подумал: синий студенческий околыш, синяя шинель с золотыми орлами — это же лучше тоненького желтого кантика на картузе и тужурке телеграфиста.

Отпустил. Накануне отъезда Соломкина и Мещерина на Бесовом ручье жгли костер, пели громогласно, с яростью, революционные песни, грозили кулаками в тьму ночи, подразумевая под всякой тьмой врагов.

☆

В ОГНЕ

«... Октябрь и декабрь 1905 года знаменует высшую точку восходящей линии Российской революции. Все источники революционной силы народа открылись еще шире, чем раньше.

. . . .

... Российская всеобщая железнодорожная забастовка приостановила железнодорожное движение и самым решительным образом парализовала силу правительства».

В. И. Ленин.
Доклад о революции 1905 г.

ЛЕНИН

(Отрывок из поэмы)

В. МАЯКОВСКИЙ

Партия и Ленин —
близнецы-братья,
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим — Ленин,
подразумеваем —
партия,
Мы говорим —
партия,
подразумеваем — Ленин.
Еще
горой
коронованные главы
И буржуи
чернеют,
как вороны в зиме,
но уже
горение
рабочей лавы
по кратеру партии
рвется из-под земель.
Девятое января.
Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.
Бредня
о милости царской
прикончена
с бойней мукденской,
с треском Цусимы.
Довольно!
Не верим
разговорам посторонним,
Сами
с оружием
встали пресненцы,

Казалось —
сейчас
покончим с троном,
за ним
и буржуево
кресло треснется.
Ильич уже здесь.
Он изо дня на день
проводит
с рабочими
пятый год.
Он рядом
на каждой стоит баррикаде,
ведет
всего восстания ход.
Но скоро
прошла
лукавая вестийка —
«свобода».
Бантики люди надели,
царь
на балкон
выходил с манифестиком.
А после
«свободной»
медовой недели
речи,
банты
и песни плавные —
пушечный рев
покрывает басом:
по крови рабочей
пустился в плаванье
царев адмирал,
каратель Дубасов.
Плюнем в лицо
той белой слякоти,
сюсюкающей
о зверствах Чека!
Смотрите,
как здесь
связавши за локти,
рабочих на-смерть
секли по щекам.
Зверела реакция.
Интеллигентчики
ушли от всего
и все изгадили.

Заперлись дома,
достали свечки,
ладан курят —
богоискатели.
Сам заскулил
товарищ Плеханов:
Ваша вина,
запутали, братцы!
Вот и пустили
крови лохани!
Нечего
зря
за оружие браться! —
Ленин
в этот скулеж недужный
врезал голос
бодрый и зычный:
— Нет,
за оружие
браться нужно,
только более
решительно и энергично.
Новых восстаний вижу день я.
Снова подымется
рабочий класс.
Не защита —
нападение
стать должно
лозунгом масс.
И этот год
в кровавой пене
и эти раны
в рабочем стане
покажутся
школой
первой ступени
в грозе и буре
грядущих восстаний.

*

ОЦЕНЕННАЯ ГОЛОВА

А. С. СЕРАФИМОВИЧ

Маститый советский писатель коммунист А. С. Серафимович, участник первой революции, хорошо обрисовал отравленную полицейско-шпионскую атмосферу царской России. В приводимом отрывке освещается погоня за революционером, голову которого жандармское начальство «оценило» для наибольшего возбуждения страстей своих кровавых псов.

II

Богун всегда спал крепким, глубоким и, в то же время, чутким в одном направлении сном, каким спят моряки. Какой бы грохот и шум ни стояли вокруг, его нисколько не беспокоило и не нарушало безмятежности сна, но присутствие нового человека, хотя бы он сидел тихо, не шевелясь, пробегало моментально, как электрическая искра.

И сейчас Богун вдруг почувствовал знакомое беспокойство, и первое, что он ощутил среди гула и тряски вагона, это присутствие человека, которого раньше тут не было. Сквозь слегка приоткрытые ресницы, при зачинающемся утре, он увидел большие красные руки на коленях, огромное тело, большое, лошадиное лицо и внимательные бесцветно-водяные глаза. Из-под белобрысых бровей они неподвижно глядели на Богуна, не моргая голыми, без ресниц веками. И было в этом внимательном взгляде водяных глаз что-то холодное и непредотвратимое.

Богун, медленно позевывая, открыл глаза, как бы не замечая визави. И сейчас же голые, без ресниц, веки сомкнулись под белобрысыми бровями, и большое тело колыхалось от тряски на скамье сонно и лениво.

«А-а, голубчик!»

Богун почесал переносицу, как бы соображая, спать ему еще или довольно, глянул на мелькающую в окне сырую, осеннюю черную землю и оглядел вагон: все также в пыльном табачном дыму покачивались все те же фигуры пассажиров.

— Али женился? — слышалось сквозь дым и гул качающегося вагона.

— Женился... высокая да длинная!

— Вот не люблю, как высокая да тонкая.

— Тонкая да ухи большие, страсть не люблю!

— А по мне абы баба, в хозяйстве все одно.

— Дозвольте чайничек...

Богун бегло глянул на него: все та же покачивающаяся массивная фигура, огромные руки на коленях и неподвижно затянутые облезлыми веками глаза. Но и сквозь веки, казалось, он глядел все тем же внимательным, бесцветным водяным взглядом.

Богун захотел проверить: прислонился в угол и, чувствуя тряску вагонной стенки, закрыл глаза, осторожно глядя сквозь ресницы. И тогда тихонько поднялись голые веки, и бесцветные, водяные глаза снова, не моргая, неподвижно глядели на него, упорно, внимательно разглядывая каждую линию, каждую черту лица.

«Да, это — он... сомнений нет», — думал Богун, и ощущение злой усмешки проползало у него в душе. И тогда Богун смело и прямо глянул в глаза. Тот было закрыл, но сейчас же поднял веки и тоже глянул прямо и упорно, — нечего было скрывать, они поняли друг друга. Так с секунду глядели друг на друга два человека, потом спокойно перевели глаза и стали глядеть в окно на убегающую влажную землю, постоянно чувствуя друг друга, постоянно чувствуя завязавшийся узел жизни и смерти.

«Сколько нужно наблюдательности, сметки, характера, сколько потрачено выдержки, нервного напряжения, — думал Богун, — чтоб среди ежеминутно меняющегося людского моря открыть затерянную песчинку. И теперь этот, с водяными глазами, огромный, массивный, спокойно везет жертву, зная, что некуда деться, не ускользнуть, не вырваться из огромных красных рук».

И нет у него злобы, нет у него ненависти к преследуемому и открытому им человеку. Быть может, в глубине души он думает, — прав человек, которого он ни за что теперь не выпустит из рук, которого предает на виселицу. Только особенное чувство озлобленной любви, так знакомое охотнику, к не дающемуся в руки, ускользающему и манящему зверю, наполняло его.

Настоящая, жгучая ненависть загоралась в этих водяных глазах, когда вставала личная опасность, когда преследуемый оборачивался, оскаливал зубы и мог укусить. Но были страшной силы огромные красные руки, в боковом кармане топорщился револьвер, и всегда бросятся на помощь все эти мирно разговаривающие о женитьбе, о чайниках, о дороге люди.

Богун опустил глаза. Он почувствовал спокойствие, холодное и жесткое, и такую же холодную, спокойную решимость. Кончится перегон, войдут жандармы, и бесполезна будет самая мысль о сопротивлении. Перевел глаза на сидящие на скамьях, покачивающиеся среди вагонного гула и говора в пыльном дыму фигуры. В простоте душевной эти картузники, эти мужички с изборожденными лицами, черные от черной земли, будут помогать вязать жандармам и человеку с водяными глазами.

А в окне все летела назад сырая осенней сыростью земля, и воронье над ней, и низкое бегущее серое небо. И два человека сидели друг против друга, и каждый делал неизбежное для него.

Богун поднялся и пошел из вагона. В дверях оглянулся. Тот тоже поднялся и пошел за ним.

Богун вышел в коридорчик. Тут стояло несколько человек. Рассказывали анекдоты, и сквозь гул поезда раздавались взрывы хохота. Богун быстро перешел через двигавшиеся, качавшиеся между вагонами чугунные площадки, из-под которых бешено

рвался с удесятеренной силой грохот мчавшегося поезда, и быстро, чтоб разгорячить того, пошел по душному, переполненному сизым дымом другому вагону, цепляя торчавшие отовсюду узлы и чемоданы. Тот следовал по пятам.

Так они прошли два вагона, и Богун перебрался в коридорчик третьего, присев за открытой с площадки дверью.

Никого не было. Показался тот. Он быстро глянул наверх, опасаясь, чтоб преследуемый не взобрался на крышу, и торопливо и осторожно перебрался между вагонами. В ту же секунду что-то со страшной силой толкнуло его. Богун, упершись в стенку коридорчика, изо всех сил хлопнул дверью и почувствовал, как под его напряженными руками тяжелая дубовая, окованная железом дверь глухо и массивно плюхнула во что-то мягкое. На секунду взмахнули в воздухе красные руки, и потом сквозь стекла, покачиваясь, ходила из стороны в сторону только зеленая стенка противоположного вагона.

Богун рванул дверь и наклонился между колыхавшимися в грохоте из стороны в сторону вагонами. Снизу, между ходившими ходуном площадками, на него глядело изуродованное ужасом, окровавленное лицо. Все тело волоклось под буферами по шпалам, и огромная рука последним судорожным зажатием впилась в край чугунной площадки.

Окровавленный рот, круглый и темный, кричал о чем-то. Он не молил о спасении, — тут не могло быть речи о пощаде, — он просто кричал о животном ужасе смерти, но для Богуна был нем этот круглый, черный, исковерканный, судорожно меняющийся на окровавленном лице рот. В безумном грохоте железа и стали бурно крутившийся ураган пожирал все звуки. Только глаза, огромные, бесцветные, водяные, выкатившиеся из-под белобрысых бровей глаза глядели на него взглядом издыхающей собаки, которая не видит смысла своей гибели, и тоже кричали о последнем ужасе ничем не смягчаемой, ничем не искупаемой смерти.

Держась за железную скобку, Богун быстро нагнулся и с размаху ударил между этими глазами, чтоб потушить их страшный немой крик. Окровавленное лицо мелькнуло, и внизу уже никого не было, только с неукротимой быстротой, сливаясь, неслись шпалы, и неся злобно, упорно, торжествующе грохочущий говор колес.

Богун вошел в коридорчик и отер капли холодного пота со лба. Постоял. Никого не было. Прошел в свой вагон, сел и долго глядел на уносящуюся сырую, черную, немую землю с вьющимся над ней вороньем и низко бежавшим серым небом, и против него была пустая скамейка.

На скрещении пересел в другой поезд и снова потерялся, как иголка, среди миллионов людей.

★

ТОМСКИЙ КОСТЕР

Н. СТЕПНОЙ

Старый железнодорожник, начавший труд рабочим по ремонту линий связи, продолживший его телеграфистом, пом. начальника станции и т. д. на ряде железных дорог России, Н. А. Степной побывал и во Франции — в составе русского экспедиционного корпуса; делегатом последнего прибыл уже в советскую Россию; состоял членом ВЦИК второго и третьего созывов; ныне академический пенсионер. Участвуя во всеобщей железнодорожной забастовке как делегат с линии, автор находился на митинге в здании службы пути, сжигаемом черносотенцами, полицией и войсками (Томск, 20/X 1905 г.). Рассказ освещает жуткие события, характерные для «православно-черносотенного» строя; автор упоминает о поведении и действиях главы Тайгинского стачечного комитета Сергея Мироновича Кострикова, находившегося в пожарище.

В воздухе носился ветер революции. Томск был взбудоражен выборами в советы. Надо было ломать старое, строить новое, а что будет в новом, не всем было ясно.

В самый разгар выборов пришел царский манифест. В нем было много всякого вранья о том, что народу даются свободы, возможность управлять через выборную думу и тому подобные лживые и подлые обещания. Всю ложь этих обещаний пришлось испытать на следующий же день.

После того как были обнародованы списки выборных, 20 октября была манифестация. Лавина рабочего люда запрудила улицы города.

На площади, против зданий театра и службы пути манифестанты столкнулись с черносотенцами, которые несли царский портрет. Черносотенцы кинули в нас камнями, пришлось отвечать. Внезапно выскочили на площадь казаки с ружьями и саблями наголо; за ними показались взводы пехоты... Все это было приготовлено заранее и пряталось по дворам. Масса манифестантов была безоружна, не приготовилась к натиску. Черносотенцы наседали. У них были в руках револьверы, ломики, гири. Мы невольно подались в здание службы пути, не подозревая, что в этом и заключался план черной сотни. Мы попали в ловушку.

В здании службы пути всегда бывали митинги. Это был наш родной дом. Нам и в голову не приходило, что он для нас, за немногими исключениями, станет могилой...

Вошли и открыли митинг. Читали списки выборных и количество полученных ими голосов. Настроение служащих и рабочих было возбужденное. А вокруг тихонько, лисьими шагами, становился кордон. Вскоре и мы увидели, что вокруг всего здания сплошной цепью стоят войска. За войсками — толпа, а между цепью и нами — черносотенцы, греющиеся у костров из подожженных, откуда-то притащенных смоляных бочек.

Наступал вечер. Надо было кончать митинг, пора расходиться. И вот тут-то, когда выходила из здания первая группа рабочих, обнаружился весь роковой смысл происходящего на улице.

Выходивших встретили дулами ружей.

— Нельзя!..

Короткий и сильный приказ, подтверждаемый пулями. Первые групы упали у дверей здания...

Это было сигналом. Теперь полетели камни в наши окна. Звон разбиваемых стекол, крики женщин... Толпу охватила паника.



Зверская расправа с рабочими. — С карт. художн. Владимирова

Масса бросилась к выходам. Но двери узки, пройти можно только по-двое—трое, не больше. А выходящих все с той же закономерностью встречали пулями царские прислужники.

Бросились к телефонам. В ответ получили заверения, что все окончится благополучно. Следует лишь, если у кого из нас имеется, сдавать оружие. Даже губернатор ответил, что меры будут приняты.

Между тем меры действительно принимались: кто-то бросил несколько горящих смоляных досок в нижний этаж. Кто-то подлил керосину. И пламя охватило архив. Удушливый дым понесся наверх, языки пламени пожирали бумажные кипы, и море огня захватило нижний этаж. Дышать было нечем, единственное временное спасение — второй этаж.

Среди суматохи и шума раздался совершенно спокойный и убедительный голос. Он организовал и убеждал, вносил порядок. Это был голос, знакомый многим железнодорожникам, и принадлежал он Сергею Кострикову. Около него собирались дружинники. Он убеждал ни в коем случае не думать о сдаче имеющегося оружия, не верить обещаниям властей города, а спасаться самим организованной силой.

В самом начале пожара приехали к зданию пожарники. Но при первых же попытках тушить огонь черносотенцы бросились на пожарных, заставили их покорно сложить рукава и в немом бесстрастии ожидать событий.

Здание горело. Горели люди, не успевшие подняться во второй этаж... Слишком много было народу и слишком мало лестниц. Страшные крики погибающих в огне. А снаружи, у входных дверей, предсмертные стоны тех, которых убивали солдаты и черносотенцы.

Мы не отходили от телефона, забрасывали просьбами всех, с кем можно было связаться. В ответ получались все те же уверения, обещания, которым придавать положительное значение теперь уже нельзя было.

Как зверь, гонимый инстинктом, я шел вперед, ища лазейки; шел все дальше, вдоль второго этажа и наткнулся на узенькую лестницу, по которой снизу валил густой столб черного дыма. Я зажмурился, прижал волосы руками, чтобы предохранить от пламени, бросился вниз.

На площадке лестницы, в углу, около маленького разбитого окна стоял человек. Сквозь клубы дыма очертания его фигуры только смутно виднелись, но до моего слуха доносилось его бормотание: он молился.

— Живый в помощи вышняго, в крови бога небесного...

Я окликнул. Он оказался сторожем этого же здания, спокойный, медленный. Он объяснил, что лестница — действительно выход во двор.

— Идем! — вскричал я, таща его за руку.

— Надоть итти! Может, оно, и выберемся...

Закрывая лицо, мы двинулись вниз. Но что нас ждало на дворе? Может, и там орудовали черносотенцы и солдаты?

Под пеленой дыма мы почти ползком двигались дальше. Забрезжила выходная дверь; около нее никого не было, но по двору ходили какие-то фигуры. Я дернул сторожа за руку, и мы быстро юркнули за штабели дров.

Осмотревшись, мы поняли, что находящиеся во дворе фигуры спокойно занимались грабежом. Они раздевали убитых... Снимали с них шубы, шапки и надевали на себя, а свои зипуны, поддевки сбрасывали, как хлам.

— Ну, вот и нарядились, Петюха! — сказал один зычным голосом.

— Да-а, шуба важная!

Мне стало холодно. Топчусь за штабелем, чтобы согреться. Дело в том, что форменное пальто железнодорожника я скинул с себя перед выходом, на лестнице.

— Из-за этих самых пуговиц оба погибнем, — посоветовал тогда сторож. — Скидавай!

— Эй, ты, мильга! — крикнул заметивший меня бандит. — Подь сюда, накройся хоть этим, все теплей будет!

Он швырнул по направлению ко мне свои лохмотья, и я не стал дожидаться второго приглашения, быстро надел грязный, засаленный зипун, застегнул его на все четыре его пуговицы и почувствовал себя привольней, даже прошелся по двору. Почувствовав себя «полноправным», я выбрал из валявшихся на земле лохмотьев также для своего спутника подходящее одеяние. Он облачился, и передо мной стоял уже не благочестивый сторож, только-что шептавший молитвы, а какой-то отъявленный бродяга. Теперь надо было думать о том, как выбраться из двора на улицу.

Пожар разгорался. Пламя свистя вырывалось из окон. Слышались вопли захваченных пламенем. Вскрики женщин врезывались в шум надрывной нотой... Времени терять нельзя: сейчас не выйдешь — и тут сгоришь живьем. А за воротами стальные дула мрачно поблескивали при свете пламени.

Ум лихорадочно работал. Я пригнулся, ища на земле что-нибудь, что помогло бы мне усилить принятый вид грабителя. Надел еще валявшуюся под ногами окровавленную шапку, схватил стоявшие у забора поломанные рамы, ненужные декорации находящегося рядом театра. Крепко зажав эту поживу, я решительно двинулся к выходу.

В этот момент я заметил, что тем же выходом во двор стали появляться группы людей из горящего здания. Впереди их строились дружинники с револьверами в руках. Снова слышался спокойный, ободряющий голос Кострикова. Но мне с поклажей вернуться к ним было уже поздно, и я вышел через ворота на гомонящую улицу.

— Эй, эй! Глядите-ка! Ну и поживился, нечего сказать!

Не отвечая, я кивнул головой и быстрыми шагами пошел дальше. К удивлению, на пути я не встретил никакой преграды; должно быть, вид у меня был самый лучший, так как меня приняли за «своего». Только несколько голов повернулось в мою сторону. Кто-то еще отпустил какое-то замечание по поводу неудачной поживы. Я был на свободе.

Быстрым шагом прошел, не переводя дух, несколько улиц и остановился, лишь поднявшись довольно высоко на гору. Тут только я выпустил из рук спасшие меня рамы.

Внизу пылало здание службы пути, как исполинский костер. Огненные языки вырывались из окон, метались вверх. Слышался шум, звон стекол, крики. Небо пламенело заревом. Освещенные отблеском пожара стояли конные городовые, казаки, пехотинцы.

— Ну, айдате теперь ко мне, молодой человек!

Я оглянулся. Рядом стоял «наряженный» сторож. Он пробежал тот же путь. Я поблагодарил его, но приглашение отклонил. Надо было разыскать товарищей и, если можно, что-либо предпринять.

— Туды, значит, товарищей выручать пойдете? — проговорил сторож спокойно и приветливо. — Ну, прощевайте, счастливо!

Мы крепко пожали друг другу руки. Близок становится человек, вместе переживший такое.

Скоро я был на квартире товарищей на Университетской. Их трое сидело за столом. Мрачно застывшие лица... Мой вид не произвел на них никакого впечатления.

— Ну, что же мы будем делать?

— Что ж делать, — ответил мне Карпинский, один из делегатов. — Сидим, как безнадежные кретины. Ничего нельзя сделать! Мы бессильны. Они победили.

— Нет, так нельзя! Сидеть невозможно! Надо итти!

Васильев, второй товарищ, вскочил:

— Идем вместе! Если я тут просижу еще час, — с ума сойду! Лучше все видеть своими глазами. А ты оставайся! — бросил он Карпинскому.

Чем дальше мы с Васильевым продвигались по городу, тем светлее становилось вокруг. Дом службы пути и тяги пылал, весь охваченный пламенем.

Разлившись неподвижно черным кольцом вокруг дома, стояла молчаливая масса людей. Около горевшего здания земля была устлана трупами...

Трупы были все ограблены: некоторые оставлены в нижнем белье, а на других ничего не оставлено.

Вдруг сверху мужской голос запел. Я поднял голову. На крыше, на фоне пламени стоял человек и держался за трубу. В свои предсмертные минуты он бросал толпе вниз огненные слова песни...

«Это будет последний и решительный бой!..»

Пламя лизнуло его волосы, пиджак на нем загорелся...

— Прикончить беднягу, — сказал один из солдат и прицелился. Пение оборвалось на полуслове. Человек, переворачиваясь в воздухе, полетел вниз, в омут огня...

Оцепенелый стоял я, продолжая смотреть. В этот момент из двора выбежала одинокая девушка. Обезумевшие глаза с мольбой устремлены на стоявших перед воротами черносотенцев. Она простирала к ним руки.

— Смазливая девчонка! — крикнул черносотенец.

Подскочил и, резко взмахнув, ударил ее ломиком по голове. Девушка упала, мозг хлынул на мостовую.

Нагнувшись, убийца стал деловито снимать с нее шубенку.

— Не больно важная находка, — сказал другой и стал стягивать ботинки. Девушка была раздета донага.

Другие черносотенцы были заняты в это время работой: они складывали «колодезь» из мертвых тел, кладя по четыре трупа вряд. Когда «колодезь» достиг высоты человеческого роста, — крикнули:

— А эту наверх!

С улюлюканьем подкинули труп девушки и водрузили его на верх чудовищного «колодца».

— А это пусть держит она! — рявкнул тот, кто назывался человеком, и поднятый с земли красный флаг со свежезаостренным концом древка — воткнул в обнаженный живот девушки.

★

ЗАБАСТОВКА НАЧАЛАСЬ

А. И. ГОРЧИЛИН («Гренадер»)

Горчилин А. И. в 1905 г. работал слесарем в мастерских Казанской железной дороги; ему было 19 лет, но он имел авторитет и большое доверие у рабочих. Как активный участник революционных схваток он в труде «1905 год на Казанке» излагает свои воспоминания о тех закипающих народным гневом днях. Здесь приводится отрывок — о начале октябрьской стачки на Казанке.

Начальник вокзально-станционной жандармерии Смерницкий стал чаще появляться в цехах мастерских и вел какие-то разговоры с мастерами и бригадирами. Нам было ясно, что он наводил справки о рабочих, занимающихся политикой. Скоро он непосредственно убедился в том, что в мастерских имеются революционеры. Московский комитет большевиков и его агитаторская группа решили практиковать массовки — собрания у ворот заводов, сейчас же при выходе рабочих с работы. Дело это было новое, рискованное, можно было нарваться на активность черносотенцев, которые могли избить агитатора и передать его полиции. У нас же на Казанке риск был двойной, так как рядом на станции всегда был наготове дежурный пост жандармерии. Когда ответственный организатор железнодорожного района от Московского комитета РСДРП(б) Н. Н. Мандельштам (по кличке «Михаил Миронович») предложил мне организовать такой митинг при выходе рабочих из мастерских, я, посоветовавшись с товарищами и подрайонным организатором «Сережей», согласился. В тесном кругу близких товарищей тщательно разработали план действий, определили точно, что каждый должен делать, где встать, — все это делалось незадолго до окончания работ в день митинга, чтобы провокаторы и шпионы не узнали о митинге и не предупредили жандармов. За три минуты до окончания работ у двери табельного выхода плотной группой стояли наши ребята первыми.

Раздался звонок — конец работы, и мы быстро выбежали на линию, к Мозжухинской калитке, через которую обычно расходи-

лась главная масса рабочих. Я закрыл калитку засовом и крикнул ребятам и подходившим рабочим: «Никого не пускать, остановить народ!» Рабочие перебегали линию, грудились перед калиткой, кричали. Толпа росла, волновалась, задние ряды рабочих, не понимая, в чем дело, лезли, протискивались, напирали. Как было условлено, с оратором должен был притти «Сережа». Где он? Придет ли во время? Может, арестованы оба? Толпа росла; к ней на крики повернули и те из рабочих, что расходились обыкновенно не в калитку, а по линии. Настал момент решать: или сейчас, немедленно должен быть оратор или открывать калитку. Я поднялся около калитки над толпой: около двух тысяч рабочих стояли перед калиткой плотной, сплошной массой. Все на секунду стихло...

— Здорово, гренадер! Усами обрастаем, оратор на месте, все в порядке! — тихо говорил мне, улыбаясь, очутившийся рядом со мной «Сережа». С площадки рядом стоящего вагона громким, твердым голосом начал «Седой» — Литвин:

— Товарищи!..

Митинг начался. С большим вниманием уже 10 минут слушали рабочие оратора. Со станции по линии к митингу быстро шагал десяток жандармов со Смерницким во главе... Нельзя было терять ни минуты. Мы с Коротковым и еще двое-трое наших ребят быстро пробрались на линию и решительно направились навстречу жандармам. Шагах в десяти от митинга мы встретились со Смерницким вплотную.

Сзади нас рабочие кричали на жандармов:

— Стойте, не подходите, фараоны!

Настроение у нас с Коротковым было решительное. Двинься Смерницкий вперед — кровавая схватка была бы неизбежной. Смерницкий понял момент, пожалуй, по нашим глазам. Он повернул к мастерским, за ним последовали сопровождавшие его жандармы. Все они скоро скрылись в проходной калитке мастерских.

«Седой» закончил речь:

— Долой царское правительство! Долой самодержавие!

Митинг окончился благополучно. «Сереже» и «Седому» надели рабочие кепки и они затерялись в массе выходивших через калитку рабочих.

Через несколько дней состоялась конференция железнодорожников-большевиков из представителей почти всех железных дорог Московского узла. На ней «Сережа» сделал отчет о нашем митинге на Казанке. Он так закончил: «Казанцы показали свою организацию на деле; действовали как гренадеры».

С тех пор товарищи стали называть меня «Гренадером». Это прозвище и осталось за мной как парткличка в дальнейшей работе подпольщика. На конференции тогда же оформился железнодорожный район большевиков всего Московского узла.

Николай Николаевич Мандельштам сообщил конференции, что Московский комитет РСДРП(б) придает особо важное значение

нашим организациям на железных дорогах. Конференция должна выбрать районный комитет из лучших товарищей по возможности от всех железных дорог. Руководство этим комитетом Московский комитет партии поручил ему. От Казанской дороги были выбраны Горчилин, Коротков, Белоруссов, Котляренко и я. После «Михаил Миронович» сообщил мне, что Московский комитет кооптирует меня в свой состав.

Так рабочие-большевики Казанки тесно связались с товарищами по партии на других дорогах Московского узла и с руководящим органом революционной борьбы — Московским комитетом большевиков.

Приближался октябрь, а с ним события невиданного размаха и значения — первая всероссийская забастовка. В этой забастовке, в этой первой решительной схватке рабочего класса с самодержавием казанцы под руководством большевиков выступили передовой мощной колонной. Уже во второй половине сентября 1905 года революционное настроение рабочих Казанских мастерских повысилось настолько, что объявление неизбежной политической забастовки ожидалось со дня на день. Наши собрания того времени были заняты выработкой будущих политических и экономических требований. Кроме общих требований для всех мастерских (8-часовой рабочий день, процентная прибавка к жалованию и т. п.) были внесены от каждой мастерской свои отдельные добавления, — это должно было сплотить всю рабочую массу на дружное проведение забастовки.

Выработанные требования не были обсуждены на районном комитете нашей организации: слишком быстро приближалась развязка — стачка, да и по конспиративным условиям трудно было это собрание провести. Состоялось собрание тесной группы большевиков-казанцев. На этом собрании присутствовали двое товарищей с Ярославской и Курской ж. д. — Тимофеев и Клюев, а также «Михаил Миронович» и «Сережа». Бо́льшая часть времени на собрании ушла на организационную сторону проведения забастовки. Боялись за котельный и кузнечный цеха: они могли не выйти на Канаву. Также выяснилось, что едва ли сможет остановиться без посторонней помощи Ярославская ж. д. Провести забастовку решено было 7 октября в 12 часов дня.

С особым, непередаваемым настроением вернулся я поздно ночью к себе на койку. Скорее спать!.. Но сна нет. Как соберется народ на Канаве? Как выйдет котельная? Не выйдет — выгонять!.. Кого из надежных ребят направить в котельную? Только, чтобы не стреляли в котельщиков! А что делать, когда котельщики бросятся на ребят с раскаленным железом?.. Кто даст звонок — сигнал к выходу на Канаву? Коротков сделает! Иванова промывщика можно послать ему в помощь... Но вот, вот главное и забыли: кто же первый говорить будет, когда соберется народ на Канаве? Кто первый призовет к всеобщей всероссийской забастовке, как решили на собрании? Может Шибаев? Он говорил,

что у них в депо машинисты к забастовке готовы!.. Может, Белоруссов? Но нет, ему вряд ли управиться со всеми котельщиками — «глухарями» — во-время вывести их на Канаву. Может «Михаил Миронович» сам придет? Но нет, никак об этом не условились. Что я скажу, когда все соберутся? Никогда я не говорил перед тысячами. Что будут делать мастера и особенно Красовский, когда раздастся звонок в необычное время? Наконец, жандарм Смерницкий — знает ли он, что завтра мы приготовили? Не готовит ли он сильный отряд жандармов, чтобы задушить забастовку в самом начале?.. Так лихорадочно работала мысль. Вопросы, ответы, сомнения сменялись одни другими, сон и явь сливались в одно!

7 октября рабочий день в мастерской начался обычным порядком: проходили мастера по цехам, поспешно навстречу им отрывались от своих конторок бригадиры, подходили и мастер и бригадир к той или иной группе рабочих, убеждались в правильном ходе работы, отрывисто делали замечания, называли срок ее окончания; бригадиры отвечали за рабочих согласием. Мы с Коротковым пришабривали дышловые подшипники. Часто то один, то другой выбегали на Канаву смотреть на стенных часах время. И сама работа — пришабривание — и стрелки часов, казалось, испытывали наше терпение. Подошел бригадир Шумилов, посмотрел смазку подшипников.

— Готово, навесить! — сказал он, глядя на нас в упор.

Я положил шабр, вытер «концами» руки и на ходу ему ответил:

— Сейчас навесим!

На часах, наконец-то, было 11. Возвратившись к месту работы, я громко сказал Короткову:

— Ваня, звонок во что бы то ни стало!

Коротков побежал в соседнее стойло[1]. Через несколько секунд он с Ивановым быстро шел по Канаве к паровой. Вскоре в дыхание мастерских, шум станков и машин властно врезался настойчивый звонок. Он звал рабочих на Канаву. Я бросился в кузницу. Меня обступили «бородачи», часть из них были наши ребята.

— Надо всем сейчас же итти в сборку на Канаву, — говорил я громко кузнецам, переходя от одной группы к другой.

Члены нашей организации кричали:

— Выходи-и-и на Канаву-у!

Постепенно затихало могучее дыхание горнов, одна за другой выбывали наковальни из строя — улетел перезвон беспокойных молотков и кувалд, наконец перестал ухать и паровой молот. Пройдя всю кузницу, я вернулся к входной двери: кузнецы массой шли на двор в сборку. Здесь на одном конце Канавы, около электрической тележки, плотной небольшой толпой уже стояли литейщики. По Канаве около паровозов толпились групы рабочих; часть из них присоединялась к литейщикам. Звонок не унимался,

[1] Стойло — место, куда вдвигают по рельсам паровоз для ремонта.

подтягивал отстающих, добирался и до трусливых и несознательных рабочих. В наступившей тишине других цехов, казалось, еще громче доносился рокот: стук молотков «глухарей»—клепальщиков.

Я крикнул литейщикам: «Товарищи, в котельную!» Большой группой ввалились литейщики в котельную. Одни кричали, другие громко свистели, подвигаясь внутрь мастерской.

Котельщики нас встретили, не выпуская из рук своего страшного инструмента — клещей, кувалд и тяжелых молотков. Как вкопанные на месте, с черными от копоти лицами, не понимая,



Всеобщая железнодорожная забастовка (X. 1905). — С карт. художн. Савицкого

они злобно стояли, ждали, колебались. Наши свистки и крики росли. Схватив лежащие тут же болты, заклепки и гайки, мы кидали их по котлам, откуда еще раздавалась клепка.

— На Канаву-у, на Канаву-у! — орала молодежь, не переставая бросать болты и гайки... Падали разбитые стекла окон. Через несколько минут котельщики, так же как и кузнецы, общей массой вышли на канаву. Звонок резко оборвался, затих. Сразу воцарилась в мастерских особая тишина. Туго уплотнялась народом Канава. Коржов шептал мне на ухо: «Вагонная и конвенция тоже пришли, мастера и бригадиры в народе на Канаве, жандар-

мов не видно». Из крайнего стойла, около электрической тележки, стоял несколько выдвинутый вперед паровоз. Я вскочил на площадку его впереди трубы. Тесно, в несколько тысяч человек, заставлена была людьми Канава. Все головы повернулись ко мне, тысячи глаз смотрели на меня, говорили мне, требовали, ободряли. Среди близко стоящих товарищей я видел своих ребят.

— Да здравствует всероссийская всеобщая забастовка!

— Долой самодержавие! Долой преступную войну!

Бурными криками одобрения и аплодисментами покрылись мои последние слова. После меня выступил Шибаев. Он говорил о зверской расправе губернаторов над крестьянством, о необходимости через представителей от мастерских связаться с всероссийским железнодорожным союзом и его стачечным комитетом.

Третьим говорил Белоруссов. Он зачитал экономические требования, общие для всех мастерских, а потом и цеховые — то, что должна утвердить и ввести администрация Казанской дороги. Он же предложил выбрать депутатов, которые свяжутся с железнодорожниками всего Московского узла.

Начались выборы депутатов в стачечный комитет железнодорожников. Выбранными от мастерских оказались опять я, Горчилин, Белоруссов, Котов, Шапуров и Шибаев (четверо первых были членами нашей организации большевиков).

— Хорошо! — говорил мне очутившийся опять внезапно рядом «Сережа». — Глядите в оба, ребята, как бы Смерницкий не побрил нашу организацию! Уж очень скоро вы стали «сами с усами»...

Все как один проголосовали немедленно бросить работу. После голосования рабочие массой шли к выходу, на линию, к депо. Началось активное распространение забастовки. Наши ребята были впереди.

В депо и на линии стояло под парами несколько десятков паровозов, готовых к отходу с очередными поездами. Мы бросились к ним и, привязав гудки, начали выпускать пар.

Один за другим, сразу многие и все вместе по линии на вокзале и на вокзальной площади загудели многоголосно, призывно десятки свистков паровозов. Эти неслыханные могучие звуки смели охрану жандармов с платформы вокзала, стащили служащих управления дороги со своих мест к окнам и дверям, собирали народ с площади к вокзалу. А звуки властно неслись дальше, заглушили все другое в окружающей жизни и звали, звали на борьбу за новое, за лучшее будущее. Рабочие депо и машинисты охотно присоединились к забастовке, сами помогали выпускать пары. Вскоре так же легко мы сняли служащих телеграфа и управления Казанки.

*

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ У ВИТТЕ

М. Д. ОРЕХОВ

Стачка железных дорог в октябре 1905 г. привела в замешательство и почти обезоружила царское правительство в его борьбе с нарастающим революционным движением. Напуганные «всесильные» царские министры-вельможи вынужденно прислушивались к голосу железнодорожников, пытались заигрывать с их представителями. Председатель первого делегатского съезда железнодорожников — Орехов, М. Д. — в отрывке воспоминаний рассказывает о беседе делегатов с графом Витте.

Съезд выбрал из своей среды 10 человек, которые разбились на две группы. Одна, возглавленная мной, должна была предъявить правовые и политические требования Витте, другая, возглавленная А. М. Архангельским, должна была предъявить профессионально-экономические требования министру путей сообщения Хилкову.

Со мной ехали к Витте: с Владикавказской — инженер Цветков, с Юго-Западной — инженер Кондратьев, с Екатерининской — машинист Строков, пятого не помню, но кажется, это был делегат Севастопольской — счетовод Александров.

Было около 7 часов вечера. Нашли двух «ванек», разместились и потрусили на Каменно-Островский проспект к особняку графа.

Особняк во дворе. Подъезд освещен электричеством. У подъезда рысак: Витте дома.

Как-то примет он нас? Да и примет ли? Идем. Звоню. Дверь раскрывается. Перед нами величественная фигура швейцара. Какое швейцара — сенатора!..

— Граф Витте дома?

— Граф дома, — внушительно говорит «сенатор», — они едут сейчас на заседание Совета министров. Ваша фамилия как?

— Орехов.

И вдруг «сенатор» согнулся и торопливо, испуганным шопотом спрашивает:

— Председатель железнодорожного съезда?

— Да.

— Эй, Григорий! Доложи его сиятельству: председатель железнодорожного съезда господин Орехов с делегатами!

Стоявший на верхней площадке небольшой внутренней лестницы моментально исчез.

Я скинул пальто. Моему примеру последовали товарищи. Григорий снова стоял наверху и приглашал:

— Пожалуйте, господа!

Зная привычки наших бар, я не сомневался, что нас заставят ждать в приемной. Я быстро взбежал по лестнице, а товарищи несколько мешкотно, поодиночке поднимались за мной.

Впереди большая темная комната, сбоку — раскрытая освещенная дверь. Григорий указывает на нее. Вхожу. Кабинет Витте, и сам он поднимается из-за стола навстречу.

Вот так сюрприз! Я один, остальные отстали. Знакомлюсь. Говорю, что приехал по поручению съезда во главе депутации. В этот момент в дверях показывается фигура одного из товарищей. Знакомлю. Называю фамилию, дорогу, от которой он делегирован, и тем выигрываю время. Появляется другой. То же самое. Наконец, все собрались.

— Садитесь, господа! — приветливо приглашает хозяин. — Курите, будьте как дома! — Сам опускается в кресло у стола.

Излагаю цель посещения, предъявляю наши пункты. Витте спускает со лба очки и начинает внимательно штудировать наши требования.

— Учредительное собрание? — в ужасе воскликнул Витте и, прерывая чтение, вскинул на лоб очки. — Это какое-то поветрие! Представьте, приезжает на-днях из-за границы сановник. Спрашиваю его: «Как полагаете, ваше превосходительство, что нужно предпринять для благополучия России». А он говорит: «Созвать Учредительное собрание!» Вот и вы того же требуете. Я — старый железнодорожник, знаю служащих и не могу поверить, чтобы они требовали созыва Учредительного собрания. Ну, вот вы, например, — обращается он к инженерам Цветкову и Кондратьеву, — неужто вы полагаете, что созыв Собрания нужен?

Цветков и Кондратьев отвечают утвердительно.

Тогда граф переводит пытливый взгляд на машиниста Строкова и его пытает:

— А вы?

— Та, ваше сиятельство, — завопил старик, — та уж жить стало невозможно!..

Граф, видимо, оторопел и секунду смотрел, вытаращив глаза, на старика-машиниста, тридцать лет верой и правдой служившего на железной дороге и тут вдруг изменившего «царю и отечеству».

Витте спустил снова со лба очки и смущенно продолжал чтение, сопровождая каждый пункт отрывистыми замечаниями: «Это можно». «Я ничего не имею против». «Это надо предварительно разработать». «Это невозможно».

Окончив чтение, он сказал нам, что обсудит требования в Совете министров, после чего часть требований будет немедленно удовлетворена; другая подвергнется тщательной разработке и после этого будет проведена в жизнь; некоторые же пункты не могут быть ни в коем случае удовлетворены. Речь, очевидно, шла о созыве Учредительного собрания. И затем граф отложил лист с нашими требованиями и заговорил с нами тоном простого собеседника, доброго хозяина, занимающего своих гостей разговорами.

— У вас, я слыхал, начались на железных дорогах забастовки?..

Мы подтвердили.

— Но это же очень опасно!.. Крестьяне, которые остались без заработка, разгромят станции, они кровью зальют железнодорожников, ведь это ужасно! — пугает нас граф.

— Да, да, это ужасно, — тем же тоном отвечаю я. — Да что станции!.. Города будут залиты кровью!.. Какое-нибудь Иваново-Вознесенск. Войск теперь не подвезешь. Подымутся рабочие. А в Иваново-Вознесенске только что «славные фанагорийцы», как их называл царь, расстреливали забастовавших рабочих...

Как ни выдержан был Витте, но при этих словах он заерзал на стуле.

Сорвавшись на запугивании, он перешел на подкуп. Откинувшись на спинку кресла и полузакрыв глаза, он нежно, как бы про себя, заговорил:

— Да, это ужасно! Железнодорожная забастовка приносит всегда массу вреда... Чего бы стоило ее ликвидировать?

Я насторожился и ответил:

— Не мы организовали забастовку, не мы ее кончим.

— А... кто же организовал? — встрепенувшись спросил граф, поворачиваясь в мою сторону.

— Правительство.

— Как правительство?! — удивленно воскликнул он.

— А вот как. Приведу вам пример. Сегодня мне сообщили, что делегаты дорог «царства польского» приехали из Варшавы и были у министра путей сообщения Хилкова. Они возбудили вопрос о том, чтобы им разрешено было вести внутри дорог переписку на польском языке. Большего они не требовали. Им в этом отказано. Сегодня же делегаты уехали. Подчеркиваю, что я с ними не видался, ничего не знаю об их намерениях и не знаю даже их фамилий. И, тем не менее, я утверждаю, что через два дня они будут в Варшаве, на третий созовут собрание узла, а на четвертый все их дороги присоединятся к забастовке. Кто же организовал забастовку дороги?

— Я не знаю, почему князь Хилков отказал им, — воскликнул Витте. — Я ничего не имею против. Я переговорю с ним. Он милый человек...

Увы!.. «Милый человек», очевидно, имея приказ свыше, отказ обратно не взял, и дороги дружно стали.

Наша беседа у Витте затянулась. Прошел час. У подъезда нетерпеливо ждала лошадь, ждали министры в Совете, а господин Орехов и депутаты все еще разговаривали с «его сиятельством».

☆

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

А. Е. КИСЕЛЕВ

Киселев, А. Е. служил (1895—1906) на Рязано-Уральской. Член стачечного комитета, секретарь обоих съездов рабочих и служащих этой дороги, депутат II Думы от крестьян Тамбовской губернии. Его речь с думской трибуны отмечена Лениным как «едва ли не лучшей из речей крестьянских депутатов» (Т. XI, стр. 472, 3-е изд.). В отрывках из его мемуаров — эпизоды стачечного движения среди железнодорожников Рязано-Уральской дороги.

ЗАБАСТОВКА В КОЗЛОВСКИХ ГЛАВНЫХ МАСТЕРСКИХ

Утром я вышел на перрон, глянул — все пространство от вокзала до мастерских и депо усыпано народом.

Забастовка началась: ни депо, ни мастерские, ни станция не работали. Все ночные и утренние поезда стояли на станции; паровозы около депо неистово шумели бурными клубами выпускаемого пара — охлаждались. Всюду — на платформах, на путях — группы рабочих, ходят, стоят, разговаривают.

В конце главной платформы, близ водокачки, собралось начальство. Подхожу. Говорят о забастовке.

— Разве это забастовка? — возмущается Бурнштейн. — Ходят, слоняются, как бараны!

— А вы чего же хотите, — смеется Жуков, — чтобы станцию громили? Подождите, может быть, и до этого дойдет!

— Что же мы, в самом деле, так болтаемся? — заметил Лутохин. — Надо что-нибудь делать.

— Давайте, соберем всех да поговорим! — предложил я.

— В самом деле, — поддержал кто-то из начальства, — дать тревожный гудок, собрать всех на «нижний уровень», в новую сборную.

Сборная была еще не вполне окончена оборудованием; она по своим размерам представляла прекрасное помещение для многолюдного митинга.

Лутохин подозвал какого-то молодого рабочего и распорядился:

— Пойди в силовую и скажи Федорову, чтобы дал тревожный гудок, а рабочие пусть собираются в новой сборной.

Через минуту мощный гудок застонал, словно раненый зверь.

— На нижний уровень! На нижний уровень! — понеслось от группы к группе.

Как ручьи в половодье, потянулись рабочие и служащие со всей территории станции к спуску на нижний уровень и, слившись на лестнице, сплошным потоком потекли в черную пасть раскрытых ворот сборной.

А гудок все стонал — звучно, надрывно — заглушая все голоса и звуки, будя тревогу и волю к действию.

Мастерская, кажется, уже полна, а черный поток от спускной лестницы все еще течет. В нем замелькали цветные пятна. Это горожане. Там, в городе, многие еще не знали, что делается на станции, в мастерских, — прибежали по тревожному гудку.

Новая сборная стала тесной. Запоздавшие лезли на подоконники, цеплялись к решетчатым колоннам и разобранным паровозам. Гул голосов мешался с тревогой гудка. Но гудок, наконец, замолк, и толпа стала стихать.

— Надо председателя выбрать! — громко крикнул кто-то.

— Жукова! Жукова! — отозвалось в разных местах.

Жуков Илларион Иванович, начальник депо, пользовался большой популярностью среди рабочих.

Рабочая масса еще не осознала себя, своей решающей силы, не умела еще различать людей, выделять своих подлинных друзей и вождей. Она их еще не знала, хотя и видала; она пока еще полагала, что «хороший начальник» может дать ей все.

Жуков взобрался на тележку разобранного паровоза, стоявшего по середине мастерской, и сделал знак рукой, чтобы замолчали.

—О чем же будем говорить, товарищи, — улыбнулся он, произнося в первый раз и как-то особенно подчеркивая последнее слово.

— Вперед всего о наших делегатах! — закричал кто-то. Телеграмму подать, чтобы их вернули!

Еще накануне прошел слух, что делегатов Орехова и Архангельского, посланных в Петербург на Всероссийский съезд по пересмотру устава пенсионных касс, арестовали. Сегодня об этом все говорили с утра, хотя никто хорошенько не знал, откуда этот слух и насколько он достоверен.

Так как никаких возражений не последовало, то тут же решили послать две телеграммы: одну в Петербург, другую в Саратов управляющему дорогой, чтобы и он, с своей стороны, ходатайствовал о том же.

Обращение за содействием к управляющему дорогой тоже характерно для того момента: масса еще не сознавала своей силы, еще искала поддержки у начальства.

— А теперь о чем? — улыбнулся опять Жуков, когда покончили с телеграммами.

— Теперь вот об этом! — подал Жукову кто-то лист бумаги.

Очевидно, это была телеграмма Центрального бюро железнодорожного союза, призывающая всех железнодорожников к забастовке и предлагавшая всем предъявлять одинаковые требования политического и экономического характера.

Когда Жуков прочитал всю телеграмму, решили рассмотреть и голосовать каждый пункт требований отдельно. Так как многие из присутствующих не понимали еще, что это за свобода слова, собраний, печати, неприкосновенность личности и т. д., то само собой

установилось, что по каждому пункту стали выступать знающие товарищи с разъяснениями. Разъяснения иллюстрировались живыми примерами и фактами из существующей русской действительности, яркими и красочными, всем знакомыми и понятными; сопоставлялись с зарубежными порядками, где нет самодержавия. В результате каждое требование принималось под гром аплодисментов.

Проработка требований заняла довольно много времени. Жуков, видимо, устал, потому что поддерживать порядок в такой огромной и возбужденной аудитории было трудно.

— Ну, что же, товарищи, теперь по домам можно, обедать? — обратился он к собранию, когда покончили с прокламацией.

— В город пойдем! — крикнули из толпы. — Пускай все бастуют!

Начальство забеспокоилось.

— Зачем же в город? — возмущался Бурнштейн. — Мы сами по себе, они сами по себе. Пусть бастуют, если хотят!

Его поддержал Кнорре.

— У нас одни требования, у них могут быть другие!

Но настроение уже взмыло выше головы начальства.

— В город! — И откуда-то взялось небольшое красное полотно, взметнулось над головами недалеко от выходных ворот.

«Отречемся от старого ми-и-ира!»

Зазвенел вдруг молодой голос.

«Отряхнем его прах с наших ног!»

Толпа дрогнула, колыхнулась из стороны в сторону и могучим потоком устремилась к выходу вслед за плывшим над передними рядами красным флагом. Начальство, сгрудившееся около импровизированной трибуны, что-то надсадно кричало, размахивало руками, но безрезультатно, — толпа уже ушла из-под его гипноза, пошла под руководством тех, кто в глубоком подполье подготовлял рабочие массы на борьбу.

«Мы пойдем в ряды страждущих братьев,
Мы к голодному люду пойдем!»

гремел уже целый хор впереди.

Что-то властное и мощное звучало в этом новом напеве, связывало дотоле разрозненные единицы в одно могучее целое, от которого нельзя было и не хотелось отстать, оторваться.

«Дружно, товарищи, грудью вперед!
Умрем, как один, за свободу!»

Свобода!

Сколько непередаваемо-обаятельного было в этом слове! Как жадно хотелось ее!

И уже казалось, что вот она — желанная, здесь, реет над головами в алом куске полотна, звучит в четких нотах марша и могу-

ней лавой несет толпу туда, где люди еще не смеют вслух произнести это заветное слово.

«Раздайся крик песни свободной!
Вперед! вперед! вперед!»

Каким энтузиазмом наполнен был этот боевой клич! И как быстро толпа усвоила напев, как скоро она слилась в один могучий хор!

– Товарищи! По сторонам не расходиться! — командует кто-то сверху лестницы у силовой. — Сделайте по бокам цепь, — хватайтесь рука за руку!

Команда незнакомого человека, словно тисками, сдавила поток с обеих сторон, выдавила две цепи по сторонам, и за воротами мастерских шла уже не беспорядочная толпа случайных людей, а стройная плотная колонна, одушевленная единой мыслью, одним общим желанием.

За зданием вокзала навстречу — отряд полиции с полицмейстером во главе. Блюститель «порядка» шел с целью навести страх и трепет на «бунтовщиков»; но людской поток был так могуч и властен, что никто и не подумал остановиться. Поток вобрал полицию в себя и, как щенку, понес вперед.

Полицмейстер растерялся, забыл, зачем он шел:

— Господа, я с вами! — кричит, — только, пожалуйста, не нарушайте порядка!

— Ура! — крикнуло несколько голосов, как бы насмехаясь над вчерашними властителями города.

Шествие направилось по главной улице. От толпы то и дело отделялись небольшие группы рабочих, забегали во встречавшиеся по пути лавки, магазины, мелкие мастерские и закрывали их. Поравнялись с женской гимназией. В окне второго этажа «божья коровка», начальница гимназии, в ужасе крестится...

Прошли улицу, базар, спустились вниз к реке. За мостом дымит винокуренный завод. Группа молодых рабочих побежала на завод. И через несколько минут загудел гудок, зашипели спускаемые пары.

— Остановили!..

В ПУТИ НА СЪЕЗД

...Утром три вагона второго класса и вагон-микст делегатского поезда стояли около перрона, запруженного народом. Машинист товарищ Чавченко, коренастый, с черной курчавой бородкой подал паровоз. Короткий митинг. Выступали делегаты разных служб. Мотив всех речей один:

— Стойте дружнее! Победа за нами!

— Ура! Ура! — раздалось с платформы, когда поезд плавно тронулся. — Да здравствует свобода! Ура!

В воздухе мелькают шапки, красные платочки. Мимо окон ва-

гонов плывут возбужденные лица. Звуки марсельезы мешаются с криками «ура».

Как радостно на душе!..

— Смотри, с зарубки не соскочи! — на остановке смеются делегаты машинисту.

— У нас не соскочит, — серьезно отвечает тот, — знаем, кого и куда везем!

В Тамбове около железнодорожного театра шел митинг. Наших представителей восторженно встретили. Обменялись короткими приветствиями, и митинг в полном составе двинулся к поезду провожать делегатов.

Короткие, горячие призывы с площадок вагонов. Такие же ответы, возгласы из толпы. Оркестр играет марсельезу. Могучее «ура» — и поезд поплыл дальше.

Делегаты сбились в один вагон. Решили организоваться. Выбрали распорядителя поезда, наметили шесть человек ораторов, которые должны выступать на тех станциях, где будет длительная остановка. Каждому оратору дали отдельную тему. Один должен был говорить о задачах и целях настоящей забастовки; другой — на тему «взялся за гуж, не говори, что не дюж»; третий — по аграрному вопросу.

Поезд мчался с непривычной для нас скоростью. Быстро промелькнули станции. Перед Иноковкой, около какого-то мостика, копались рабочие, человек пять-шесть.

Делегаты возмутились, и едва поезд остановился в Иноковке, — к начальнику станции.

— Кто это заставил работать на линии?

— Дорожный мастер послал.

— Подать сюда дорожного мастера!

Через минуту дорожный мастер стоял на вытяжку перед распорядителем поезда бледный, дрожащий и что-то несвязно лепетал в свое оправдание.

— Да как ты смел? — кричал распорядитель. — Сию же минуту снять!

— Слушаю с! — козырнул тот по-военному и опрометью бросился вдоль по линии к рабочим.

Тем временем начальник станции сообщил, что в Кирсанове настроение очень скверное, что местные черносотенцы и пассажиры застрявшего там поезда грозят делегатам, а потому там лучше не останавливаться.

Перед Кирсановым, у входного семафора, наш поезд встретил дежурный по станции с флажком в руках, встал на подножку паровоза, и мы «шагом» прошли станцию по каким-то обходным путям.

У перрона стоял застрявший пассажирский поезд. К окнам вагонов прилипли удивленные, завистливые и возмущенные лица пассажиров. Вот мужчина лет пятидесяти, с благообразной бородой, в какой-то синевато-зеленой поддевке, сурово сдвинув брови,

стучит кулаком в окно и шевелит губами, — «матом кроет» нас и всех забастовщиков...

В Умете на станцию приехал обоз с хлебом из какого-то помещичьего имения, а станция не принимает груза. Наш поезд встречают на перроне возчики.

— Эй, ораторы! — кричит распорядитель. — На работу! «Министра земледелия» первым пустить! Тут мужиков много!

«Министром земледелия» мы прозвали делегата, станционного конторщика Корифельда Михаила, служившего раньше в волостных писарях и письмоводителем у земского начальника. Его выступления на наших митингах производили всегда наилучшее впечатление. Излюбленной темой его был земельный вопрос и крестьянство. Он знал родословную чуть ли не всех дворян Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Воронежской, Орловской и других губерний; знал историю каждого крупного помещичьего имения, знал, когда и кто, от какого царя и за какие заслуги получил его в дар или когда выиграл в карты, купил, взял в приданое за женой... Сколько было правды в его рассказах и сколько вымысла — никому не известно, но он, походя, сыпал именами царей, цариц, князей, графов и нынешних владельцев, сыпал уверенно и авторитетно.

— Сам со всеми царями два раза в день чай пил! — кто-то сострил по его адресу.

— С хлебом, что ль, приехали? — деловито обратился он к мужикам, как старый знакомый, собравшийся покалякать с земляками об их делах.

— С хлебом, — ответили с платформы.

— Барский, небось? Откуда?

Мужики назвали помещичью экономию.

— Знаю! — кивнул головой Миша. — Сколько у него тут земли-то, тысченки полторы, две, что ль?

— Какой полторы, почитай три!

— Так-так! У него еще под Воронежем такой же лоскут, да в Курской... А сами-то на «дарственной»[1] что ль?

— На дарственной и есть.

— А свои-то обозы скоро на станцию погоните?

Мужики с недоумением уставились на «министра».

— Какие обозы? Откуда они у нас?

— Ну, как же, — не меняя тона продолжал Миша, — на войну-то, небось, пошли ваши ребята?

— Обыкновенно, пошли!..

— Небось кое-кого уже и покалечили там, а иных и совсем укокошили?

— Обыкновенно!..

---

[1] При «освобождении» крестьян в 1861 году некоторые из них получили так называемые «дарственные», без выкупа, наделы в размере $^1/_4$ десятины на двор не выгодной помещикам земли.

— За чьи же это обозы они головы сложили? Не за барские же?

Мужики закрякали, задергали плечами.

— Чего вы его слушаете! — не выдержал жандарм, стоявший среди мужиков. — Аль не видите — крамольник! Задержать его!

Никто из мужиков не шевельнулся.

— Ну-ка, ребята, попридержите-ка его, я с ним поговорю! — спокойно ответил «министр», сделав вид, что хочет двинуться вперед.

Жандарм подхватил полы шинели и проворно подался назад.

Мужики засмеялись.

— Вот они какие! — сказал Миша. — Мы вот и хотим поприжать эту сволоту, дармоедов-то: жандармов, земских, губернаторов, министров; их прижмем, землю у господишек отберем, да всю — вам!

— Это чего б еще лучше! — разом отозвалось несколько голосов. — А то ведь дошло — дыхнуть нечем!

— Для этого мы и забастовку сделали. Сейчас в Саратов едем, чтобы всем сообща навалиться... Поддерживать-то нас будете, что ль?

— С нашим удовольствием!

— Вот и ладно будет: мы — там, а вы — тут! А сейчас нечего тут окалачиваться, поворачивайте оглобли да везите-ка хлебушко-то себе!

Заверещал свисток кондуктора, ухнул паровоз.

— Да здравствует свобода! — крикнул кто-то из вагона.

— Ура! Ура! Ура! — грянуло с поплывшей назад платформы вслед нашему поезду. В вагоне Мишку качали за его речь, настроение было жизнерадостное. Да и как ему не быть! Давно ли слова нельзя было пикнуть, а сейчас на всю степь кричим:

— Да здравствует свобода!

А степь, долго молчавшая степь, гремит в ответ.

☆

С ВОЙНЫ

В. ВЕРЕСАЕВ

Врач по профессии, писатель В. Вересаев был участником русско-японской войны; беспощадно и правдиво описал позорную бойню в Манчжурии. «На войне» — одно из выдающихся его произведений. В приводимых отрывках — картины возвращения армии с фронта и попутные зарисовки событий на сибирской магистрали в дни великой стачки 1905 г.

1. МИР

Мир был ратифицирован. В середине октября войска пошли на север, на зимние стоянки. Наш корпус стал около станции Куаньчендзы.

Когда же домой? Всех томил этот вопрос, все жадно рвались в Россию. Солдатам дело казалось очень простым: мир заключен, — садись в вагоны и поезжай. Между тем день шел за днем, неделя за неделею. Сверху было полное молчание. Никто в армии не знал, когда его отправят домой. Распространился слух, что первым идет назад только что пришедший из России тринадцатый корпус... Почему он? Где же справедливость? Естественно было ждать, что назад повезут в той же очереди, в какой войска приходили сюда.

Наконец вышел приказ главнокомандующего: в нем устанавливалась очередь отправки корпусов. Очередь была самая фантастическая. Первым, действительно, уходил только что прибывший тринадцатый корпус, за ним следовали девятый, несколько мелких частей и первый армейский корпус. На этом пока очередь заканчивалась. Когда пойдут другие корпуса, в какую, по крайней мере, очередь, — приказ не считал нужным сообщить.

Настроение солдат было негодующее и грозное.

А в России и Сибири все железные дороги уже стали. В Харбине выдавались билеты только до станции Манчжурия.

Вскоре прекратилось и телеграфное сообщение с Россией. Была в полном разгаре великая октябрьская забастовка. Слухи доходили смутные и неопределенные. Рассказывали, что во всех городах идет резня, что Петербург горит, что уже подписана конституция.

Наконец в армии был получен манифест 17-го октября. Наш смотритель списал манифест в штабе и привез его. Стал нам читать. В фанзу вошли два денщика, копошились у кроватей, как будто что-то убирали, и прислушивались.

Смотритель опасливо покосился на них.

— Что вам тут нужно? Ступайте вон! — строго крикнул он.

Денщики ушли.

Мы расхохотались.

— Да вы понимаете ли, Аркадий Николаевич, что вы читаете? Ведь это не прокламация, это манифест, высочайший манифест! Его в праве знать всякий.

— Так-то так, а все-таки... Не к чему им это!

В приказах главнокомандующего манифест не печатался, солдатам его не читали. Но солдаты, конечно, и сами сумели тотчас ознакомиться с манифестом. С невинным видом они спрашивали своих офицеров:

— Ваше благородие, правду говорят, манифест какой-то от царя вышел?

Офицеры бегали глазами и уклончиво отвечали:

— Да, говорят, вышел какой-то... Сам я не читал...

Солдаты почтительно выслушивали, а глаза их смеялись.

Между собой солдаты говорили:

— Спрятать от нас хотят; хотят, чтоб солдат не знал! На дураков напали! Солдат раньше главнокомандующего все узнает.

Сам собой родился и пополз слух, что начальство скрывает

еще два царских манифеста: один, конечно, о земле, другой о том. чтобы все накопившиеся за войну экономические суммы были поделены поровну между солдатами.

Офицеры, за немногим исключением, относились к совершавшимся в России событиям либо вполне равнодушно либо с насмешливой враждебностью. То, что, казалось бы, могло быть достоянием только лабазников и сидельцев холодных лавок, здесь с апломбом высказывалось капитанами и полковниками...


ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ

НИКОЛАЙ.

«К сему листу свиты его величества генерал-майор Трепов руку приложил»

В громадных, невиданных в истории муках нарождалась на родине новая жизнь, совершалось историческое событие, колебавшее самую глубокую подпочву страны, миллионы людей боролись и рвали на себе цепи...

*

Железные дороги опять стали, почтово-телеграфное сообщение с Россией прекратилось. Но стачечные комитеты объявили, что перевозка войск с Дальнего Востока будет производиться правильно. Волей-неволей начальству пришлось вступить в сношения с харбинским стачечным комитетом. И воинские эшелоны шли аккуратно.

Дисциплина в войсках со дня на день падала все больше. В штабах предупреждали офицеров, чтоб они обращались с солдатами как можно мягче, чтоб не вступали в пререкания из-за неот-

дачи чести. Солдат старались занимать на стоянках гимнастикой, военными прогулками, играми. «Вестник Манчжурских армий» пестрел письмами в редакцию разных ефрейторов, фейерверкеров и санитаров. Они писали, что «стыдно нам, братцы, огорчать нашего царя-батюшку, нужно нам слушаться начальства, молиться богу, первее же всего — не пить водки, от нее, проклятой, все зло бывает. Конечно, бывают и среди офицеров плохие начальники, но в общем начальство всей душой заботится о нас, и мы должны быть ему благодарны».

Солдат читал, другие слушали и смеялись.

— Кто подписался?

— Афанасий Гуревич.

— Дурак!... Пиши, Максимка, письмо в редакцию: я, рядовой Максим Прохоров, заявляю, что писаны одни глупости.

— Как откроют бунт большой, вот тогда и держись! — вздыхал другой.

По полкам у солдат отбирали патроны. Велено было строго следить, чтоб в помещениях солдат не было никого посторонних, чтоб даже в соседнюю деревню не отпускать солдат без билетов, делать внезапные поверки и безбилетных арестовывать.

Поезд мчался по пустынным равнинам, занесенным снегом. В поезде было три классных вагона; их занимали офицеры. В остальных вагонах, теплушках, ехали солдаты, возвращавшиеся в Россию одиночным порядком. Все солдаты были пьяны. На остановках они пели, гуляли по платформе, сидели в залах первого и второго класса. На офицеров и не смотрели. Если какой-нибудь солдат по старой привычке отдавал честь, то было странно и необычно.

И во всех эшелонах было то же. Бунтующая сила прорывалась на каждом шагу. В Иркутске проезжие солдаты разнесли и разграбили вокзал. Под Читой солдаты остановили экспресс, выгнали из него пассажиров, сели в вагоны сами и ехали, пока не вышли все пары.

Нам рассказывал это ехавший в нашем поезде мелкий железнодорожный служащий, в фуражке с малиновыми выпушками. Все жадно обступили его, расспрашивали. Впервые мы увидели представителя осиянного всемирной славой железнодорожного союза, первым поднявшего на свои плечи великую октябрьскую забастовку. У него были ясные, молодые глаза. Он с недоумевающей улыбкой говорил о непонимании офицерами происходящего освободительного движения, рассказывал о стачечных комитетах, о выставленных ими требованиях.

— А скажите, как у вас, все слушаются стачечных комитетов?

Железнодорожник сдержанно улыбнулся:

— Да, у нас дисциплина не то, что у вас. Одно слово стачечного комитета — и все сразу бросят работу, от инженера до последнего стрелочника.

Он говорил еще, что раньше они требовали реформ; теперь же,

когда поведением после семнадцатого октября правительство показало свою неискренность, они уже требуют революции...

На следующий день к вечеру мы прибыли на станцию Манчжурия. Предстояла пересадка, а поезд наш запоздал. Пришлось ночевать на станции.

Здесь была уже территория стачечного комитета. Все выглядело так ново, необычно и невиданно, как будто перед глазами развернулся какой-то буйно-фантастический сон. Рядом с пожелтевшим, загаженным мухами объявлением военного губернатора Забайкалья ярко белело новенькое объявление от «Комитета служащих и рабочих Забайкальской железной дороги». В объявлении сообщалось, что посадка в вагоны возвращающихся с Дальнего Востока воинских чинов будет производиться в строгом порядке записи; записываться там-то; никакого различия между генералами, офицерами и нижними чинами делаться не будет; в вагоны первого класса вне записи будут сажаться сестры милосердия и больные; остальные места первого класса, второго и так далее до теплушек заполняются по порядку записи. В конце заявлялось, что кто не будет подчиняться распоряжениям стачечного комитета, того не повезут совсем.

Мы пошли записываться. В конце платформы, рядом с пустынным бездеятельным теперь управлением военного коменданта, было небольшое здание, где дежурные агенты производили запись. На стене, среди железнодорожных расписаний и тарифов, на видном месте висела телеграмма из Иркутска; в ней сообщалось, что «войска иркутского гарнизона перешли на сторону народа». Рядом висела социал-демократическая прокламация. Мы записались на завтра у дежурного агента, вежливо и толково дававшего объяснения на все наши вопросы.

В залах вокзала везде было оживление, лица смотрели светло и празднично. Железнодорожный машинист, окруженный кучкой солдат, читал им требования, предъявленные главнокомандующему читинским гарнизоном. Солдаты жадно слушали, задерживая дыхание. Проходившие офицеры молча косились на них.

Официанты сообщили нам, что завтра у них официантский митинг; они собираются «экспроприировать» буфет и вести его впредь на артельных началах, без хозяина...

Вошел радостно взволнованный рабочий, с черными от железа руками, и крикнул на всю залу:

— Товарищи! Делегаты вести привезли: в России в шестнадцати губерниях войска перешли на сторону народа!

Передавались и другие вести: в Севастополе все броненосцы захвачены восставшими матросами, адмирал Чухнин с офицерами атакуют их на миноносцах, крепостные форты разрушены артиллерийским огнем, убито десять тысяч человек...

Был кругом обыкновенный российский большой вокзал. Толкались обычные носильщики, кондукторы, ремонтные рабочие, телеграфисты. Но не видно было обычных туподеловых, усталых

лиц. Повсюду звучал радостный, оживленный говор, читались газеты и воззвания, все лица были обвеяны вольным воздухом свободы и борьбы. И были перед нами не одиночные люди, не кучки «совращенных с пути», встречающих кругом темную вражду. Сама стихия шевелилась и вздымалась, полная великой творческой силы.

Что это: юности лучшие сны?
Вижу — и верить глазам не решаюсь...

Там, в Манчжурии, я про это читал, но все было далеким, трудно вообразимым. Здесь впервые широко развернулось перед глазами то, о чем я читал, вдруг стало видно глубоко вдаль, и сделалось ясно, что за два года нашего отсутствия в России действительно родилась светлая свобода. Ее могли теперь бить, душить, истязать. Но, раз рожденная, она была бессмертна. Убить и положить ее в гроб было уже невозможно...

2. ДОМОЙ

Утром подали поезд. Пришли два железнодорожника со списком. Произошла посадка. Агент выкликал по списку фамилию, вызванный входил в вагон и занимал предназначенное место. Кто был недоволен вагоном или своим местом, мог остаться ждать следующего поезда, — по этой же записи он имел право попасть туда одним из первых.

Толстый, краснолицый капитан, отдуваясь, раскладывал вокруг себя свои вещи и говорил:

— Нет, ей-богу, молодцы забастовщики!.. Ни толкотни, ни спешки, ни ругани. У каждого свое место... А то, как из Харбина выезжали: первое, — чуть руку себе не сломал, второе, — спал в коридоре, как собака...

Приехали мы в Читу. Здесь революция царствовала. Читинский губернатор Холщевников был под арестом, городом управлял революционный комитет.

На вокзале нам рассказали про курьезный случай, происшедший здесь несколько дней назад. Ехал в Россию командир одного корпуса с тремя генералами из своего штаба. Один из генералов обругал на вокзале помощника начальника станции, грозил побить его, кричал, что он продался японцам и жидам. Генералы поужинали на вокзале, воротились в свой вагон, пьют чай. Показалось им странно, — что это поезд стоит так долго? Выглянули — их вагон отцеплен, стоит один; вокруг часовые с винтовками. В вагон входят три офицера без погон и двое статских.

— Один из вас оскорбил сейчас помощника начальника станции, — объявил генералам статский. — Потрудитесь перед ним извиниться. Если извинитесь, то вы просидите в вашем вагоне сутки под арестом и поедете дальше. Если не извинитесь, — совсем не поедете.

Мялись, мялись генералы. Нечего делать, пошли, извинились. Отсидели свои сутки и поехали дальше.

До Читы мы ехали довольно скоро и ровно. От Читы помчались дальше быстрее любого экспресса. Дело вскоре объяснилось: к нашему поезду прицепили вагон, в котором ехали на съезд в Иркутск железнодорожные делегаты.

— Ну, слава богу, теперь можно быть спокойным: с начальством едем! — острили офицеры и с иронической почтительностью поглядывали на вагон, в который не допускался никто посторонний.

На станциях мы встречали вооруженных милиционеров. На одном разъезде нас обогнал поезд с боевой дружиной, мчавшийся на соседнюю станцию, где черносотенцы напали на рабочих.

Проехали мы Кругобайкальскую дорогу. На Мамаевом разъезде, когда наш поезд обогнал воинский эшелон, из солдатской теплушки с силой полетел в наш вагон большой камень; оба оконных стекла разлетелись вдребезги, одному офицеру ушибло колено. Всю ночь мы мерзли.

В Иркутске нам предстояла новая пересадка. Садиться в вагоны так, как в Манчжурии, было куда приятнее, чем так, как в Харбине. Мы обошли вагоны и предложили пассажирам заблаговременно составить список всех едущих, чтобы в Иркутске не бегать записываться каждому отдельно, а прямо представить список тому «начальству», какое окажется в Иркутске, — стачечному комитету или коменданту. Все с удовольствием согласились. Порядок записи был определен жеребьевкой, мы составили список и выбрали для представления списка депутацию из одного штаб-офицера, одного военного врача и одного прапорщика запаса...

Мы приехали в Иркутск поздно ночью. На вокзале все было тихо и спокойно.

Посадкою в вагоны здесь заведывало военное начальство. Наша депутация со списком отправилась к коменданту. Он жил тут же у платформы, в вагоне второго класса. Депутацию принял маленький, худенький офицер с серебряными штабс-капитанскими погонами, с маленькой головкой и взлохмаченными усиками. Депутация вручила ему список. С безмерным, величественным негодованием офицер отодвинул от себя список концами пальцев.

— Виноват! Тут функционирует не стачечный комитет! Никаких списков я принять не могу, каждый должен записываться у меня лично... И затем, — что это за список? Волков, Айзенберг, Филиппов... Кто такой Волков? Что это за Айзенберг?.. Должны писаться чин и звание... Предпочтение при посадке будет отдаваться штаб-офицерам...

— Когда же мы поедем?

— А это, как выйдет по записи. Уж на два дня вперед запись заполнена.

Все толпой хлынули в вагон записываться. В узком коридорчике шла давка; выход был один; тот, кто записался, протискивался

к выходу, с трудом продираясь сквозь напиравшие навстречу тела. Дело происходило 18-го декабря. Первых человек пять комендант записал на 20-е, человек по десяти на 21-е и 22-е. На 23-е никого не записал. Я с товарищами попал на 24-е, — почти через неделю!

— Позвольте, что же это за запись такая? По пять, по десять человек на день!..

Комендант, не удостаивая нас ответом, говорил, пуская слова через нос:

— Будьте добры быть на вокзале к тому времени, когда подадут поезд. Я буду вызывать записавшихся по списку и сажать в вагоны... Впрочем, господа, вы, может быть, попадете и раньше записи: многие из записавшихся уехали другими способами. Советую вам приходить к каждому поезду, может быть, попадете... Тем более, что трудно поручиться, удастся ли уж кому-нибудь вообще-то уехать отсюда дня через три-четыре. Сегодня вечером мы отбили от вокзала нападение черкесов. Говорят, их теперь собирается тысяч десять. Если сожгут вокзал и перервут сообщение, то запасные с эшелонов все кругом разнесут, нас перебьют, и что вообще будет, трудно сказать...

Мы вышли от коменданта злые и раздраженные. Куда направиться? Поселок у вокзала сожжен, в город попасть нельзя, потому что по Ангаре идет шуга и перевоза нет; да и опасно ехать ночью из-за черкесов.

В дороге мы хорошо сошлись с одним капитаном, Николаем Николаевичем Т., и двумя прапорщиками запаса. Шанцер, Гречихин, я и они трое — мы решили не ждать и ехать дальше хоть в теплушках. Нам сказали, что солдатские вагоны поезда, с которым мы сюда приехали, идут дальше, до Челябинска. В лабиринте запасных путей мы отыскали в темноте наш поезд. Забрались в теплушку, где было всего пять солдат, познакомились с ними и устроились на нарах. Была уже поздняя ночь, мы сейчас же залегли спать.

Поезд двинулся и пошел. Наш вагон прыгал, трясся, словно в припадке жестокого озноба, мы подлетали на своих ложах, как только-что обезглавленные цыплята. Наконец заснули.

Утром проснулись бодрые, выспавшиеся. Поезд стоит.

— Однако, что значит привычка! — удивленно заметил Шанцер. — Сначала, как мы только-что поехали, я думал, ни за что не засну. А выспался великолепно, даже не слышал тряски.

— Я тоже, — отозвался капитан Т.

Вдруг дверь теплушки с шумом отодвинулась, кто-то крикнул:

— Есть тут кто? Вылезай! Дальше вагоны не пойдут!

— А где мы?

— На станции Иннокентьевской.

На Иннокентьевской... Это всего за семь верст от Иркутска!.. То-то мы так хорошо проспали ночь: поезд все время стоял на месте.

— Забастовка идет! Гляди, ребята!
– Вон они, красные флаги!
– Игде? Это фуражка начальника станции!
— У-у, дура! Фуражка!.. Вон трепыхается!..

Среди солдат была суетня и оживление. Мы вышли на площадку. Все теснились и смотрели вправо. Через полотно дороги чернела и медленно двигалась большая толпа.

«Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...»

Порожний паровоз, свистя промчался мимо и на миг закрыл все.

Толпа окружила поезд, только-что пришедший с запада. На площадке вагона стоял смертельно-бледный, растерянный жандармский офицер и что-то говорил толпе.

— Врешь, подлец! — кричали ему.
— Убийца! Каин!
— Кровопийца!.. Насосался христианской крови?

Наш поезд двинулся, угрожающе свистя на кипевшую, взмахивавшую руками толпу.

Проводник вагона на ходу вскочил на ступеньку. Мы набросились на него с расспросами, — что это было, в чем дело?

— Это ратмистр приехал с пассажирским поездом из Нижне-Удинска. Там по его приказу была стрельба. Двадцать рабочих пострелял. Вот мы и хотели посмотреть, что это за человек который в людей стреляет. И у нас есть ратмистр, и в Чите, а нигде в народ не стреляли.

— Что же они бить его пришли?
— Не бить, а сделать ему позор.

Были у проводника такие хорошие, ясные глаза. Они с недоумением широко раскрывались при рассказе о стрельбе по безоружным людям. Что это? Откуда у всех, с кем мы теперь встречались, эти светлые, чем-то изнутри осиянные лица, как будто совсем люди были из другой породы, чем два года назад?

На станциях все были новые, необычные картины. Везде был праздник очнувшегося раба, почувствовавшего себя полноценным человеком. На станции Зима мы сошли пообедать. В зале I—II класса сидели за столом ремонтные рабочие с грубыми, мозолистыми руками. Они обедали, пили водку. Все стулья были заняты. Рабочие украдкой следили смеющими глазами, как мы оглядывали залу, ища свободных стульев.

Я и рыхлый капитан спросили себе в буфете рябчиков. Сесть было негде, мы стояли у стола и ели. Вдруг я услышал, — кто-то нам что-то говорит. За столом, наискось от нас, стоял старик с крючковатым носом, с седой, курчавой бородой. Он смотрел на нас и, простирая руку, говорил:

— Господа! Объясните мне, пожалуйста, почему рябчики летают у нас только для господ офицеров и буржуазии?.. Почему

мы, трудовые люди, не можем есть рябчиков? Я работал сорок лет, трудился потом и кровью, а вот, посмотрите, — кроме мозолей на руках ничего не нажил. Разве вы трудились в жизни больше, нежели я? А вот едите рябчиков, а я не имею возможности... Почему это так случилось, господа офицеры? Может быть вы мне объясните!..

Другие рабочие выжидающе поглядывали на нас и чуть заметно посмеивались. Мы молчали, стыдливо опустив глаза, и доедали своих рябчиков.

Старик подошел к стоявшему у окна прапорщику:

— Скажите, пожалуйста, почему вот вы, например, стали офицером? У ваших родителей были средства, и они вам дали образование...

Молодой прапорщик слушал, сконфуженно улыбаясь, и старался выразить на лице, что ему весело и интересно наблюдать старика.

— А если бы у меня родители были богатые, я бы, может, был бы теперь генералом, — продолжал старик. — Может, был бы много умнее вас. Вы бы передо мной во фронт стояли... Почему так, позвольте узнать?.. Сколько с меня полагается драть шкур?

— Одну, — уверенно ответил прапорщик, чуть-чуть улыбаясь.

— Одну? — Старик подумал. — Верно, одну!.. А почему с меня одну шкуру дерет казна, другую инженеры, третью купец? Можно все это терпеть или нет?

Старик весь до краев был полон тем неожиданно-новым и светлым, что раскрылось перед ним в последние месяцы. Как будто живой водой вспрыснуло его ссохшуюся, старческую душу, она горела молодым, восторженным пламенем, и этот пламень неудержно рвался наружу.

— Не желаете ли сесть с нами?

Старик острыми глазами смотрел на прапорщика и указывал ему на столик у окна.

— Отчего же? С удовольствием.

За столиком сидели трое рабочих и унтер-офицер из нашего эшелона.

— Садитесь, пожалуйста! — вежливо пригласил старик и испытующе ждал, сядет ли офицер за один стол с солдатом.

Прапорщик сел.

— Вот! Это так! Хорошо! — детски-радостно воскликнул старик. — Вас можно уважать! Он вот — солдат, вы — офицер. На службе он вам обязан дисциплиной, а тут мы оба люди, больше ничего. И никакого от этого вреда нету! Вон у японцев солдаты вместе с офицерами сидят, вместе курят, — а как они вас лупили!..

Мы возвращались в вагон с рыхлым капитаном. Он негодовал и возмущался.

На платформе стояла древняя, трясущаяся старуха. Падал снег.

Старуха опиралась на палку, укоризненно смотрела на нас и шамкала:

— С чем назад-то едете?.. Стыда нету!.. А как мы вас провожа-али!..

*

Что делается в России, никто не знал. Газеты содержали только местные сведения. Встречные пассажиры, ехавшие из России, рассказывали, что вся Москва покрыта баррикадами, что на улицах идет непрерывная артиллерийская стрельба.

Верст за десять до Красноярска мы увидели на станции несколько воинских поездов необычного вида. Пьяных не было, везде расхаживали часовые с винтовками; на вагонах-платформах высовывали свои тонкие дула снаряженные пулеметы и как-будто молчаливо выжидали. На станции сбирался шедший из Манчжурии Красноярский полк; поджидали остальных эшелонов, чтобы тогда всем полком пешим порядком двинуться на мятежный Красноярск.

Приехали мы в Красноярск. Местный гарнизон вместе с народом демонстрировал на улицах с красными флагами; по городу в сопровождении двух казаков разъезжал новый революционный губернатор, прапорщик Кузьмин; шли выборы в городскую думу на основе четырехчленной формулы. На вокзале, разграбленном запасными матросами, продавались номера социал-демократической газеты «Красноярский рабочий», печатанные в губернской типографии. Еще держалось светлое опьянение свободы, но черные, тяжелые тучи уже заволакивали горизонт. Все знали о стягивающихся под городом правительственных войсках.

Здесь же мы впервые подробно узнали о подавленном московском восстании, о разрушенных снарядами кварталах и о сковавшем Москву военном положении.

*

Бастовавший телеграф опять начал действовать. Со станции Обь мы послали домой телеграммы с извещением, что едем.

Поезд наш был громадный, в тридцать восемь вагонов. Он шел теперь почти пустой, в каждой теплушке ехало пять-шесть солдат. Следовало бы отцепить вагонов пятнадцать, облегчить поезд, но никто из солдат не соглашался уходить из своей теплушки. Уговаривали, убеждали, — напрасно. И почти пустые вагоны продолжали бежать тысячи верст. А там, позади они были нужны для тех же товарищей-солдат.

От Каинска мы всю ночь бешено мчались почти без остановок. К утру были уже в Омске. Наш капитан гордо потирал руки.

— Меня, господа, благодарите! Это я такого хорошего машиниста достал. Смотрите, как гонит.

Утром мы узнали, что капитан здесь совсем ни при чем. Вчера вечером на паровоз взобрались три сильно пьяных солдата и за-

явили машинисту, чтобы он гнал во-всю, иначе они его сбросят с паровоза. Проехав три пролета, солдаты озябли и ушли к себе в теплушку. Но, уходя, сказали машинисту, что если он будет ехать медленнее, чем сейчас, то они опять явятся и проломят ему поленом голову.

И во всех эшелонах делалось так же. Один машинист, под угрозой смерти от пьяных солдат, был принужден выехать со станции без жезла, на верное столкновение со встречным поездом, должен был гнать поезд во всю мочь. И столкновение произошло. Ряд теплушек разбился вдребезги, десятки солдат были перебиты и перекалечены.

Вообще то и дело происходили крушения от самых разнообразных причин.

*

В самом конце декабря мы, наконец, приехали в Челябинск. Тут только в первый раз почувствовалось, что желанная, далекая Россия, до которой, казалось, никогда не доберешься, — уж близко, сейчас здесь, за Уральским хребтом.

Дальше мы ехали с почтовым поездом. Но двигался поезд не быстрее товарного, совсем не по расписанию. Впереди нас шел воинский эшелон, и солдаты зорко следили за тем, чтоб мы не опередили их. На каждой станции поднимался шум, споры. Станционное начальство доказывало солдатам, что почтовый поезд нисколько их не задержит. Солдаты ничего не хотели слушать.

— Пускай все ровно идут. Чтоб по справедливости!

Они клали шпалы перед нашим поездом, отцепляли паровозы, взбирались к машинисту и грозили бросить его в топку, если он двинет поезд. Офицеры эшелона посмеивались и тайно поощряли своих солдат. Препирательства тянулись полчаса, час. В конце концов их поезд, при победном «ура» солдат, двинулся вперед первым. На следующей остановке повторялось то же самое.

От военного начальника дороги пришла грозная телеграмма с требованием, чтоб почтовый поезд шел точно по расписанию. Но телеграмма, конечно, ничего не изменила. До самой Самары мы ехали следом за воинским эшелоном, и только у Самары эшелон обманным образом отвезли на боковую ветку, арестовали офицеров эшелона и очистили путь почтовому поезду.

Мы переехали Волгу и ехали уже по самой настоящей подлинной России.

На одной станции сходил с поезда денщик капитана Т. Капитан Т. вышел на платформу и, прощаясь, горячо расцеловался с денщиком. Толпившимся на платформе солдатам это очень понравилось.

— Ваше благородие! Позвольте, мы вас на руках донесем до вашего вагона!

— Лучше под колеса его! — послышалось из толпы.

*

Забастовка прекратилась. Повсюду уже ходили поезда. Железнодорожники и телеграфисты были сумрачны, понуры и задумчивы.

Пир свободы кончился. Начиналось похмелье. Со всех сторон вздувались кроваво-черные, мстительные волны.



ПРИНЦЕССА

Н. ОЛИГЕР

Писатель Н. Олигер был участником первой революции, тяжело переживал ее разгром и в годы реакции всецело ушел в литературную работу, пытаясь в своих романах и повестях («На аванпостах», «Холод», «Принцесса» и др.) правдиво отразить пережитые события. На произведениях Олигера, однако, лежит печать безысходности, обреченности, что характеризует упадочные настроения некоторой части интеллигенции того времени. Печатаемый отрывок из романа показывает приключения героини, дочери генерала, разыскивающей своего жениха, раненного на баррикадах в разгаре декабрьской железнодорожной забастовки.

VII

В городе, куда приехали рано утром, все было мирно и спокойно. Заспанные сидельцы открывали пекарни и мелочные лавочки. На улицах пахло дымком и влажной от росы пылью. Попадались навстречу повозке конные патрули, и гуще, чем обычно, стояли на постах городовые с заряженными винтовками, но вид у них был скучающий и даже слегка унылый.

На вокзал не пустили, и какой-то служащий в форменной фуражке объяснил, что по этой линии ходят пока еще только воинские поезда. Принцесса беспомощно посмотрела на доктора. Тот развел руками.

— Ведь я говорил вам, что это будет не так просто.

Принцесса упрямо тряхнула головой.

— Отправимся в гостиницу и подождем, пока приедет комендант. Вы слишком торопитесь складывать оружие, доктор.

Гостиница находилась тут же рядом, грязненькая и похожая на сомнительный притон. Швейцар с недоумением посмотрел на приехавших и предложил занять любой из номеров. Все были пусты. Хозяйственный доктор выбрал тот, который показался ему почище других, заказал самовар.

В окне два стекла выбиты напрочь и кое-как заклеены синей бумагой, а на третьем — круглая дырочка с звездообразными трещинками.

— Что это такое? — удивилась Принцесса.

— Стреляли! – объяснил швейцар, который был, кажется, и за горничную и за коридорного. — Сколько тогда добра-то перепортили... Хозяину нанесли большой убыток, оставляя без внимания, что и проезжающих совсем не стало... Сливок не прикажете ли. Коровки-то свои у нас... И бубликов горячих?

Доктор велел принести и сливок и бубликов, но Принцесса ни к чему не притронулась и долго смотрела широко открытыми глазами на пробитое пулей стекло. Значит, уже и здесь, так близко от тихого уголка, тоже стреляли и убивали. Но страха не было, а было только удивление. Как будто до этой минуты не совсем верилось, что все, о чем рассказывали и писали, — правда.

Когда напились чаю и немного отдохнули, доктор посмотрел на часы и спросил Принцессу, может ли она подождать здесь часа полтора, пока он сходит по делу.

— Видите ли, комендант — это, конечно, важно, но недурно бы заручиться и с другой стороны. У меня тут есть кое-какая заручка... Не побоитесь остаться?

Принцесса пожала плечами. Ее слегка раздражало, что доктор, такой серый и скучный, смотрит на все слишком обыденно и в то же время лучше ее самой приспособлен к жизни.

Ожидание тянулось медленно и нудно. По улице, перед простреленным окном, проезжали какие-то зеленые повозки, нагруженные аккуратненькими деревянными ящиками. За подводами ехали кавалеристы на грязных, взъерошенных лошадях. У широкого подъезда вокзала расположился казачий пост, и тут же дымила походная кухня. Кучка солдат в грязных гимнастерках и без оружия, столпившись в кружок, играла в орлянку. Не было ни суматохи, ни бестолковой растерянности, и как будто весь этот бивуачный обиход был уже давным давно налажен, и его участники успели забыть о всякой другой жизни.

Принцесса смотрела на толстого казака в сальном переднике, возившегося у походной кухни, и хотела верить, что все доходившие в тихий уголок вести и слухи были сгущены и преувеличены. Все люди — как люди, и даже, повидимому, совсем не злые. Но взглянула случайно на круглую, с трещинками дырку — и невольно сдвинула брови.

Старалась быть совсем спокойной, но вздрагивала невольно при каждом шорохе и отдаленном крике. Как всегда, выжидающее бездействие расстраивало больше, чем действительная опасность. Тревожная тоска все сгущалась, и слезы уже стояли клубком в горле, когда, наконец, вернулся Швейцер.

Доктор шел чинно и неторопливо по самой середине улицы, и вид у него был такой независимый и солидный, как будто он — самое важное лицо в городе. Однако же этот независимый вид и напоминал Принцессе, что, пока она сидела спокойно и ждала, доктор подвергал себя некоторому риску. И встретила его, радостно протянув ему обе руки, когда он вошел в комнату.

— Слава богу... Я так беспокоилась. Благополучно?

— Как будто. Обещали доставить на вокзал пропуск от комитета. Я хотел было взять с собой, но отсоветовали, говорят, что обыскивают прохожих... Идемте к коменданту?

—Мне кажется, пора уже... Но, может быть, лучше, чтобы я пошла одна?

Хотелось сделать что-нибудь самостоятельно, но Швейцер даже обиделся.

— Вы думаете, я только с комитетчиками могу разговаривать? Вот подождите-ка...

Вытащил из жилетного кармана розетку из орденской ленты и торжественно прицепил ее к петлице.

— Станислав с мечами, сударыня, за участие в авангардных боях. Это создает колорит.

Комендант, пожилой, захолустного вида офицер, был уже на вокзале и, получив визитную карточку Принцессы, принял просителей очень любезно.

— Знаю, знаю... Имел даже честь некогда служить под непосредственным начальством вашего батюшки. Чем могу быть полезен?

Принцесса рассказала ложь, придуманную дорогой совместно с доктором: генерал опасно заболел и нужно во что бы то ни стало пробраться в его усадьбу. И если бы господин комендант разрешил... Голос дрожал от невольного волнения и делал такой правдоподобной всю историю. А бархатные глаза с подкупающей мольбой смотрели на коменданта.

Доктор представился, оправляя Станислава с мечами:

— Домашний врач его превосходительства. И в некотором роде опекун его дочери. На время пути, по крайней мере.

Комендант, крепко почесывая плохо выбритый подбородок, поговорил относительно строгих требований закона и неудобств революционного времени, но в конце концов, выдал разрешение занять места в первом же отходящем воинском поезде.

— Только уже, простите, без всяких удобств. В простом товарном придется.

И, кажется, был искренно огорчен тем, что не может отправить просительницу в отдельном купе первого класса.

— Вот видите! — говорила потом Принцесса доктору, когда они оба, в ожидании поезда, ходили взад и вперед по сорной, загаженной платформе. — Теперь вы верите, что я добьюсь своего и найду?

— Верю, конечно, верю! — ласково соглашался Швейцер.

Состав поезда был приготовлен где-то на четвертом или пятом пути, за высокими бунтами подмоченной муки, от которой остро и противно пахло кислой затхлостью. В вагоны грузили артиллерийских лошадей, втаскивали орудия и те самые аккуратненькие ящички, которые видела Принцесса из окна гостиницы. Доктор объяснил, что в ящичках снаряды.

Среди всей этой сутолоки к доктору подошел человек в же-

лезнодорожной фуражке и молча передал ему мелко свернутый, чтобы уместился в кулаке, клочок бумаги.

Доктор зашел за мучные мешки, осторожно развернул клочок. Это был обещанный пропуск от стачечного комитета.

Принцесса тревожилась. Все казалось ей, что комендант в самую последнюю минуту передумает и отменит разрешение. И хотя старый офицер, по горло заваленный делом, кажется, даже забыл уже об их существовании, все-таки упросила доктора, чтобы он помог ей заранее поместиться в вагоне.

Доктор принес багаж — два ручных чемодана — и после долгих хлопот устроился вместе с Принцессой сравнительно просторно и удобно. В том же вагоне ехали еще трое: офицерская лошадь, сопровождавший ее денщик и отставший от своей части пехотинец.

Все это — и степенный денщик, и умная голова лошади с большими грустными глазами, и пьяненький пехотинец — было ново и интересно для Принцессы и внушало ей не страх, а напряженное любопытство. И когда, наконец, поезд тронулся, она вздохнула с облегчением, совсем не огорченная тем, что в этом обществе ей, может быть, придется провести больше суток.

Денщик поделился соломой, которую доктор покрыл своей старой шинелью. Получилась хорошая постель для Принцессы. С денщиком, вообще, скоро подружились, потому что он оказался, несмотря на степенность, человеком общительным и любезным. А пехотинец свернулся комочком прямо на полу вагона и, едва успели отъехать от станции, — крепко уснул.

Лошадь, пофыркивая, жевала овес и, когда свистел паровоз, чутко прядала ушами. Денщик объяснил: конь хороший, заводский и стоит семь с половиной тысяч. Потому и отвели для него отдельный вагон.

Принцесса поинтересовалась, куда идет эшелон, но денщик только махнул рукой и с безнадежным видом надвинул фуражку на самые брови.

— Разве теперь разберешь что? Одно определение: беспорядки. Наш дивизион и на войне не был, а какая польза? Хуже войны.

Поезд полз медленно, останавливался на каждом полустанке. И везде, вместо привычных красных фуражек, замасленных стрелочников и расторопных оберов, виднелись чубатые казаки и пехотинцы в заношенных шинелях. Было холодно, Принцесса куталась в пуховую шаль и не могла согреться. На каком-то полустанке в отодвинутую дверь вагона просунулась широкая красная рожа и, всмотревшись, плотоядно оскалила зубы.

— Ого-го! Де-вочки!

— Не суйся, куда не просят! — посоветовал денщик и неторопливо двинул рожу кулаком по губам. Потом сказал Принцессе, извиняясь: — Народ такой, что не понимает порядочного обращения. Истинные галманы.

Красная рожа, все-таки, напомнила Принцессе, что она — слабая женщина, заброшенная среди толпы молодых, сильных и нередко пьяных мужчин. И ее защита — тщедушный доктор — показалась ей недостаточно надежной.

Когда поезд останавливался, Принцесса пряталась в самом темном углу вагона и сидела там, затаив дыхание. Доктор заботился о ней усердно, но не навязчиво, где-то добывал хлеб, кипяток, молоко и принес даже черную и жесткую, как железо, жареную курицу.

На большой станции в вагон забрался огромный, как монумент, жандарм, и заполнил своей раскормленной тушей все свободное пространство. Приступил к Швейцеру со строгим допросом: кто такие, куда и зачем, Принцесса попробовала было опять опереться на отца-генерала, но для жандарма его фамилия оказалась пустым звуком.

— Это безразлично-с. Пожалуйте письменный документ.

Уже вечерело и доктор в потемках чуть было не отдал жандарму вместо комендантского разрешения комитетский пропуск. Только в самый последний момент успел поправить ошибку и мысленно выругался.

Жандарм долго рассматривал бумагу, подозрительно хмурясь, потом потребовал паспорта. У Принцессы замирало сердце. Она боялась говорить, чтобы не выдать себя звуком прерывающегося голоса. Но доктор был великолепен: насвистывал вальс и, покуривая папиросу, очень независимо пускал дым прямо в физиономию жандарму. Должно быть, это подействовало: жандарм возратил документы и после некоторого колебания ушел.

— Все насчет бунтовщиков беспокоются! — усмехнулся денщик, — дармоеды они и больше ничего, по моему крайнему рассуждению. Жалование получают, а как усмирять — управиться не могут. Нашего же брата и шлют.

Принцесса утомилась, прилегла на своей соломенной постели. Дремала тревожно, часто просыпалась и каждый раз видела неподалеку слабо освещенную свечным огарком сгорбленную фигурку Швейцера, который сидел и курил без передышки. Сквозь сон чувствовала, как вагон жестко встряхивался на крестовинах, слышала бестолковый гомон и суету во время остановок. А раз почудились какие-то странные глухие удары, похожие на отдаленные выстрелы.

VIII

Бесконечно длинная платформа, крыши вагонов, даже кирпичные стены вокзала и фонарные столбы — все покрылось ровным, пушистым слоем инея. В утреннем свете он казался сиреневым и густо сверкали в нем, отражая зарю, алые искорки.

— Красиво, но холодно! — сказал доктор, выбираясь из вагона. Глаза у него припухли от бессонной ночи и лицо было помято, словно с похмелья. Ныла тупой болью спина и покалывало под

лопаткой. — И как это я забыл надеть толстую фуфайку? Не хватало еще, чтобы осложнился процесс.

Платформа выстроена как-то несуразно, растянулась почти на версту, и у того ее конца, где остановился поезд, было совсем безлюдно. Только расхаживал взад и вперед, крепко пристукивая каблуками, офицер в шарфе и с револьвером и строгими окриками загонял обратно в вагоны пытавшихся выбраться на платформу артиллеристов. Заметив доктора, крикнул ему скрипучим голосом утомленного и издерганного человека:

— А вы зачем здесь? Кто таков? Уходите!

Швейцер галантно представился, извлек было из кармана комендантское разрешение, но офицер упорно стоял на своем.

— Это меня не касается... Обратитесь в комендантское. И поезд, все равно, не пойдет дальше. Уходите же, пожалуйста. Что вы, в самом деле, подводите человека под неприятность. И без вас тошно. — И, круто повернувшись, свирепо заорал на юркнувшего под вагон солдата. — Куда? Куда лезешь? По нужде? Я тебе покажу нужду! Назад!

Доктор разбудил Принцессу и объяснил ей положение дел. Нужно итти на вокзал и там изыскивать способ для дальнейшего передвижения. Принцесса не возражала и, еще смутно отдавая себе отчет в том, что происходит, послушно последовала за спутником. Денщик простился приветливо:

— Желаю здравствовать и благополучного пути, барышня!

На платформе опять остановил офицер.

— Чорт знает что... Вы с женщиной? Зачем с женщиной? Это глупость. Женщину могли дома оставить. Куда идете? На вокзал? Что вы там будете делать на вокзале? А впрочем не мое дело. Ступайте.

Принцесса ежилась от холода и с недоумением смотрела на пушистую пелену инея.

— Уже зима доктор... Так скоро! А там, где Сергей, наверное, еще холоднее. Сколько суток мы еще проедем?

— Нельзя загадывать вперед, Принцесса. Вот еще увидим, что даст нам сегодняшний день.

Чем ближе подходили к вокзалу по длинной платформе, тем больше встречали беспорядков и разрушений. Принцесса с легким испугом посмотрела на обледеневший паровоз, установившийся, как баррикада, поперек главного пути. Изрезанные в щепки шпалы и погнутые рельсы загромождали дорогу. Доктор сосредоточенно хмурился, перешагивая через препятствия и перетаскивая свои чемоданчики.

— Ничего, Принцесса, не унывайте... Дальше, вероятно, будет еще хуже...

Из разбитых дверей и окон вокзала шел им навстречу какойто глухой, многоголосный гул, похожий на голодное рычание. Прислушиваясь, Принцесса остановилась и схватила за руку Швейцера.

— Что там такое? Вы слышите?

— Да. Но все равно нужно итти.

В огромном, высоком зале с исцарапанными стенами сизой волной ходит смешанный с табачным дымом туман испарений множества грязных человеческих тел. И в этом тумане шевелится что-то сбитое в плотную кучу, ревет, ругается, поет. У двери давка: одни рвутся на платформу, другие так же настойчиво хотят проникнуть внутрь зала. Доктора с Принцессой разом смяли, захватили в общий поток. Принцессе дурно от зловонного, спертого воздуха, от тесноты, от разноголосного шума. Ее грубо толкают, так что у нее едва хватает сил держаться за доктора. Когда скользкий затоптанный пол начинает уже уплывать из-под ее ног, Швейцеру удается пробраться в угол у разбитого книжного шкафа, где просторнее. Тут Принцесса в общей темной, лохматой массе начинает различать отдельных людей. Все они оборванные, грязные, бородатые, в лохматых папахах, в засаленных фуражках без козырьков, в рваных рыжих сапогах и в каких-то неуклюжих матерчатых башмаках на толстой белой подошве. На загорелых лицах сверкают воспаленные глаза.

Доктор догадывается.

— Это — запасные... из Манчжурии.

Здесь, на большой узловой станции, скопилось, повидимому, несколько эшелонов. Все голодны и буйны и озлоблены тем, что задержались здесь, когда всего лишь несколько часов пути отделяют от давно желанной родины. Принцесса смотрит с жгучим любопытством.

Так вот они — те, что умирали там, на чужой, негостеприимной земле, удобрили своими костями чужие поля. Длинные бороды, беспорядочные лохмотья вместо одежды делают их совсем не похожими на настоящих солдат, — обезличенных, выравненных, подведенных под один общий шаблон. Но кажется, что так и должно было быть после всего, что они пережили. Блестящая форма, парады, ярко начищенные пуговицы — все это фальшивая декорация, ложь. А здесь жизнь жестокая и грязная, как она есть.

В огромном, но все же таком тесном зале все мечутся, изнывают, топчут равнодушно тела тех, которые свалились от усталости и опьянения. И кажется, что эту пеструю толпу и в самом деле трудно разложить на отдельные единицы, потому что вся она живет сейчас одной, почти бессмысленной, безголовой, животной жизнью.

Принцесса шепчет:

— Какой ужас! Я не думала, что это так ужасно, доктор... Даже и то, что вы рассказывали...

Да, конечно, отдавали жизнь, замерзали, умирали с голоду, терпели невыразимые страдания. И родина должна встретить их, как своих несчастных детей. Но они так грязны и грубы и так жутко блестят у них глаза. Прошли беспорядочной ордой, бестол-

ково и бесцельно разрушая и уничтожая все, что попадалось на пути. И теперь остановились, как осенняя река перед запрудой, мутная, вспененная, бестолково сильная и в то же время детски беспомощная.

— Вблизи все меняет свой масштаб! — спокойно объясняет доктор, хотя на лбу у него сосредоточенные морщинки, а пальцы крепко, до боли, сжимают локоть Принцессы. — Вы знаете, какой вид имеют театральные декорации, если рассматривать их вплотную? Издали и это, если не красиво, то, во всяком случае, грандиозно, как всякое стихийное движение... Однако, будет лучше, если мы постараемся отсюда поскорее выбраться.

Кое-как выбрались из темного закоулка, опять попали в самую гущу толпы. Кто-то обнял Принцессу, кто-то больно и противно мял ей грудь, хватал за тело. Другие оттолкнули. Принцесса закрыла глаза и, чувствуя у своего локтя руку доктора, безвольно отдалась увлекавшей ее силе. Когда очнулась — шум был уже где-то позади, затих, слился опять в неразборчивый рев. Низенький закопченный коридор показался таким светлым и уютным.

— Вам очень плохо, милая? — спрашивал доктор.

— Нет, теперь ничего уже...

Оправляла помятое, кое-где изорванное платье. По коридору проходили солдаты и офицеры, некоторые останавливались, с любопытством рассматривая. Доктор открыл первую попавшуюся дверь с надписью «ламповая» и втолкнул туда свою спутницу.

IX

Какими-то совсем особенными, пришедшими из другой жизни и необыкновенно длинными казались Принцессе следующие два дня. Когда потом вспоминала, как-то не укладывались все события в одну цепь, а толпились сумбурно, и не всегда можно было, распутав этот узел, установить последовательный порядок.

Тесная комнатка, провонявшая керосином, заставленная фонарями и лампами. И в этой комнатке часы, а может быть, целые годы ожидания и одиночества. Доктор отыскал коменданта, болезненного и желтого старичка, но никак не мог с ним сговориться. Старичок только ругался и кричал, что его и без того уже загоняют в гроб. Из этого потока брани и жалоб Швейцеру кое-как удалось понять, что линия, которая ведет на север от узловой станции, находится еще почти целиком во власти забастовщиков. Тогда, оставив в покое коменданта, доктор попросил Принцессу никуда не выходить из ламповой, а сам, пошептавшись с железнодорожным сторожем, куда-то исчез.

Все казалось, вот ворвутся те лохматые, темные. И даже тревога за художника отступила на задний план перед тревогой за себя самое, за свое чистое тело, которое могут запятнать лохматые своими шелудивыми руками.

Конечно, они не виноваты. Может быть, даже сам Сергей, если

бы он перенес все то, что им пришлось перенести, сделался бы таким же. Но они страшны и грязны, и в их толпе, кажется, не осталось ничего человеческого. Ведь было уже, что они громили и даже убивали тех, кто хотел им помочь.

Доктор вернулся озабоченный, но как будто довольный результатом своих похождений. Принцесса, голодная и измученная, не расспрашивала, да и некогда было говорить лишнее, Швейцер спешил.

С сожалением посмотрел на два чемоданчика, свой и Принцессы.

— Придется все это оставить здесь, иначе не проберемся.

Уловив покорный, но огорченный взгляд Принцессы, отобрал все самое для нее необходимое, что можно было разложить по карманам: мыло, зубную щеточку, полотенца.

— Потом можно будет купить, если что понадобится. А теперь идите.

И вот мелькают смутно сквозь серый туман усталости залы и коридоры вокзала, потом грязная, странно безлюдная улица. Доктор почему-то жмется у стен и заборов, крепко придерживая под руку Принцессу.

Обдавая грязью, проскакал казачий патруль. Один из всадников обернулся, посмотрел пристально.

— Идите спокойно, — шепчет Швейцер. — Не бойтесь.

Она не боится, она просто устала. Ведь она, все-таки только женщина, слабая женщина. Но чтобы добиться цели, нужно побороть усталость.

Сворачивают из переулка в переулок. Швейцер, кажется, не совсем хорошо запомнил дорогу. Кое-где на перекрестках он останавливается и что-то соображает. В такие минуты он кажется совсем беспомощным, и Принцесса перестает в него верить.

Придерживаются все окраины города, проходят мимо каких-то мрачных трущоб, и Принцесса думает, что в обычное время она ни за что не согласилась бы быть здесь. Но теперь все по-другому и она сама — другая.

— Еще немного, голубушка. Сейчас отдохнете. Хотя я боюсь, что нам придется еще много ходить сегодня...

*

Нет, она не отдохнула в этой маленькой чистенькой комнатке с кисейными занавесками и с олеографиями по стенам. В комнатке было немного народу — всего человек пять или шесть, и все они совсем не были похожи на тех, кого только-что оставили на вокзале. И все-таки она не отдохнула.

Долго обсуждали и спорили. Наконец, решено было так: доктор с Принцессой и с одним из этих пятерых доберутся до полустанка по ту сторону поврежденного моста. Там к вечеру должны приготовить паровоз: повезут остаток комитетской кассы и

документы, потому что не сегодня-завтра и Кустанай тоже будет занят войсками.

— Стало быть, положение безнадежное? — спросила Принцесса.

— Нет, зачем же? — сумрачно отозвался один из пятерых. — Пока еще это только временное отступление. Силы слишком не равны, чтобы принять бой.

Потом Принцессу предупредили: если ее схватят на дороге, то нет смысла сдаваться живыми.

— Обдумайте хорошенько, прежде чем решать.

Но Принцесса чувствовала себя в таком же тупике, как и давно перед толпой запасных. Если бы только она была уверена, что Сергей жив...

Пятеро ничего не могли сказать ей об этом. Но особенно не обнадеживали.

— Мы уже потеряли счет. Вот, еще только сегодня утром на соседней станции расстреляно четверо. А завтра, может быть, доберутся и до нас.

Она все-таки колебалась, но тут вмешался доктор:

— Подумайте, еще не поздно вернуться. Не приносите напрасных жертв.

Принцесса скользнула взглядом по его бледному лицу.

— Если вы боитесь, я поеду одна. И даже лучше, если вы останетесь здесь.

Чувствовала сама, что это грубо и несправедливо, но не могла сказать иначе. Как будто эти слова подсказал кто-то другой.

Странно было, когда в этой атмосфере беспорядка, тревоги и смерти все принялись пить чай с колбасой и мягкой домашней булкой. Хозяин квартиры, уже немолодой, седоватый, с уродливыми пальцами старого слесаря, угощал радушно и сам пил с блюдечка, звучно втягивая в себя горячую жидкость. Принцесса смотрела на него удивленно и понимала все глубже и глубже, что жизнь сложнее и непонятнее, чем казалась ей из тихого уголка.

А доктор, отдохнувший и наевшийся, чувствовал себя, как дома, и с большим интересом расспрашивал хозяина, сколько он платит за эту квартиру и почем здесь продается мука и говядина.

— Он так спокоен просто потому, что не может чувствовать тонко и сильно! — подумала Принцесса и опять вспомнила, как доктор рассказывал о войне.

...Вышли из чистенькой комнатки еще задолго до сумерек и сначала пробирались опять по самой окраине города, мимо огородов, где на разрытых грядах торчали капустные кочерыжки, мимо мусорных, заросших пожелтевшим бурьяном пустырей, мимо длинных сараев с проржавевшими красными крышами. Было холодно и ветрено. Редкие пушинки снега падали из растрепанных серых туч.

Миновали зловонный салотопенный завод с давно остывшими котлами и выбрались на проселочную дорогу, где было еще пустыннее и еще холоднее. Провожатый озирался по сторонам и

предупредил, когда впереди затемнела почти черная, извилистая лента реки:

— Здесь [illegible] патрули. Идите пригнувшись, чтобы не торчать [illegible].

Благополучно [illegible] реку [illegible], без перил, деревянному [illegible] [illegible] светлели [illegible] до [illegible] с тонким стеклянным [illegible]. За мостом дорога круто свернула налево, к полустанку.

Уже почти два часа они шли не останавливаясь. Ноги у Принцессы сделались тяжелые и горячие, и каждый шаг причинял боль. Казалось: если опуститься хоть ненадолго на холодную, припорошенную снегом землю, то уже не встанешь. Нехватит сил.

Доктор не отставал, свое утомление, откровенно вздыхал, часто справлялся, скоро ли полустанок, но не решался заговорить с Принцессой, чтобы не заставить сказать ее опять что-нибудь грубое.

Небо темнело, а в рытвинах дороги отчетливо белел наметенный ветром снег. По ту сторону реки загорелся огонь, за ним другой, третий. Огни были яркие и казались совсем близкими, но спутник успокоил:

— Это далеко, на узловой. Вчера ночью оттуда наводили прожектор.

На темном, совсем мертвом полустанке уже поджидали еще два человека из тех, что были на квартире у слесаря: должно быть, пробрались сюда другой дорогой. Один — машинист, а другой — кто-то высокий и такой светловолосый, что в темноте казался седым.

Пришли как раз во-время: мост уже исправлен саперами и с узловой только что вышел давно приготовленный карательный поезд. Он подвигается вперед очень медленно, опасаясь крушения.

— Пары готовы! — сказал машинист. — Минут через десять можно отправляться.

Пошли все вместе к темневшим в стороне вагонам, спотыкаясь на рельсах. За последней стрелкой, у семафора, пыхтел паровоз, маленький и слабосильный, из тех, что называются «кукушками» и употребляются только для станционных маневров. К паровозу прицепили один товарный вагон.

— По нашим сведениям, путь впереди еще свободен! — рассказывал высокий кому-то, кого не было видно в темноте вагона. — Во всяком случае, нужно прорваться.

Кто-то помог Принцессе войти в вагон. Она прислонилась к стене и среди неясных, темных фигур тщетно старалась угадать доктора. Без своего маленького спутника она чувствовала себя слишком одинокой. Но, не найдя Швейцера, сейчас же почти забыла о нем. Теперь еще сильнее, чем утром, сгустилось мертвящее, безнадежное чувство, похожее на безвыходное отчаяние. Неужели все это когда-нибудь кончится?

На полотне, у паровоза, маленькая кучка людей переходила с места на место, разговаривала вполголоса. Пламя открытого поддувала слабым красноватым светом иногда вырывало из темноты чьи-то ноги, оставляя в темноте лица.

— На кой чорт вы тащите фонарь? С ума вы сошли, если хотите зажигать огонь.

— Как давление?

— На сорок третьей поскорее проходите закругление.

— Садитесь, готово...

— Товарищ, дайте мне еще одну обойму... У вас не маузер?

Вспыхнувшая папироса осветила совсем близко знакомую жиденькую бородку и остренький носик. Вот он — доктор.

По голосам было слышно, что в вагоне есть еще женщины кроме Принцессы. Это немного успокоило. Если бы было так опасно, то ведь не взяли бы с собой женщин. И сейчас же пришло возражение. Разве те, позади, будут разбирать? Ведь только она сама пришла сюда по доброй воле. Остальные убегают от смерти.

Разумеется, доктор не имел права говорить о возвращении. Но если бы они остались здесь сейчас...

— Доктор! — несмело позвала Принцесса.

Паровоз зашипел громче и тронулся с места, сильно дернув. Швейцер невольно, чтобы сохранить равновесие, положил руку на плечо Принцессы.

— Вы меня звали?

— Нет, теперь уже ничего. Или, впрочем... Я хотела бы сесть. Почему не зажигают огня? Я ничего не вижу.

Снег падал все гуще, и как будто в какую-то серую, бездонную пропасть уходили рельсы перед ускорившим ход паровозом. Вагон трещал и раскачивался. Достаточно нескольких развинченных болтов или старой шпалы, намеренно брошенной поперек полотна, — и пыхтящий разбитый паровоз, темный вагон и люди, которые даже не видят друг друга, но так тесно связаны своей общей судьбой, — все это обратится в одну дымящуюся груду обломков. Какая-то женщина всхлипывала и причитала прерывающимся голосом:

— Господи, ну думала ли я, думала ли я? Все было хорошо так и тихо. И уж как говорила я, что не будет из всего этого никакого добра, — так и вышло. Что же теперь будет, господи?

Принцесса вслушалась и ей сделалось стыдно своего собственного малодушия. Виновато приникла к Швейцеру.

— Ничего... Ведь все обойдется, а?

Паровоз шел неровно. Иногда мчался так, что старый вагон готов был рассыпаться на куски, иногда замедлял до самого тихого хода. Тогда кто-нибудь спрыгивал и шел впереди, осматривая путь. Так же тихо подходили к станциям.

Станции казались такими же темными и безлюдными, как недавно покинутый первый полустанок за мостом. Но когда паровоз

останавливался, вспыхивали кое-где робкие огоньки и неведомо откуда появлялись люди, перебрасывались торопливыми фразами. И на каждой станции по нескольку присоединялись к беглецам. Скоро в вагоне сделалось тесно. Сидели на полу, подогнув колени и плотно прижавшись один к другому. И висело в темноте сосредоточенное, напряженное молчание, пугающее больше, чем вопли ужаса.

Когда уже перед рассветом вдруг где-то близко, над самым ухом, загрохотали и дробью рассыпались беспорядочные выстрелы, Принцесса почувствовала даже некоторое облегчение. Так или иначе, но все-таки это ближе к развязке.

Паровоз остановился резким толчком, попятился, словно зверь, внезапно остановленный охотником, и потом опять рванулся вперед, что-то толкнул — и резкие выстрелы солдатских винтовок сразу остались позади, заглохли, заглушенные звонкой трескотней револьверов, из которых стреляли с паровоза. Рядом с Принцессой кто-то кричал истерическим воплем, кто-то ругался.

— У кого бинты? Надо сделать перевязку... Дайте же огня, наконец.

Доктор возбужденно говорил своей спутнице:

— Прорвались удачно, вы понимаете... Теперь уже смело можно надеяться... Но вам дурно, да?

Принцесса не отвечала. Туманная, холодная волна охватила ее всю, остановила дыхание. И откуда-то издали приходил голос доктора:

— Голубушка, милая! Да что же с вами такое?

X

Доктор попеременно пожимал руки машинисту и высокому белокурому человеку, который был легко ранен в ночной перестрелке. Машинист сконфуженно улыбался и в то же время с сожалением посматривал на паровоз, который остановился — теперь уже окончательно — у разрушенной стрелки перед станцией. Принцесса присела на груду шпал, сложенных у полотна, и нетерпеливо ждала. Другие беглецы уже расходились, исчезая один за другим в густой белой мгле утреннего тумана.

— Еще не кончено! — сказал высокий, прижимая ладонью наскоро сделанную повязку, которая мешала ему говорить. — Я думаю, что половину наших переловят здесь же. И хотя вы говорите, что у вас вполне исправные паспорта... Все-таки я должен вам сказать, что вы затесались в скверную историю.

Принцесса нахмурилась. Ей было неприятно, что после минувшей ночи эти люди смотрят на них все-таки, почти как на чужих. Доктор как будто понял ее мысли и заговорил торопливо в ответ высокому:

— Во всяком случае теперь вам нужно заботиться только о

ское, и о тех, кто больше нашего нуждается в помощи. Не правда ли, Принцесса?

— Принцесса — [illegible] усмехнулся высокий.

[illegible] Принцесса [illegible] [illegible] [illegible] до [illegible]

— [illegible]...

Но [illegible] и [illegible] в худшем случае. И доктор, [illegible] потому что [illegible] высокий [illegible] спокойно [illegible] благодушно:

— [illegible] Я [illegible] человек и, может быть, [illegible] устроить. Только [illegible] откровенно, что если мы попадемся, — вам не сдобровать.

Доктор беспомощно развел руками.

— Будем надеяться. А мы не затрудним вас?

— Тут не гостиная. Если я предлагаю, так не из глупой любезности.

Скрылся за туманной завесой верой и правдой послуживший паровоз. Высокий, не теряя времени, на ходу изложил свой проект.

Верстах в двух от станции есть большое село. Там можно будет или переждать несколько дней, пока не определится положение дел, или же нанять подводу и проехать на север верст около сотни. Там, говорят, железнодорожное движение уже восстановлено. Придется, во всяком случае, обождать не меньше суток. Высокий брал на себя подыскать подходящую квартиру.

Принцесса прислушивалась к его уверенному голосу и, опираясь на руку Швейцера, невольно сравнивала. И даже немножко обидно было за бедного доктора: почему он кажется таким ничтожным и беспомощным рядом с этим сильным человеком?

А впрочем, не все ли равно! Когда [illegible] возвращалась к [illegible], все пережитое представлялось совсем незначительным.

После пережитого в поезде [illegible] и мелочны были поиски безопасной квартиры. И сам высокий относился к этому делу как к самой незначительной мелочи.

Поместились у [illegible], жена которого [illegible] чистую комнату для приезжих. Доктор [illegible] беспокоился, спрашивал высокого осторожным шепотом.

— А не донесет этот...

— Во-первых, не на что доносить, а кроме того, он — наш. Если бы и было что, так не донес бы. Ну, теперь будьте здоровы. Мне уходить пора.

— Разве вы... не с нами?

— С какой же стати я буду подводить и себя и других? И потом, по моему мнению, складывать оружие еще слишком рано. Потягаемся.

— Позвольте, я хотя переменю повязку...

— Что там... Царапина, не стоящая внимания.

Незнакомец [illegible] необыкновенно быстро, словно растаял.

[illegible] бабенка молодая и вся кругленькая и [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] приезжих пар[illegible] [illegible] [illegible] хлеб не свежий, а [illegible] [illegible]

— Такое уж нынче хлопотливое время. Словно и ничего не делаешь, а минуточки нет свободной. Муж так даже и с лица спал [illegible] И не ест ничего. То было с радости, а теперь, надо [illegible] Товарищ-то этот знакомец ваш или так? Человек, можно сказать, примерно хороший. Как же, мы давно его знаем. Он тут в прежнюю пору все от земства страховым агентом ездил. Да вот с год уж будет, как и дело бросил. В революцию пошел. И по имени-отчеству звать не велел. Говорите, мол, просто: Митрофан. Муж говорит: кто в революцию идет, так от



Расстрелы рабочих карательной экспедицией

всего мирского должен отречься. Потому и имя берет другое. Вроде, как бы обет... Молочка-то, может, еще отведаете кувшинчик? Коровки у нас свои. Хорошие коровки

Поздно вечером, почти ночью, пришел исчезавший куда-то незнакомец, в овчинной шубе и в теплой шапке, весь запорошенный мокрым снегом.

— А я сейчас на станцию путешествовал. Неподобающие дела там делаются... Даже и выговорить тошно. Пришел поезд с войсками и как метлой вымел. За начальника станции назначен запасный агент, из сыщиков. Поименно всех выдал и в точности всех описал, что и как.

Помолчал немного, сбивая снег с подошв. Потом докончил, сумрачно глядя на мокрые пятна, которые расстилались по полу от тающего снега.

— На соседней станции расстрел был. Отобрали по списку и троих тут же, на месте.

— Кого же?

Псаломщик покосился на Принцессу.

— Называют в точности. И вообще...

Вызвал доктора в другую комнату и там долго с ним шептался. И когда Швейцер вернулся назад, Принцесса заметила, что губы у него прыгают, а руки трясутся сильнее обыкновенного. Заговорил с напускной развязностью.

— Нам лично нечего опасаться. Теперь там заняты более существенным... И я уже переговорил насчет лошадей.

—Послушайте, доктор... Что вы обращаетесь со мной, как с ребенком. Разве я не вижу, что вы что-то скрываете?

— И так уж довольно неприятностей. Да и нет ничего особенного... Псаломщик говорит, что можно отлично доехать на земских.

Вдруг догадалась, словно кто-то шепнул на ухо.

— Я знаю, кого расстреляли. Товарища Митрофана. Этого высокого, который привел нас сюда. Правда?

Доктор кашлянул и отвернулся. Внимательно смотрел в окно, за которым не было ничего видно кроме крутящихся в бархатной темноте белых снежинок.

— Придется здесь, в селе, достать валенки и что-нибудь из теплой одежды. Холодно.

XI

У билетных касс, у выходов на платформу, даже у буфета в зале первого и второго класса стоят часовые и угрожающе топорщатся примкнутые штыки. Разбитый шкаф за буфетом наскоро затянут старым зеленым коленкором. У железнодорожных служащих какой-то сонный и потерянный вид. Но поезда приходят и уходят правильно, почти по расписанию, и доктор с Принцессой сидят уже не на грязном полу товарного вагона, а на мягких сереньких диванах второго класса. Принцесса хотела даже по своей обычной привычке поехать в первом, но доктор не послушался.

Как ни торопились, а с ездой на земских потеряли еще почти двое суток, и бумажник доктора изрядно опустел благодаря тройным и четверным прогонам.

Теперь уже не предвидится никаких препятствий до самого конечного пункта поездки. И завтра все выяснится. Может быть, окажутся бесплодными все хлопоты, опасности и лишения. Доктор даже почти уверен в том, но как-то слишком редко останавливается мыслью на том, что должно произойти. Его задача — охранять Принцессу.

Что-то изменилось в Принцессе за эти дни и, может быть, изменилось к лучшему, но Швейцера все-таки пугает эта перемена. Исчезли хорошенькие капризные складочки у углов губ, но вместо них углубилась другая, фамильная, вертикальной чертой разделяющая брови и так хорошо заметная на всех портретах генерала. Это значит, что Принцесса думает много и напряженно.

Поезд аккуратно останавливается у станций, обер свистит, сытые жандармы, поглаживая усы, выстраиваются у самого края платформы. Все ближе и ближе конец поездки. И все чаще доктор начинает обстоятельно и подробно рассказывать длинные истории из своей жизни.

Принцесса молчит, смотрит в окно и, кажется, слушает. Но внезапно прерывает затянувшийся рассказ и говорит без всякой связи с только-что выслушанным:

— Если бы у Митрофана не было на голове белой повязки, то его, может быть, выследили бы не так скоро.

— У Митрофана?

— Ну да. А скажите, вам не кажется невероятным, что он уже умер?

— Видите ли... Насильственная смерть всегда носит в себе что-то такое, слишком нелепое... И рассудок не хочет с нею мириться.

— И мне тоже кажется, что он жив. Но ведь так же точно я думаю и о Сергее. Значит, он тоже умер?

— Это нелогично. Ведь мы не имеем никаких определенных сведений... И очень может быть, что он давно уже уехал оттуда.

Еще когда ехали на земских, доктор предложил затребовать по телеграфу список погибших во время погрома. Принцесса не согласилась. Объяснила тем, что ведь Сергей, все равно, был там не под своим именем. И тогда доктор тоже сказал:

— Это нелогично. Вы не знаете наверное.

Но не стал спорить и теперь тоже не спорил. Хотя тогда говорила надежда, а теперь — отчаяние.

Станции, свистки, жандармы. В соседнем купе едет какой-то торговый человек и после каждого свистка крестится.

— Слава тебе, господи. Кажется, на лад пошло. Набаловались достаточно. Я один до пяти тысяч потерпел убытку. А сколько все?

☆

ДРУЖИННИКИ

Л. М. КОТЛЯРЕНКО

[illegible]

Манифест 17 октября создал на время растерянность властей и неуверенность, что допустимо и что не допустимо.

Революционная работа значительно облегчилась, а железнодорожный союз вышел из подполья, устраивая открытые собрания как дорожных комитетов, на которые допускались обычно все желающие члены союза, так и собрания представителей комитетов всех дорог, сходящихся в Москве.

Это был период телеграфных требований к правительству по всевозможным вопросам. На междудорожных собраниях принимались требования об отмене расстрела железнодорожников в Грозном и другие.

Требования эти направлялись телеграфом правительству и одновременно передавались всем, всем, всем. Так же действовали и другие дороги, передавая, конечно, постановления и требования не только железнодорожников, но и других революционных и профессиональных организаций. Таким образом получалась телеграфная агитация, достигавшая одновременно в течение нескольких часов самых отдаленных городов, пунктов, местечек.

Я помню заседание 6 декабря междудорожного комитета железнодорожного союза. На этих заседаниях обычно присутствовали и представители всех революционных партий. На этом заседании, между прочим, стоял доклад представителя питерских железнодорожников. Он докладывал о настроении питерского пролетариата вообще и железнодорожников питерского узла в частности, указывал, что забастовка в Питере вполне созрела, что необходимо немедленно ее начать, что питерцы больше не могут ждать и удерживать рабочих, что питерский пролетариат выйдет на улицу один, если Москва не поддержит.

Мы знали хорошее, боевое настроение москвичей, и хотя многим казалось, что начинать забастовку еще рано, но вопрос был поставлен слишком определенно и остро, оставить питерцев одних никто не хотел и не мог, да к тому же и представители партий также доложили о готовности московского пролетариата к забастовке.

Забастовка была назначена на другой день, причем тут же было принято решение о том, что эта забастовка должна перейти в вооруженное восстание.

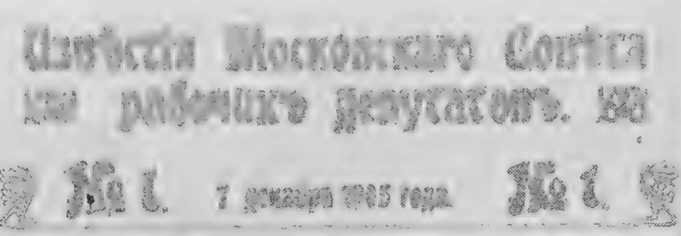
На другой день, 7 декабря, забастовка началась.

Для объявления и начала забастовки на Московско-Казанской железной дороге был назначен [illegible] дороги, пре- [illegible] и на дру- [illegible] действовали.

В этот же день [illegible] положение.

Печатать пришлось в [illegible] Пресне.

Утром мне надо было [illegible] и собрание, назначенное в мастерских Казанской дороги. Выйдя на улицу, я был поражен [illegible] переменой.



Извѣстія Московскаго Совѣта рабочихъ депутатовъ. [illegible]

№ 1. 7 декабря 1905 года. № 1.

Московскій Совѣтъ Рабочихъ депутатовъ, Комитетъ и Группа Рос- сійской Соціалъ-Демократической Рабочей Партіи и Комитетъ Партіи Соціалистовъ-Революціонеровъ ПОСТАНОВИЛИ объявить въ Москвѣ съ среды, 7 декабря, съ 12 час. дня всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее въ вооруженное возстаніе.

Начиная от Кудринской площади, по Садовой многие телеграфные столбы спилены и валяются поперек и вдоль улицы, а телеграфная проволока, перебросившаяся с одного тротуара на другой, делает мостовую непроезжей и непроходимой. Итти можно только по тротуару вдоль заборов и строений.

Слышны выстрелы, то одиночные, то залпом.

На Тверской много народа, но никто не решается итти, все прячутся, где могут. Сказывается, что вдоль Тверской от Страстного монастыря или от генерал-губернаторского дома стреляет артиллерия.

Но нет времени, жду на минуте, и бегом пересек Тверскую.

Дальше та же картина. Столбы спилены, проволока мешает движению войск, в особенности кавалерии; кругом слышны выстрелы, а на Садовой — постройка баррикад. Работают все возрасты, начиная с мальчиков, весело, с интересом и подъемом.

В мастерских я доложил, что видел на пути, указал, что вооруженное восстание началось, что настало время взять оружие в руки и начать непосредственную революционную войну.

Настроение собравшихся нервное, все хотят что-то делать. Выступает т. Белорусов, любимец рабочих, призывает всех, имеющих оружие, присоединиться к борьбе на баррикадах.

Чувствуя, что не время митинговать, мы заканчиваем призывом организовать из собравшихся боевую дружину и предлагаем всем, желающим принять в ней участие, остаться, а остальным разойтись.

Остается десятка полтора товарищей. Оказывается, что все они имеют только револьверы, но самых разнообразных систем и калибров. Кроме них много безоружных, требующих оружия, и несколько женщин, предлагающих услуги по уходу за ранеными.

Но время не ждет. Мы решаем открыть действия, сделав своей базой мастерские; отсюда решили производить вылазки и вести партизанскую войну.

Мы оставили свободной калитку со стороны Красносельской улицы, а с противоположной стороны калитку закрыли, забаррикадировали; установили караул со стороны Вокзальной и несколько постов по пути.

Оставшихся женщин отправили на вокзал, предложив организовать в железнодорожном приемном покое перевязочный пункт.

Вскоре начались боевые действия и появились первые раненые.

Было решено группе товарищей сделать вылазку на Красносельскую улицу, и мы отправились, расположившись на Красносельской за каким-то забором. Ждать пришлось недолго. Вскоре по улице показалась группа казаков. Все изготовились встретить опричников, но вдруг совершенно неожиданно один из нашей группы, зарядив парабеллум, выскочил на мостовую и обстрелял на совсем близком расстоянии всадников.

Это обстоятельство было так неожиданно для казаков, что часть из них повернула обратно, а часть проскакала дальше, осыпаемая выстрелами из нашей засады, причем один или два казака были ранены.

Тут мы допустили ошибку, не переменив места нашей засады, и совершенно неожиданно для себя были обстреляны, видимо, спешившимися казаками, и хотя это нападение было нами отбито, но оно стоило нам поранения одного из дружинников.

Пришлось раненого отправить на перевязочный пункт, а остальным переменить место.

Так прошло время до вечера, и, когда стало темнеть, мы собрались на совещание, на котором было установлено, что наша крепость, открытая со всех сторон для нападения ночью, не очень удобна, в особенности принимая во внимание малочисленность отряда, который целиком пришлось занять в карауле, не дав людям отдыха.

Не желая распускать маленький отряд, решили на ночь выехать из Москвы.

В отряде находился машинист товарищ Ухтомский, а на вокзале дежурил от нашего Революционного стачечного комитета машинист товарищ Татаринский.

Они взялись добыть паровоз, что оказалось легко осуществи-

мым, так как в депо стояли на всякий случай под парами два или три дежурных паровоза.

Был составлен небольшой поезд, кажется, из трех вагонов, в который поместился наш отряд, к вечеру несколько возросший, так как к нему присоединилось несколько вооруженных рабочих, узнавших об организации нашей дружины.

Проехав, кажется, до Перова, решили здесь заночевать и выставили караул, но вскоре о нашем приезде узнали рабочие Перовских мастерских. Был устроен митинг, в результате которого на станции Перово организовалась своя дружина.

Но спать нам в эту ночь пришлось немного.

Дело в том, что нам сообщили о скором приходе в Перово какого-то воинского поезда, причем не совсем было ясно, какой это поезд — санитарный или с демобилизованными, возвращающимися с фронта солдатами.

Приход поезда объяснялся тем, что при объявлении забастовки было решено пропускать поезда с Дальнего Востока санитарные и с демобилизованными солдатами.

Было решено на всякий случай принять ряд предосторожностей: иметь паровоз готовым к отходу, отвести поезд от станции, быть на-чеку, а нескольким безоружным товарищам было предложено выяснить пассажиров поезда, их настроение, имеется ли оружие и т. д.

Вскоре все интересующее нас стало известным. Выяснилось, что поезд с демобилизованными, без оружия, имеется, конечно, несколько вооруженных офицеров, настроение демобилизованных неопределенное, но не черносотенное.

Когда все это выяснилось, решили устроить на станции большой митинг, привлечь всех солдат, разъяснить им причины и цели забастовки, чтобы не допустить в Москву неподготовленный отряд солдат, который мог быть использован для контрреволюционных целей.

Одновременно предложено всем товарищам повести индивидуальную обработку солдат и обязательно осторожно выведать, нет ли в поезде оружия.

Митинг начался удачно, солдатская масса вперемежку с рабочими сгрудилась вокруг ораторов, настроение стало определяться как благоприятное для нас, но солдатам хотелось поскорее в Москву, а к концу митинга от наших разведчиков мы узнали, что в поезде имеется вагон с оружием и патронами. Было решено во что бы то ни стало забрать оружие, с одной стороны, для вооружения всех желающих принять участие в дружине, а с другой стороны, для того, чтобы на всякий случай разоружить солдат, у которых настроение хотя и улучшилось после митинга, но быть уверенными, что таково настроение всей солдатской массы, мы не могли.

Надо сказать, что после митинга изъявили желание вступить к нам в дружину два матроса и, кажется, один солдат.

Мы обратились с просьбой к солдатам отдать нам оружие, а им предложили [illegible] к офицерам, которых мы решили разоружить при первом удобном случае [illegible] ключи от вагона с оружием.

Для того чтобы не возбуждать подозрений, было [illegible] солдат [illegible] дружинников [illegible] к [illegible] вагону, который оказался запертым. Мы постучали, но в вагоне было тихо и ответа не последовало; мы стали настойчиво и потребовали открыть двери, а тем временем, услышав шум и разговоры, подошли солдаты. Мы их стали просить помочь нам получить оружие, причем пришлось сделать намек, что в противном случае мы выведем поезд со станции и, отцепив паровоз, оставим в поле. Мы нашли поддержку у некоторых солдат, и офицерам пришлось открыть вагон. Мы предложили офицерам разоружиться, что они почти беспрекословно исполнили, а по поводу вагона с оружием начальник эшелона, полковник или подполковник, хотел было уверить нас, что никакого оружия нет, но, разоблаченный солдатами, смолк, заявив, что он готов сдать оружие, но что ему необходимо знать, кому сдается оружие, и получить документ. Его успокоили и обещали выдать расписку. Ключ был получен, и мы оказались с трофеями. В вагоне нашлось около сотни берданок старого образца и несколько ящиков патронов. Начальнику эшелона была выдана мною расписка в том, что по постановлению Стачечного комитета оружие из поезда номер такой-то забрано для вооружения восставшего народа.

Все это было погружено в поезд нашего отряда, который немедленно был весь вооружен винтовками, что подняло дух дружинников, так как вести бой с солдатами при наличии только револьверов не так-то легко.

В Люберцах имелась также небольшая боевая дружина, часть которой к нам примкнула, в результате чего наш отряд значительно вырос.

Рано утром мы произвели нечто в роде смотра нашему отряду, проверили умение владеть оружием, проделали некоторые ружейные приемы, проделали примерную стрельбу залпами.

Оказалось, что в отряде имеется часть бывших солдат, но зато были и такие, которые, видимо, в первый раз держат в руках винтовку.

После такого короткого смотра наш поезд двинулся обратно в Москву. Когда на остановке в Перово стало известно о перевооружении нашего отряда и о наличии у нас свободных винтовок и патронов, часть перовских дружинников также примкнула к нам, получив винтовки и патроны.

Я не помню точно количественного состава новой дружины, но думаю, что в ней было не менее ста человек.

Дорогой мы решили остановиться в Москве там же, откуда накануне начал действовать наш маленький отряд, хотя многие

думали, что это место уже занято войсками и что нам придется вступить в бой. Но неприятель обнаружен не был, и мы с приподнятым настроением стали высаживаться в то [illegible], как большая часть отряда уже выскочила из вагонов, [illegible] дано ружейный залп, причем никто не [illegible] откуда он. Раненых и убитых при этом, помнится, не было.

Первым желанием было найти прикрытие [illegible] и разобраться в положении.



Революционеры осматривают поезд из Сибири (ст. Перово, 1905).
Фото Музея Революции

Вскоре, кажется из рассказов ребятишек, выяснилось, что обстрел был произведен отрядом городовых из двухэтажного домика, расположенного на полосе отчуждения, около Мозжухинской калитки.

Решено было повести атаку против фараонов, начав обстрел их залпами; после недолговременной перестрелки стала ясной наша победа, так как неприятель перестал отвечать, а по обследовании на месте выяснилось, что он предпочел спастись бегством.

Наша перестрелка, как я узнал позднее, привлекла внимание отряда войск, прибывшего, кажется, из Твери и расположившегося на Николаевском вокзале.

Оказалось, что предполагавшийся подрыв полотна Николаевской дороги не удался, что эта дорога не забастовала и движение по ней не приостановлено, благодаря чему правительству удалось перебросить в Москву часть Тверского гарнизона, так как Московский был ненадежен и почти весь Гренадерский корпус и даже 1-й Донской казачий полк заперты в казармах. После удачной нашей первой операции и отбития нападения городовых было пред-

ложено мне с отрядом отправиться в город для установления связи с Московским комитетом РСДРП (большевиков).

Вопрос этот был решен еще во время нашего обратного пути в Москву в поезде; решение диктовалось тем, что наш стихийно возникший отряд хотя и имел в своем составе видных работников московской большевистской организации (в поезде находился товарищ Никодим и еще кто-то — фамилии и имени не помню), но не имел никаких директив и не знал, что делается в центре, кто берет верх и каков план дальнейших действий.

Передав командование отрядом товарищу Ухтомскому, я отправился в город, зайдя предварительно на наш перевязочный пункт, в надежде узнать какие-либо новости, но и здесь ничего не знали.

На вокзале оказалась масса пассажиров, застрявших и страшно нуждавшихся в пище; их надо было отправить дальше.

Я вышел на Каланчевскую площадь со стороны соединительной Николаевской ветки. На улицах пустынно, лишь из-под ворот выглядывают любопытные, да изредка прошмыгнет, пригибаясь и оглядываясь, прохожий.

Временами раздается откуда-то выстрел, иногда слышатся частые выстрелы, — видимо, идет перестрелка. Надо сказать, что случайные прохожие и любопытные часто делались жертвой таких выстрелов и перестрелок, не зная, по какому направлению идет обстрел.

Мне пришлось обойти бо̀льшую часть города в поисках кого-либо из Стачечного комитета, но найти не удалось, явки были изменены, некоторые «провалены» и т. д. Я побывал у Красных ворот, где только что закончилась перестрелка между какой-то дружиной и войсками.

Был в переулках на Самотеке и 4-й Мещанской, прошмыгнул мимо своей квартиры сзади Спасских казарм, где, как мне передавали, сидела «засада», побывал в районе Бронной улицы, где имелось много баррикад, сооруженных и охранявшихся студенческими дружинами. Здесь я впервые узнал директивы боевой организации Московского комитета социал-демократов (большевиков), найдя их расклеенными и наколотыми на баррикадах.

В этих прокламациях указывались способы ведения уличного боя; в них предлагалось вести партизанскую борьбу, отказываясь от операций большими группами; предполагалось при встрече с более сильными противниками обстреливать его и, не вступая в открытый бой, скрываться и т. п...

...Войска были заперты по казармам, настроение у них было колеблющееся, и их не удалось использовать ни революции, ни правительству.

На улицах я не видел ни войск, ни полиции, и лишь в некоторых местах были частичные скопления войск; так, например, Тверская от Страстного до генерал-губернаторского дома была занята войсками, кажется, главным образом артиллерией; кое-где, быстро

улепетывая, появлялись конные разъезды; больших боевых дружин я также не встречал, хотя мне говорили, что в районе Бронной и на Пресне имеются крупные боевые организации.

На вокзал я возвращался уже вечером, было темно, я устал. где-то около Сухаревки мне попался извозчик, которых вообще не было видно. Я взял извозчика и, когда мы по Садовой подъезжали к Домниковской улице, я заметил группу солдат у костра. Ожидая обыска, я сунул револьвер куда-то в сиденье, в сено; нас остановили, расспросили, куда и зачем еду, обыскали только меня, ни извозчика, ни саней не обыскивали. После моего объяснения,



Дружинники в декабре 1905 г. (фото)

что я — застрявший на вокзале пассажир, не имеющий возможности выбраться из Москвы, меня отпустили.

Где-то на Домниковской я бросил извозчика и под обстрелом кого-то перебежал площадь и попал на вокзал.

Здесь я узнал, что дружина уже уехала на линию, и мне рассказали о событиях дня.

Оказывается, что вскоре после моего ухода наш отряд подвергся артиллерийскому обстрелу с подъезда Николаевского вокзала. Видимо, находившийся здесь отряд войск услыхал нашу утреннюю перестрелку с городовыми, а может быть, получив от них сведения о местоположении дружины, начал артиллерийский обстрел путей и мастерских, причем на каланче Николаевского вокзала был расположен наблюдательный пункт, с которого были видны пути Казанской дороги.

К нашей дружине, как я уже говорил, присоединились два матроса из разоруженного нами поезда. Эти матросы взяли на се-

бя обстрел наблюдателя с каланчи. Они, расположившись где-то около Общества потребителей служащих Казанской дороги (напротив Николаевского вокзала), удачно по очереди снимали наблюдателей.

Вскоре от артиллерийского снаряда загорелась лавка Общества потребителей.

Дружина попыталась погасить пожар, но безуспешно. Так как было ясно, что товар или погибнет в огне, или будет растащен окружающими жителями, то дружина решила сделать продовольственные запасы из горящей лавки.

Заночевав где-то на вокзале, я надеялся утром присоединиться к отряду. Это было 9 или 10 декабря.

Прождав часа два, я начал беспокоиться и решил двинуться на поиски на линию.

В ожидании дружины собралось несколько рабочих, среди которых оказался один машинист (кажется, с Ярославской дороги), с которым мы и решили отправиться на поиски. Нам удалось найти горячий паровоз, на котором мы и уехали.

По пути мы узнали, что дружина, под влиянием каких-то слухов о движении войск из Москвы, направилась дальше по линии, и я нашел ее уже в Раменском, где часть дружинников была занята порчей телеграфа для перерыва связи.

Здесь я узнал, что дружина получила сообщение о движении на нее войск с двух сторон — от Москвы и Коломны, но я уверил товарищей, что от Москвы никто пока не грозит. По заслушании моего доклада о положении дел в Москве, было решено возвратиться туда немедленно, причем я взялся ехать на паровозе впереди в качестве разведчика.

Боевой наш поезд не появлялся, а тем временем стало уже совсем темно. Попытка связаться с дружиной по телеграфу мне не удалась, и после некоторого раздумья я решил все же ехать в Москву.

Ожидая всяких случайностей, я оставил здесь некоторые документы, а также имевшиеся у меня небольшие деньги Московского стачечного комитета, передав все это помощнику начальника станции Перово (фамилии не помню), который впоследствии был заколот карательным отрядом семеновцев. Тут же был начальник станции Фролов и еще несколько человек.

Приехав в Москву, из осторожности остановились далеко от места, где обычно располагалась дружина, но предосторожность оказалась излишней, так как путь был занят нашими.

Вечером дружина не прибыла, и я решил, что она, не желая возвращаться в Москву ночью, приедет утром, но и утром я долго напрасно прождал.

Не зная, в чем дело, я решил пройти пока в город, рассчитывая скоро вернуться.

Побывав на вокзале и на перевязочном пункте, я вышел на улицу. Картина улицы была такая же, как и вчера.

Я не могу сейчас припомнить, где я был в этот день и как долго отсутствовал, но помню, что, возвращаясь на вокзал, встретил кого-то из товарищей и узнал, что вокзал уже занимается войсками.

Это было 11 или 12 декабря.

Вскоре, на другой, кажется, день, я узнал о том, как самоликвидировалась наша боевая дружина.



Паровоз «Зорька» 101 боевой дружины

Оказывается, товарищи не решились ехать в Москву ночью и выехали утром следующего дня. Когда поезд подходил к Покровской общине, он был обстрелян из пулеметов, расположенных на железнодорожных платформах, и только благодаря, видимо, высоко взятому прицелу пострадавших в поезде было немного.

В вагонах все полегли на пол, и пули свистали над дружинниками, изрешетив вагоны.

На паровозе поезда находился товарищ Ухтомский, и только благодаря его находчивости отряд был спасен. Говорят, что он, лишь слегка замедлив, дал обратный ход и вывел поезд из-под огня.

★

БАРРИКАДЫ В ХАРЬКОВЕ

ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ

Литератор-революционер Львов-Рогачевский, в прошлом политкаторжанин, описывает события 1905 г. в Харькове, в которых участвовали рабочие паровозостроительного завода.

Десятое октября.

Я — в Харькове... в том самом Харькове, где год тому назад обыватель окраин распевал однообразную и глупую песню «Разлука, ты, разлука», и где теперь «товарищ» поет или, вернее, бросает в лицо врагам, как вызов, «Отречемся от старого мира».

В городе нервное, приподнятое настроение. Все ждут чего-то необычного... События надвигаются.

Телеграммы — нарасхват. Разговоры — только о железнодорожной забастовке. У всех на устах одна и та же фраза: «железные дороги стали». Сегодня могучее движение властно и широко захватывает всех тех, кто угнетен, лишен политических прав.

2 часа дня. По Московской быстро и радостно катит свои волны человеческая река. Котелков, цилиндров и шляпок не видно. Идут тысячи рабочих прямо из мастерских, от станка. Закопченые лица и руки... Только что пошабашили!

«Вставай, поднимайся...» — несется из конца в конец.

По середине улицы стоят брошенные вагоны конки. На крыше одного из них пляшут мальчишки и во все горло орут: «Забастовка!.. Забастовка! Ура!...»

Магазины быстро закрываются.

Принуждены забастовать черносотенные «Харьковские ведомости» и «Южный край» Юзефовича.

В редакции «Южного края», по установившемуся обычаю, выбиты стекла в окнах.

— Товарищи — с нами!... Товарищи, присоединяйтесь! — слышались веселые, возбужденные крики...

— Куда?...

— К железнодорожным мастерским... На митинг!

До сих пор центром движения был паровозный завод. Туда стекались на митинги, оттуда шли на демонстрации; сегодня — праздник «на улице» железнодорожных рабочих.

Река растет, ширится и разливается по тротуарам.

Я иду в толпе.

— А мастерские-то железнодорожные, — обращается ко мне один из рабочих, — сами стали! Да еще раньше нас, паровозников. В апреле не хотели слышать о «политике». Наш оратор, социал-демократ, стал им говорить о 9 января, — кричат: «басни рассказывает»; стал говорить о свободе, об Учредительном собрании, — какое там, кричат: «долой, не надо, это посторонний, у нас свое

дело, у нас экономическая забастовка...» Так и не дали говорить. Первого мая наши паровозники пришли их снимать, так они их в гайки приняли, ораторов позволили арестовать... А нынче-то! Сами громче нас кричат о политике. Вот время-то какое, товарищ!.. А почему? Думали, что политику агитаторы выдумали, а как правительство напечатало свой закон 6 августа о Государственной думе, — разом всем рабочим, самым темным, открыло глаза. И лучше прокламации! Да как же, посудите сами, товарищ, это ведь понять очень даже просто: почему рабочему нет места в Думе? Ему политика не нужна? А кто ж законы писать будет? Капиталист да помещик? Нет уж, извините. Рабочие этого не позволят. Не позволим, и баста! Долой Государственную думу! Правильно я говорю, товарищ? Вот и железнодорожные мастерские: почитали манифест, глянули на железнодорожную забастовку и поняли, что правду поют у нас на Украине: «Як без політики жити», поняли и теперь впереди нас идут...

Пока товарищ меня агитирует, мы уже доходим до Николаевской площади.

Навстречу показываются драгуны и скачут по Московской мимо нас в противоположную сторону; им в догонку несется оглушительный свист.

Полиция пытается что-то предпринять...

Власти растеряны. «Удар великой общей стачки их выбил из колеи»...

Полицмейстер Бессонов (он случайно был ранен в ногу в 1902 году при покушении Фомы Кочуры на губернатора Оболенского) умоляет разойтись по домам.

— Ну, убейте меня, если хотите, но зачем же нарушать порядок? Ведь Харьков — это самый спокойный город, а вы хотите беспорядки устроить... И нам беспокойство и семьям вашим... Зачем?

Его не слушают, его не слышат, им не интересуются.

Мимо его коляски, конных стражников, мимо казаков толпа пересекает Николаевскую площадь и идет к университету...

Там сейчас сходка. В окнах видны тужурки, синие воротники.

— Товарищи! — возмущаются рабочие. — Мы уже бросили работы, а вы тут чего сидите?

— Мы сейчас, сейчас! Наши уже пошли. Мы знаем!

И река все прибывает и течет дальше по университетской горке, по Екатеринославской к вокзалу, к мастерским — и не видно, где конец и где начало этой реки.

Четыре часа продолжается непрерывно это движение к мастерским на митинг.

Вокзал пуст. Носильщиков не видно. Буфет пуст. «Где стол был яств», там теперь трибуна ораторов.

Линия сплошь залита народом. Идут, идут, идут, а вагоны — стоят, стоят, стоят...

Только один паровоз пыхтит и собирается куда-то отвозить несколько вагонов.

Вагоны полны ребятишек. Вокруг рабочие. Это забастовщики отправили школьников на ближайшие станции к родителям, чтобы те не беспокоились.

Навстречу от мастерских с красными знаменами идут тысячные толпы товарищей-рабочих.

— Заворачивайте! Здесь места нехватило. На Ващенкову леваду!

И с пением «Дубинушки», с радостным сознанием своей силы, с дружными возгласами все двигаются к леваде на митинг.

«Но настанет пора — и проснется народ, разогнет он могучую спину!» — звенит голос запевалы. Запевало поет так, как, наверное, не певал никогда: ведь он сам, да и тысячи людей, идущих с ним в ногу, всем своим существом сознают, что эта пора уже настала, «уже проснулся народ». И тысячи молодых и радостных голосов подхватывают дружный припев: «Гей! Дуби-и-нушка, у-ухнем»...

И женщины, забыв о хозяйстве, бегут от калиток и бросаются в волны людские...

Какой простор! Сколько жизни! Сколько уверенности в победе...

Пришли, а сзади еще идут без конца.

— Вот так левада! Да здесь хоть сто тысяч собирайся, — раздаются веселые возгласы.

— Товарищи! Здесь тысяч тридцать народу; надо разбиться на три митинга, а то у ораторов голосу нехватит.

Откуда-то появились столы. Около столов и скамей взвились красные знамена. Ораторы уже взобрались на трибуны.

Разом сейчас будут три митинга открыты. Но все три митинга будут объяты одной мыслью, одним настроением, одним предчувствием чего-то важного и необычайного.

Провокаторы пытаются вызвать смятение и сорвать митинг.

— Казаки! Казаки! — слышатся вопли в толпе. Выстрел один, другой...

Толпа колеблется... Часть пришедших в безумной панике бросается в сторону. На момент ничего нельзя разобрать; многие бегут, попадают в канаву.

— Стойте! Остановитесь! — кричат с трибуны.

— Хватайте тех негодяев, которые станут стрелять. Это провокаторы!

Спокойствие водворяется. Слышатся шутки и насмешки над теми, кто побежал от слова «казаки».

— Ничего, привыкнем, это репетиция...

— Пора начинать!

— Товарищи! Внимание!

Громадная площадь разом замирает. Многие пришли сюда в первый раз. Многие еще вчера не знали, что они тоже сегодня

будут «бунтовать» и заниматься «политикой». Многие не знают, что такое эта политика. Они жили в своих домишках-развалюшках, выходивших на площадь, выползали по вечерам на крылечки и поглядывали на огромную площадь, а на площади бродили грязные, оборванные ребятишки и домашние животные.

А теперь здесь «митинг» и пришли сюда «ораторы», и смирные обыватели покидают «крылечки», бегут к «трибуне», — и будничные заботы, нелепые басни и пересуды, точно болотный туман, уступают дорогу чистому небу.

Ораторы говорят о значении всеобщей политической забастовки, о прекращении движения на всех почти железных дорогах, говорят о «непотребном учреждении» — Государственной думе, об Учредительном собрании.

Один из ораторов заканчивает речь словами:

— Товарищи! Правительство хочет уверить и нас и весь мир, будто политические требования чужды интересам рабочих, навязываются агитаторами — людьми, посторонними рабочему классу. Правительство уверяет, что мы можем бороться только за пятак и устраиваем только экономические забастовки. Напрасно правительство говорит за нас. Ответим всей стране: мы сами за себя.

— Какая у нас сейчас забастовка: экономическая или политическая?

И, как удар громовой, несется дружный ответ десятков тысяч:

— Политическая!

— Да здравствует политическая всероссийская забастовка! — провозглашает оратор.

— Да здравствует!.. Ура! — подхватывает могучее эхо...

Другой оратор приводит слова рабочего Петра Алексеева, сказанные на суде двадцать пять лет тому назад.

— Товарищи, — говорит оратор, — вы часто слышали эти слова. Теперь они уже воплотились в жизнь. Если бы пришел к нам дорогой товарищ Петр Алексеев из далекой сибирской тайги, куда его упрятало правительство и где он был убит, — если бы он пришел сюда, он бы увидел, как сильна рабочая армия наша. Он бы сказал: «Сбылись мои слова: мускулистая рука рабочих уже поднялась. Пусть трепещут тираны; пусть вздохнут с облегчением все лишенные света, все лишенные прав. Недаром мы шли на смерть!» Так сказал бы Петр Алексеев... Товарищи! тени великих борцов с нами. Они — здесь; мы чувствуем их огонь в наших сердцах.

Темнеет. Шесть часов вечера.

— В город! К Николаевской площади! Идем все вместе! Спокойствие и порядок! — раздается с трибуны.

Левада пустеет.

В полном порядке, торжественно и стройно двигаются бесконечные ряды.

Живой поток буквально залил все пространство между двумя рядами построек. Ни тротуаров, ни мостовой не видно.

— Долой Государственную думу!.. Да здравствует Учреди-

тельное собрание! — перекатывается из конца в конец; те же лозунги горят на громадных красных знаменах.

Впереди вокруг знамен идет боевая дружина.

Вот Панасовка... Там дальше тюремная площадь и уродливая тюрьма с круглыми башнями.

Подле участка на Панасовке стоят бледные, как смерть, городовые. Они с ужасом ждут нападения и разгрома. Они сами протягивают револьверы и шашки, они говорят, что тоже «забастовали»...

Их не трогают. Дальше! Мимо!

Что это? На толпу во весь карьер несутся драгуны... Вот они совсем близко. Они хотят рассеять «мятежное сколище» и не допускать к тюрьме... Задние их не видят, а крики «драгуны! драгуны!» уже не вызывают никакой паники.

— Товарищи, вперед! — распоряжается боевая дружина. Раздается залп...

Один из рабочих, шедших к нам навстречу, рассказывал потом, что было дальше с драгунами.

«Ну, чаво побегли?! Заворачивай назад»... — кричал, вероятно, вахмистр своим растерянным спутникам.

Драгуны нехотя вновь повернули к толпе.

«Чего побегли?! — с досадой ворчали они. — Аль не видишь? Чай, пули мимо самих ушей свистят».

Проехав тихой рысью несколько десятков шагов, они остановили лошадей и — вновь назад, подальше от греха.

В толпе демонстрантов настроение разом поднялось.

Когда впереди раздались крики и залпы, в центре толпы и в хвосте, растянувшихся на целый квартал, никто ясно не представлял себе, что там, впереди, творится.

На минуту подумали, что опять провокация, а когда выяснилось, что войска пытаются преградить путь, — тысячи рабочих бросились к бесконечно-длинному забору, мимо которого шли, и разобрали его моментально, вооружившись жердями и дубинками.

* *
*

11 октября уже с 9½ часов по Петинской улице к паровозному заводу за город поспешали рабочие, служащие, девушки.

Всем казалось, что на паровозном будет центр событий.

Впрочем, громадное скопление публики наблюдалось в разных местах.

В этот день почти все магазины, за исключением разве самых незначительных, были закрыты, коночное движение не возобновлялось, на почте не принимали денег и корреспонденции.

Газет и телеграмм не было: хотелось знать — и никто не знал, что творится теперь в других городах.

Собралось на поляну перед заводом тысяч пять. Тут были главным образом паровозники и местные жители.

Когда по-вчерашнему начали стрелять провокаторы, часть толпы пришла в смятение, а затем при появлении казаков, выстроившихся вдали против трибуны, уставленной знаменами, эта часть толпы совсем отделилась и остановилась на пригорке в качестве зрителей. Напрасно их убеждали, стыдили, — отошедшие не двигались.

Часам к 11 прорвалась из города (полиция долго пыталась преградить доступ к паровозному) громадная толпа городских рабочих и учащихся. На поляне стало вдвое больше народу. Ораторы говорили о важности момента, о солидарности...

Около 12 часов прибыли из города несколько человек с важными вестями: «Возле университета — баррикады. Студенты зовут товарищей рабочих. Нужна помощь».

Наиболее пылкие уже готовы были призывать в город, но большинство настояло, чтобы послать туда разведчиков: если окажется, что в университете и около него мало народу, решено было лучше звать сюда, чем уходить отсюда.

Никто не обратил в то время внимания на то, что казаков уже не было, они куда-то исчезли.

Со станции Бавария из Григоровки, что в 7 верстах от города, пришли работницы канатной фабрики; было много и деревенских. Впереди пятитысячной толпы несли грамадное красное знамя. У каждой девушки в руках была свежесорванная ветка. С высокоподнятыми ветками, этими деревенскими знаменами, с оживленными, радостными лицами они приближались к трибуне. Казалось, двигался лес.

У ораторов точно крылья выросли: ведь пришли незатронутые люди, для которых каждое новое слово являлось откровением. И они слушали с огромной жадностью. Мы говорили о деревне, о том, что творится на родине, о борьбе и о том, чего надо добиваться крестьянам и рабочим.

В это время новые вести из города взволновали всех.

Ждать больше нельзя было.

— Товарищи! Торопитесь! Могут устроить бойню около университета! В городе события. Скорее!

— В город! В город! — кричали даже те, которые несколько часов тому назад стояли зрителями в стороне. Настроение было великолепное.

Назначив на завтра в час дня общенародный митинг на Николаевской площади, решили итти к университету.

Ораторы предложили не петь, итти по тротуарам не всей массой, но тысячные толпы запрудили всю улицу. Они пели революционные песни, и ораторы пели вместе с ними.

Работницы из Григоровки слились с рабочими-паровозниками, типографщиками, гельферихцами... Они вступили в новую, еще неведомую им страну.

— Слушайте, дяденька, — обратилась одна из них к почтенному рабочему.

— Какой я тебе дяденька, — прервал ее тот, — я товарищ и ты товарищ, так и зови меня товарищем. Тут мы все — товарищи. Нас миллионы, но у нас одно сердце — тем мы и сильны. Ты знаешь, что такое «товарищ»? Это — великое слово, это — больше отца, больше матери, больше детей. Нет на свете лучше этого слова, верно я тебе говорю!... За товарища нужно жизнь отдать. В одиночку ведь мы — соломинки, а вместе мы — великая армия. Товарищество — это «один за всех и все за одного». Поняла, товарищ, мои слова?

— Поняла! Это по-нашему, по-деревенски, говорят «дяденька»... Мы ведь живем далече от вас. По-вашему еще не научились разговаривать.

— Ты работница?

— А как же: мы на канатной работаем.

— Ну так знай: у нас с тобой один разговор. У нас, у рабочих, во всех странах один язык. Мы все задыхаемся от нужды да гнета. Мы все соединяемся в одну армию для борьбы. Мы все боремся за новый мир!

Девушка все расспрашивала своего нового товарища и все больше и больше проникалась сознанием, что здесь, в этой огромной толпе, и она не зритель, не деревенская девушка, пришедшая с подругами погулять, а товарищ, участвующий в великой борьбе «за лучший мир, за свободу»...

— Скорей идите! — торопили мы друг друга. — Что там происходит?...

Когда, наконец, мы вышли из-за угла, на всех нас разом хлынул целый поток совершенно новых, неожиданных впечатлений.

Все остановились... Навстречу несся целый вихрь мятежных звуков. Это защитники баррикад, увидев нас, ударили в набат на колокольне собора и в университетской церкви.

«Бой!.. Бой!.. Бой!..» гремели колокола.

Казалось, кто-то огромный с пламенными взорами, с красным знаменем протягивал нам руку..

Впереди виднелась баррикада, протянувшаяся во всю ширину университетской улицы...

За ней открывалась другая...

На крышах университетских зданий, на баррикадах толпились студенты, рабочие.. Они махали шапками, приветствовали нас. Красные знамена развевались высоко над баррикадами...

Даже сверху, с колокольни собора, свешивалось красное знамя...

Мятежный звон колоколов и кровавый цвет знамен, крики с баррикад и бурные приветствия — все это слилось в одну мелодию.

Осмотревшись, мы увидели на Павловской площади между баррикадами и нами толпу хулиганов с национальными трехцветными флагами. Они ждали момента, чтобы начать «патриотические» грабежи.

Нас они вовсе не думали встретить и растерялись...

Полтораста шагов отделяло этих «патриотов» от «крамольников». Громилы, разыгрывающие русский народ, преграждали нам дорогу.

Но только одно мгновение виднелась эта кучка. Те, которые шли впереди, устремились против врагов бегом; вся толпа не поспевала за передними и оторвалась от них.

Бежавшие сделали, казалось, не 150 шагов, а всего один прыжок — и хулиганов не было!



Погром. — С карт. художн. Шапиро

Через несколько минут мы были на баррикадах среди своих, среди товарищей, уставших ждать и уже переживших в городе ряд событий...

Нам рассказали, что происходило в городе перед нашим приходом.

В городе также с раннего утра началось возбуждение, и к 11—12 часам университет и Николаевская площадь стали центрами событий. Университет превратился в крепость и был опоясан баррикадами.

На Николаевской была рассеяна рабочими и студентами патриотическая манифестация и разбиты два оружейных магазина.

У всех на устах были события предыдущего дня: митинги на Ващенковой леваде, на вокзале, в городе на одном из дворов...

Говорили о разгроме оружейного магазина Тарнопольского, о баррикаде перед этим магазином... О залпах войск и о жертвах.

Атмосфера, как передают участники, была насыщена электричеством. Чувствовалось всеми, что сегодняшний день спокойно не пройдет.

По улицам двигались солдаты, разъезжала кавалерия.

И вот, как искры на бочку пороха, летят тревожные вести в университет: полиция и войска хотят сюда войти «отпраздновать автономию» университета, хотят разогнать сходку силой.

Надо было с минуты на минуту ждать взрыва, и он произошел. Без заранее обдуманного намерения, без предварительного сговора все разом пришли к единому решению, единому способу действий; всех охватило одно чувство, могучее и стихийное. Это был взрыв возмущения и пламенного энтузиазма.

— Им хочется крови?! Мы будем защищаться! Не расходиться! Баррикады!..

И заговорили камни. Разбирали мостовую и сносили камни в кучи. Валили телеграфные столбы, срывали с них проволоку.

Из дворов тащили бревна, железо, дрова, веревки.

В ограде собора сняли громадные железные ворота и, как перышко, снесли на мостовую.

Работа кипела...

☆

У ТАМБОВСКИХ ВАГОННИКОВ

Н. А. КЛОСС

Клосс Н. А.— советский журналист, сотрудник газеты «Рабочий транспорта», Рязано-Уральской дороги; одновременно работает над вопросами истории революционного движения 1905 г. на Тамбовском вагоноремонтном заводе. Приведенный отрывок обоснован воспоминаниями рабочих-вагонников, документами исторического порядка партийных организаций и материалами высшей канцелярии Тамбовского губернатора.

Известия о событиях 9 января 1905 года — расстрел рабочих в Петербурге и всеобщий взрыв возмущения кровавой расправой царя — быстро дошли и до тамбовских вагонных мастерских.

Начальство мастерских вместе с жандармами, а главным образом с черносотенными мастерами, принимало все меры, чтобы предотвратить организованный протест рабочих, отвлечь их внимание от событий, волновавших страну.

Помимо напряженной слежки за активистами, начальство организовало непосредственно в мастерских большой архиерейский молебен как меру одурманивания масс и одновременно как провокационный маневр по отношению к активистам.

Ясно, что передовые рабочие пытались воспрепятствовать проведению этого архиерейского спектакля.

Накануне молебна — 19 января — слесари механического цеха Черемухин и Белов, собрав в укромном месте группу рабочих, агитировали за забастовку протеста. Белов призывал рабочих не ходить на молебен. Он говорил:

— Товарищи! В Петербурге, Москве, Баку и в других городах идут забастовки рабочих в знак протеста против кровавой расправы царя с безоружным народом. Ответим и мы, рабочие Тамбова, Николаю кровавому. Не на молебен нужно итти, товарищи. Мы призываем вас объявить забастовку. Рабочие должны повести наступление на царя и капиталистов. Развернем борьбу за восьмичасовой рабочий день!..

Однако агитация Белова и Черемухина тогда не имела успеха. Черносотенцы и жандармы их подкараулили, на глазах у рабочих схватили и запрятали в тюрьму.

В Тамбове была социал-демократическая организация. В глубоком подполье кипела работа. Из ее тайных листовок рабочие узнавали о многом. Становясь ли утром за верстак, возвращаясь ли после непосильного труда домой, — где-нибудь в щели, изгибе водосточной трубы рабочие находили эти драгоценные для них листовки.

«...Смирно сидеть по своим углам в рабочих конурах, в деревенских курных избах, трудиться в поте лица, аккуратно вносить непосильные подати, гнуть свою спину перед всякой кокардой, благославлять царя, отдать в его руки издание законов, спокойно смотреть на лишения, темноту и бесправие народа, отправлять сотни тысяч сынов на бойню на Дальний Восток, благодарить „мудрое правительство" за полный разгром негодного войска, — вот чего требует царь Николай от „крамольного народа". Это называется в манифесте „Основными устоями государства Российского"».

Так листовка рассказывала истину о «высочайшем» рескрипте от 18 февраля 1905 года на имя министра внутренних дел Булыгина, которому царь предлагал разработать проект Государственной думы. Листовка поспела к рабочим уже 22—23 февраля. Рабочие призывались к борьбе за свои права:

«Правительство хочет вытравить наболевшую душу народа и миллионами штыков держать в страхе громадное население верноподданных рабов.

— Долой правительство! Долой царя! — отвечает на это восставший пролетариат. Мы вырвем силой власть у царя и на месте самодержавия Романовых установим самодержавие всего народа. Мы сами выберем своих представителей, которые будут защищать наши интересы во всенародном парламенте России...»

Старый большевик, участник подпольных кружков, бывший столяр вагонных мастерских Андрей Алексеевич Рыжков в своих воспоминаниях рассказывает:

«...Нелегко было подготавливать наших рабочих к участию в первомайской массовке 1905 года. Черносотенцы и жандармы, как хищники, следили за каждым нашим движением. В заводе был установлен усиленный наряд жандармов, они ходили по цехам и разгоняли небольшие группы рабочих.

Но несмотря на шпионскую работу черносотенцев, члены социал-демократической группы на заводе, молодые рабочие Папин, Федоров и другие вели упорную работу среди рабочих. Подпольный городской комитет РСДРП держал с ними тесную связь, передавал им листовки для распространения. Жандармы иногда находили листовки, но не находили распространителей. Листовки же делали большое дело, призывая рабочих к борьбе с царизмом».

Надо сказать, что революционная агитация и пропаганда среди тамбовских вагонников летом 1905 года значительного успеха не имели. Объясняется это тем, что в мастерских кроме отдельных социал-демократов большевиков действовали и эсеры и меньшевики, с помощью шпиков и жандармов действовали черносотенцы, терроризировавшие и запугивавшие неустойчивую, колеблющуюся часть рабочих. Существовала черносотенная организация; активные деятели черной сотни действовали под покровительством жандармов. Вся эта банда издевалась над рабочими, вынюхивала следы, открыто угрожала оружием, в рабочее время собирала свой «актив», обсуждала планы предательских действий.

Но ни засилье черносотенцев, ни предательская политика эсеров и меньшевиков не могли остановить все более и более нараставшее недовольство рабочих, не могли вырвать массы из-под влияния неотразимой большевистской агитации.

Постепенно все новые и новые рабочие привлекались к революционному движению.

*

На правом берегу реки Цны, в десятке верст от города, в районе Тригуляевского монастыря собирались рабочие, когда нужно было им обсуждать свои кровные дела. На много десятков верст кругом стояли густые, местами непроходимые леса.

Массовку 1 мая 1905 года проводили тоже здесь.

«Рано утром 1 мая, — вспоминает старый столяр Рыжков, — когда жандармы еще не успели притти на завод, члены социал-демократической группы проникли в мастерские и разложили первомайские листовки по верстакам. Работа прошла организованно и была окончена, когда на завод прибыл усиленный отряд жандармерии. Жандармы стояли у проходной, потом важно расхаживали по цехам, но найти распространителей листовки им опять не удалось.

Потом во время работы, потихоньку, словесно рабочим передавался пароль и называлось место маевки — Тригуляевский лес.

Гудок на обед. Рабочие по одиночке выходили из завода. Груп-

пами собираться опасно, — шпионы и жандармы следили во все глаза. Рабочие ехали на лодках, шли пешком. По дорогам, ведущим к месту массовки, заблаговременно расставлены рабочие пикеты, которые под видом отдыхающих зорко следили за каждым проходящим и спрашивали установленный пароль.

На массовку собралось около пятисот человек. Были рабочие не только с нашего завода. Митинг прошел оживленно. Товарищ, приехавший из Московского комитета РСДРП ярко рассказал о значении Первого мая, об усилении борьбы с самодержавием. После митинга-маевки так же по одиночке расходились, и дело обошлось без инцидентов.

*

Приближалась осень 1905 года, особенно богатая событиями. В начале октября, когда до тамбовских железнодорожников дошла весть, что началась забастовка на Московско-Казанской и что забастовка распространилась на ряд других дорог, — забастовали и рабочие Тамбовского железнодорожного узла.

Еще вечером 8 октября группа рабочих-движенцев станции Тамбов прекратила работу. К 12 часам ночи станция опустела, появились объявления о закрытии станции и прекращении движения поездов. Уже не был принят камышинский поезд, остановленный на станции Сампур; саратовские скорый и пассажирский — брошены на станцию Кирсанов. Жизнь на узле замерла.

Утром 9 октября — митинг забастовавших рабочих и служащих узла. Сотни железнодорожников стекались со всех сторон. Ясный, солнечный день приветливо встречал людей. И так как помещение железнодорожного театра не могло вместить прибывших на митинг, его перенесли в парк при театре.

На митинге рабочим стало известно, что в Петербурге арестованы делегаты рабочих и служащих дорог, посланные для предъявления требований правительству. В ответ на это многие железные дороги объявили забастовку и к поддержке этой забастовки призывались и тамбовские товарищи. Железнодорожники с огромным воодушевлением приняли решение бастовать. Так, примкнув к огромным историческим делам того времени, тамбовские железнодорожники стали участниками событий, которые с исключительной яркостью и убедительностью разъяснялись еще из-за границы товарищем Лениным.

Революционный подъем масс железнодорожников Тамбовского узла был велик. Рабочие дружно бросили работу, собирались на митинги, активно и горячо обсуждали положение, решали вопросы о своих нуждах. К забастовавшим железнодорожникам примкнули учащиеся, студенты, адвокаты. На собраниях выступали представители медицинских работников и высказывали солидарность с бастующими. Таким образом стачка коренным образом отличалась от проводившихся в январе и августе 1901 года. Жандармы с осо-

бенной тревогой доносили, что на собраниях и митингах «участвуют посторонние лица»...

Но революционный подъем масс также с первых же дней забастовки искусственно сдерживался и направлялся в определенные рамки: собраниями руководили представители соглашательских и буржуазных партий. Кадет Брюхатов, редактор газеты «Тамбовский голос»; эсер, адвокат Вольский; инженер депо Давидович, особенно активно выполнявший волю соглашателей, и ряд других из числа меньшевиков делали свое черное дело.

Они пролезли в состав стачечного комитета для того, чтобы дальше болтовни дело не шло. Разглагольствуя часами перед полутора-двухтысячными собраниями железнодорожников о необходимости продолжать стачку, быть стойкими и тому подобное, они в то же время не выдвинули и не приняли ни единого лозунга, не поставили ни одной конкретной боевой задачи перед массой железнодорожников. Единственное чахлое мероприятие, проводившееся стачечным комитетом, — это сбор средств в пользу наиболее нуждающихся бастующих рабочих.

Поведение руководителей вызвало недовольство передовой части рабочих, и она, под влиянием большевиков, принимала меры, чтобы поставить забастовку на практические рельсы, выдвинуть и разрешить насущные вопросы железнодорожников.

Эти действия передовой части железнодорожников соглашательское руководство стачки старалось скомкать, дезорганизовать. В своей борьбе против интересов рабочих и служащих — железнодорожников, против возможных достижений стачки соглашательское руководство доходило до явно предательских действий. Так, когда на митинг железнодорожников пришли рабочие небольших механических заводов города и просили включить их в число бастующих, — руководитель собрания Давидович, поддержанный кучей горлопанов, отклонил предложение городских рабочих и провалил это немаловажное политическое дело. Не менее рьяно этот губитель стачки выступал, проваливая требования рабочих уволить наиболее реакционных мастеров и отдельных администраторов из мастерских.

Оберегая ли от пролетарского гнева своих хозяев, уводя ли бастующих подальше от достижения их целей, — эсеры и меньшевики протаскивали к руководству своих людей. Например, на съезд в Саратов были избраны исключительно высшие служащие участка и ни один рабочий.

Чем дальше длилась стачка узла и борьба за ее цели, тем поведение соглашателей становилось настолько подозрительным и для массы бастующих, что об этом доносили начальству жандармы, следящие непосредственно, как и шпики, за ходом забастовки. Начальник жандармов Эрнст доносил губернатору:

«Совершенно секретно. Среди благонамеренной части рабочих явилась мысль, почему Давидович, получающий большое постоянное жалованье, а не заработную плату, имеющий ве-

роятно сбережения и не страдающий от забастовки, заставляет их бастовать и терпеть лишения и в то же время все говорит, что хлопочет о них. „Нет ли тут обмана?" Мысль эта, как видно, крепко засела в головах некоторых рабочих».

На такой засевший в головах рабочих вопрос о роли соглашателей ясный ответ впоследствии дал сам Давидович. Он заявил делегатам на съезд профсоюзов, перед отъездом их в Москву (съезд проходил с 15 ноября по 6 декабря 1905 года):

— Не слушайте социал-демократов! Они своими необыкновенными требованиями способны довести нас до полной гибели!

Таковы были руководители октябрьской стачки, отличившейся поэтому лишь митингованием, топтанием на месте. Она была быстро подавлена и узел занят войсками.

На занятой зверствующими войсками и жандармами территории мастерских, по прямому принуждению, кое-где началась работа. Кончалась «господская» забастовка, как ее многие рабочие называли. Однако она дала массам железнодорожников хороший урок распознавания друзей и врагов. Симпатии рабочих полностью перешли к социал-демократии.

Рабочие-большевики Папин, Федоров, Лушников, Рыжков и другие с огромной энергией взялись за организацию вагонников. Они неустанно разъясняли большевистские лозунги о необходимости вооруженной борьбы с царизмом, разоблачали сущность царского манифеста. Авторитет Папина, этого рабочего-большевика, был велик; к нему обращались рабочие по самым разнообразным вопросам и горячо откликались на его призывы и обращения. Деятельностью большевиков вскоре был организован новый стачечный комитет и создан стачечный фонд. Председатель комитета Папин был организационно связан с комитетами других дорог. Он активно поддерживал забастовки, проводившиеся на различных участках; через него тамбовские железнодорожники материально помогали бастовавшим почтово-телеграфным служащим Москвы.

Под руководством большевиков на узле велась подготовка к новым, более решительным выступлениям. В ноябре и в начале декабря тамбовские вагонники, правда, с большой осторожностью, использовали все возможности, чтобы готовить оружие. В механическом и конвенционном цехах, в жестяницкой мастерской пассажирского цеха — в этом направлении шла горячая работа. Кроме того, оружие доставлялось на завод и извне. Рабочие видели практические дела, и от этого еще больше рос авторитет социал-демократов.

Собрания рабочих принимали решения, осуждавшие действия правительства, требовавшие свержения царизма. Принимались решения о бойкоте и увольнении отдельных мастеров, наиболее угнетавших рабочих и издевавшихся над ними и, наконец, были устранены из мастерских несколько матерых хозяйских зубров. Результаты деятельности социал-демократов становились все более ощутимыми.

События надвигались. С прервавшего свою работу московского съезда профсоюзов возвратился делегат Иван Лушников; привез телеграмму Всероссийского железнодорожного союза с призывом к новой забастовке.

8 декабря состоялось общее собрание рабочих и служащих мастерских; решался вопрос о присоединении к забастовке двадцати девяти железных дорог. Горячие выступления на собрании, неизменно заканчивались призывом: «Долой самодержавие!», «Долой правительство!»

Собрание единогласно решило — присоединиться. Послало делегацию к рабочим станции Тамбов. Движенцы станции откликнулись, выразили солидарность. Стачечный комитет передал решение вагонников по телеграфу всем линиям и ветвям своей дороги, а также и на другие дороги.

В обращении ко всем работникам станций Рязано-Уральской отмечалось о необходимости требовать: созыва Учредительного собрания, освобождения политических заключенных, отмены смертной казни, отмены военного положения.

К этому времени в связи с крестьянскими восстаниями в губернии и волнениями среди железнодорожников Тамбов был объявлен на военном положении. В город и в окрестности стягивались войска и казачьи части. О продвижении эшелона с казаками по Камышинской линии к Тамбову стало известно как раз во время собрания. Председатель собрания Лушников телеграммой, адресованной всем начальникам станций от Тамбова до Обловки, предложил машинисту и кондукторской бригаде поезда № 25 принять все меры, чтобы бросить эшелон на станцию Обловка или отцепить паровоз на ходу, следуя под уклон.

Но этот план не был осуществлен.

9 декабря 1905 года в Тамбове был ясный морозный день. Вагонники спешили на митинг — обсудить положение и конкретный план действий. Большой цех был полон рабочими, собралось более тысячи человек. Говорили о братьях-рабочих, погибших от рук царских палачей на баррикадах Москвы и Петербурга; пели траурный гимн «Вы жертвою пали»... С необыкновенным подъемом звучали и другие революционные песни.

Собрание было в самом разгаре, когда вдруг заревел заводской гудок. Это был сигнал начальника мастерских Зубкова войскам, стянутым к месту собрания...

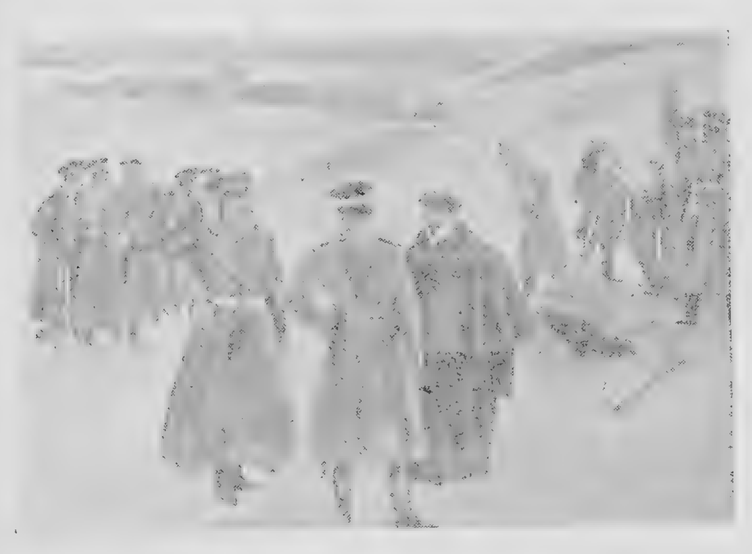
— Мы окружены! Казаки! Конница! — неслись отовсюду выкрики.

— Вооружайтесь, товарищи! Давайте отпор врагам! — бросил собранию Лушников. Но было уже поздно.

Эскадрон 7-го кавалерийского полка и сотня конных казаков тесным кольцом окружили рабочих. Избивая нагайками, прикладами винтовок, тесня и сжимая конями, войска погнали толпу из ворот завода. Кто-то метнул из толпы гранату, другую... Они не взорвались. Раздалось несколько револьверных выстрелов... Но по-

пытки вооруженного отпора были слишком слабы. Банда царских опричников с большей яростью принялась избивать безоружных. А у ворот завода в кольцо конницы были взяты и пришедшие сюда жены и даже дети. Не щадя, били и их.

От мастерских до Тамбовской тюрьмы расстояние не менее пяти километров. На протяжении этого пути казаки зверски издевались над своими пленниками.



Казнь по приговору военно-полевого суда в 1906 г.
С карт. художн. Шестопалова

В тюрьму было засажено сразу более трехсот рабочих. Конечно, и весь стачечный комитет. Камеры были переполнены доотказа, главным образом вагонниками.

В рабочих квартирах начались повальные обыски. Тех, кто не был еще посажен в тюрьму, силой принуждали становиться на работу.

Начался разгул репрессий, продолжались аресты, увольнения, ссылки.

Революционное движение на заводе на некоторое время было подавлено.

★

БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

В повести советского писателя В. Катаева события 1905 г. рисуются так, как их видели мальчики — сын учителя Петя и братишка слесаря железнодорожного депо, маленький рыбак Гаврик. В печатаемых отрывках описывается как Гаврик хитроумно втягивает Петю «в подпольную работу»: используя гимназическую форму и ранец приятеля, Гаврик подносит патроны дерущимся на баррикадах дружинникам, которыми руководят большевики — брат Гаврика железнодорожник и матрос потемкинец.

Глава двадцать вторая

Итти было весело и очень интересно.

Петя никогда не предполагал, что город такой большой. Незнакомые улицы становились все беднее и беднее. Иногда попадались магазины с товаром, выставленным прямо на тротуар.

Под акациями стояли дешевые железные кровати, полосатые матрацы, кухонные табуреты. Были навалены большие красные подушки, просяные веники, швабры, мебельные пружины. Всего много, и все крупное, новое, повидимому, дешевое.

За кладбищем потянулись дровяные склады, от которых исходил удивительно приятный горячий, но несколько кисловатый запах дуба.

Потом начались лабазы — овес, сено, отруби — с несуразно большими весами на железных цепях. Там стояли гири, громадные, как в цирке.

Затем — лесные склады с сохнущим тесом. Здесь тоже преобладал горячий запах пиленого дерева. Но так как это была сосна, то запах не казался кислым, а наоборот, — сухим, ароматным, скипидарным.

Сразу бросалось в глаза, что по мере приближения к Ближним мельницам мир становился грубее, некрасивее.

Куда девались нарядные «буфеты искусственных минеральных вод», сверкающие никелированными вертушками с множеством разноцветных сиропов! Их заменили теперь съестные лавки с синими вывесками — селедка на вилке — и трактиры, в открытых дверях которых виднелись полки с белыми яйцевидными чайниками, расписанными грубыми цветами, более похожими на овощи, чем на цветы.

Вместо щеголеватых извозчиков по плохой мостовой, усыпанной сеном и отрубями, грохотали ломовики.

А город все тянулся и тянулся, с каждой минутой меняя свой вид и характер.

Сначала в нем преобладал оттенок кладбищенский, тюремный.

Потом какой-то «оптовый» и вместе с тем трактирный. Потом — фабричный.

Теперь пейзажем безраздельно завладела железная дорога. Пошли пакгаузы, блок-посты, семафоры... Наконец, дорогу преградил опустившийся перед самым носом полосатый шлагбаум.

Из будочки вышел стрелочник с зеленым флажком. Раздался свисток. Из-за деревьев вверх ударило облачко белоснежного пара, и мимо очарованных мальчиков задом пробежал настоящий большой локомотив, толкая перед собой тендер.

О, что за зрелище! Ради этого одного стоило уйти без спросу из дому!

Как суетливо и быстро стучали шатуны, как пели рельсы, с какой непреодолимой, волшебной силой притягивали к себе головокружительно мелькающие литые колеса, окутанные плотным и вместе с тем почти прозрачным паром!

Очарованная душа охвачена сумасшедшим взрывом и вовлечена в нечеловеческое, неотвратимое движение машины, в то время как тело из всех сил противится искушению, упирается и каменеет от ужаса, на один миг покинутое проснившейся под колеса душой!

Мальчики стояли, стиснув кулачки и расставив ноги, бледные, маленькие, с блестящими глазами, чувствуя свои похолодевшие волосы.

У, как это было жутко и в то же время весело!

Гаврику, правда, это чувство было уже знакомо, но Петя испытывал его впервые. Сначала он даже не обратил внимания, что вместо машиниста из овального окошечка локомотива выглядывал солдат в бескозырке с красным околышем и на тендере стоял другой солдат, в подсумках, с винтовкой.

Едва локомотив скрылся на повороте, как мальчики бросились на насыпь и прижались ушами к горячим, добела натертым рельсам, гремящим, как оркестр.

Разве не стоило убежать без спросу из дому и перенести потом какое угодно наказание за счастье прижаться к рельсу, по которому вот только что, сию минуту прошел настоящий локомотив.

— Почему на нем вместо машиниста солдат? — спросил Петя, когда они, вдоволь наслушавшись шума рельсов и набрав «кремушков» с балласта, отправились дальше.

— Видать, опять железнодорожники бастуют, — нехотя ответил Гаврик.

— Что это значит — бастуют?

— Бастуют — значит: бастуют, — еще сумрачнее сказал Гаврик. — Не выходят на работу. Тогда бывает, заместо их солдаты водят поезда.

— А солдаты не бастуют?

— Солдаты не бастуют! Не имеют права. Ихнего брата за это ого! — в арестантские роты могут. Очень просто.

— А то бы бастовали?

— Спрашиваешь!

— А твой братон Терентий бастует?
— Когда как.
— Отчего же он бастует?
— Оттого, что потому. Не морочь голову. Смотри лучше — «Одесса-товарная». А вон оно самые Ближние мельницы.
Напрасно Петя вытягивал шею, всматриваясь в даль. Решительно нигде не было никаких мельниц, ни ветряных, ни водяных. Были: водокачка, желтый частокол станционного двора «Одессы-товарной», красные вагоны, санитарный поезд с флажком Красного креста, штабели грузов, покрытых брезентом, часовые...
— Где же мельницы? Где?
— Вот же они, прямо за вагонными мастерскими, чудило!
Петя смолчал, боясь как-нибудь снова очутиться в дураках.
Он так усердно вертел во все стороны головой, что даже натер себе воротником шею, но мельниц нигде так и не заметил.
Странно.
Между тем Гаврик не обнаруживал ни малейшего удивления по поводу их отсутствия. Он бойко шагал по узенькой тропинке вдоль длинной закопченной стены, мимо громадных клетчатых окон со множеством выбитых стеклышек.
Петя, порядком уже уставший, плелся за ним, шаркая башмаками по траве, темной от пыли и копоти. Иногда под ногой хрустела железная стружка, очевидно, выкинутая из окна.
Гаврик привстал на цыпочки и заглянул в окно.
— Смотри, Петька, вагонные мастерские. Тута Терентий работает. Никогда не видал? Иди сюда.
Петя стал рядом с приятелем на цыпочки и заглянул в выбитое окно.
Он увидел громадный сумрачный воздух и мутные крошечные квадратики противоположных окон. Висели широкие ремни, всюду были какие-то большие, скучные железные вещи с колесиками. Все было усыпано металлической стружкой. Солнечный свет, пройдя сквозь пыльные стекла, лежал по всему непомерному полу бледными клетчатыми косяками.
И во всем этом громадном, странном пространстве не было заметно ни одной живой души.
Сверху донизу стояла такая немая, такая нечеловеческая тишина, что Пете стало страшно, и он прошептал чуть внятно:
— Никого нету...
И Гаврик, подчиняясь его шопоту, сказал еще тише, одними губами:
— Наверно, опять бастуют.
— А ну, не балуйся под окнами! — раздался вдруг над мальчиками грубый голос.
Они вздрогнули и обернулись. Рядом с ними стоял солдат в скатке через плечо, с винтовкой. Он стоял так близко, что Петя явственно услышал страшный запах солдатских щей и ваксы.
Светложелтые кожаные подсумки — тяжелые, скрипучие, на-

верное, полные боевых патронов, грозно и близко торчали перед мальчиками, а весь солдат в целом казался таким громадным, что два ряда медных пуговиц уходили снизу вверх на головокружительную высоту в самое небо.

«Погиб!» — с ужасом подумал Петя и почувствовал, вот-вот с ним случится постыдная неприятность, та самая, что обычно случается с очень маленькими детьми от сильного испуга.

— Тикай! — закричал Гаврик тонким голосом и, шмыгнув мимо солдата, кинулся удирать.

Не слыша под собой ног, Петя рванул за приятелем.

Ему казалось, что позади топают солдатские сапоги. Он припустил еще, насколько хватало сил. Сапоги не отставали. Глаза ничего не видели, кроме мелькающих впереди коричневых пяток Гаврика.

Сердце колотилось громко и быстро. Солдат не отставал. Ветер шумел в ушах.

И только пробежав по крайней мере версту, Петя, наконец, сообразил, что это не стук солдатских сапог, а колотится на спине сорвавшаяся соломенная шляпа.

Мальчики с трудом перевели дух. По вискам бежали ручьи горячего пота, на подбородке висели капли.

Но едва мальчики убедились, что солдата поблизости нет, как тотчас сделали совершенно равнодушные лица и, небрежно засунув руки в карманы, не торопясь, зашагали дальше.

Они делали друг перед другом вид, будто решительно ничего не случилось, а если даже и случилось, то такие пустяки, о которых не стоит и разговаривать.

Теперь они давно уже шли по широкой немощеной улице. Хотя на калитках и на домиках висели городские фонари с номерами и вывески лавочек и мастерских, а на одном из углов находилась даже аптека с разноцветными графинами и золотым орлом, — все же улица эта скорее напоминала не городскую, а деревенскую.

— Ну, где же твои Ближние мельницы? — сказал Петя кисло.

— А это тебе что? Скажешь, не мельницы?

— Где?

— Что значит — где? Тут.

— Где же тут?

— Где мы идем.

— А самые мельницы?

— Чудак человек! — снисходительно сказал Гаврик. — А где ты видел на Фонтане фонтан? Все равно, как маленький! Спрашиваешь, а сам не знаешь — что?

Петя ничего не ответил. Гаврик был совершенно прав. В самом деле, «Малый фонтан», «Большой фонтан», «Средний фонтан». А самих фонтанов там, оказывается, никаких нет. Просто «так называется».

Называется Мельницы, а мельниц-то никаких на самом деле и нет.

Но мельницы — это в сущности пустяки. А вот, где тени непохожих на себя вдов и маленькие бледные сиротки в заплатанных платьицах? Где серое, призрачное небо и плакучие ивы? Где сказочно-грустная страна, откуда нет возврата?

Гаврика об этом нечего было и спрашивать.

К своему полному разочарованию, Петя не видел ни вдов, ни плакучих ив, ни серого неба. Наоборот. Небо было горячее, ветреное, яркое, как синька.

Во дворах блестели шелковицы и акации. На огородах светились запоздавшие цветы тыкв. По курчавой травке шли гуси, поворачивая глупые головы то направо, то налево, как солдаты на Куликовом поле.

В кузне звенели молотки и слышался ветер мехов.

Конечно, все это было по-своему тоже очень увлекательно. Но трудно было расстаться с представлением о призрачном мире, где как-то таинственно «упокояются» родственники скоропостижно скончавшихся мужчин.

И долго еще в петиной душе боролась призрачная картина воображаемых мельниц, где «упокояются», с живой разноцветной картиной железнодорожной слободки Ближние мельницы, где жил братон Гаврика — Терентий.

Глава тридцать шестая

Прошла неделя, другая, а посылка от бабушки не приходила.

Несмотря на объявленную царем «свободу», беспорядки усиливались. Почта работала плохо. Отец перестал получать из Москвы газету «Русские ведомости» и сидел по вечерам молчаливый, расстроенный, не зная, что делается на свете и как надо думать о событиях.

Приготовительный класс распустили на неопределенное время Петя целый день болтался без дела. За это время он успел проиграть Гаврику в долг столько, что страшно было подумать.

Однажды пришел Гаврик и, зловеще улыбаясь, сказал:

— Ну, теперь ты не ожидай так скоро своих ушек. На-днях пойдет всеобщая.

Может быть, еще месяц тому назад Петя не понял бы, о чем говорит Гаврик. Но теперь было вполне ясно: раз — «всеобщая», значит — «забастовка».

Сомневаться же в достоверности гавриковых сведений не приходилось. Петя уже давно заметил, что на Ближних мельницах все известно почему-то гораздо раньше, чем в городе. Это был нож в сердце.

— А может, успеют дойти?

— Навряд ли.

Петя даже побледнел.

— Как же будет насчет долга? — спросил Гаврик настойчиво.

Дрожа от нетерпения поскорее начать игру, Петя поспешно

дал честное, благородное слово и святой истинный крест, что завтра, так или иначе, непременно расквитается.

— Смотри! А то, — знаешь... — сказал Гаврик, расставив по-матросски ноги в широких бобриковых штанах лилового, сиротского цвета.

Вечером того же дня Петя осторожно выкрал знаменитую копилку Павлика. Запершись в ванной, он столовым ножом извлек из коробки все сбережения — сорок три копейки медью и серебром.

Проделав эту сложную операцию с удивительной ловкостью и быстротой, мальчик набросал в опустошенную жестянку различного гремучего хлама: гвоздиков, пломб, костяных пуговиц, железок.

Это было совершенно необходимо, так как бережливый и аккуратный Павлик обязательно два раза в день — утром и вечером — проверял целость кассы. Он подносил жестянку к уху и, свесив язык, тарахтел копейками, наслаждаясь звуком и весом своих сокровищ.

Можно себе представить, какие вопли поднял бы он, обнаружив покражу! Но все сошло благополучно.

Ложась спать, Павлик потарахтел жестянкой, набитой хламом, и нашел, что касса в полном порядке.

Впрочем, известно, что богатства, приобретенные преступлением, не идут человеку впрок. В три дня Петя проиграл деньги Павлика.

Надежды на быстрое получение дедушкина мундира не было. Гаврик опять стал требовать долг.

Ежедневно, сидя на подоконнике, Петя дожидался Гаврика.

Он с ужасом представлял себе тот страшный день, когда все откроется: и ушки, и сандалии, и вицмундир, и копилка Павлика. А ведь это обязательно — рано или поздно — должно обнаружиться. О, тогда будет что-то страшное!

Но мальчик старался об этом не думать, его терзала вечная и бесплодная мечта проигравшихся игроков — мечта отыграться!

Ходить по улицам было опасно. Но все же Гаврик обязательно появлялся и, остановившись посредине двора, закладывал в рот два пальца. Раздавался великолепный свист.

Петя торопливо кивал приятелю в окно и бежал черным ходом вниз.

— Получил ушки? — спрашивал Гаврик.

— Честное, благородное слово — завтра непременно будут! Святой истинный крест! Последний раз.

В один прекрасный день Гаврик объявил, что ждать больше не желает. Это значило, что отныне Петя как несостоятельный должник поступает к Гаврику в рабство до тех пор, пока полностью не расквитается.

Таков был жестокий, но совершенно справедливый закон улицы.

Гаврик слегка ударил Петю по плечу, как странствующий рыцарь, посвящающий своего слугу в оруженосцы.

— Теперь ты скрозь будешь со мною ходить, — добродушно сказал он и прибавил строго: — Вынеси ранец.

— Зачем... ранец?

— Чудак-человек, а ушки в чем носить?

И глаза Гаврика блеснули лукавством.

По правде сказать, Пете весьма улыбалась перспектива такого веселого рабства. Ему давно уже хотелось побродяжничать с Гавриком по городу.

Но дело в том, что Пете ввиду событий самым строжайшим образом было запрещено выходить за ворота. Теперь же совесть его могла оставаться совершенно спокойной: он здесь ни при чем, такова воля Гаврика, которому он обязан беспрекословно подчиняться. И рад бы не ходить, да нельзя: такие правила.

Петя сбегал домой и вынес ранец.

— Надень, — сказал Гаврик.

Петя послушно надел. Гаврик со всех сторон осмотрел маленького гимназиста в длинной, до пят, шинели. с пустым ранцем за спиной. Повидимому, он остался вполне доволен.

— Билет гимназический есть?

— Есть.

— Покажь.

Петя вынул билет. Гаврик его раскрыл и по складам прочел первые слова: «Дорожа своею честью, гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения...»

— Верно, — заметил он, возвращая билет. — Сховай. Может сгодиться.

Затем Гаврик повернул Петю спиной и нагрузил ранец тяжелыми мешочками ушек.

— Теперь мы всюду пройдем очень свободно, — сказал Гаврик, застегивая ранец, и с удовольствием хлопнул по его телячьей крышке.

Петя не вполне понял значение этих слов, но, подчиняясь общему уличному закону — поменьше спрашивать и побольше знать, промолчал.

Мальчики осторожно вышли со двора.

Так начались их совместные странствия по городу, охваченному беспорядками.

С каждым днем ходить по улицам становилось все более опасно. Однако Гаврик не прекращал своей таинственной увлекательной жизни странствующего чемпиона.

Наоборот. Чем в городе было беспокойнее и страшнее, тем упрямее лез Гаврик в самые глухие, опасные места. Иногда Пете даже начинало казаться, что между Гавриком и беспорядками существует какая-то необъяснимая связь.

С утра до вечера мальчики шлялись по каким-то черным дворам, где у Гаврика были с тамошними мальчиками различные дела по части купли, продажи и мены ушков.

В одних дворах он получал долги. В других — играл. В треть-

их — вел загадочные расчеты со взрослыми, которые, к крайнему петиному изумлению, повидимому, так же усердно занимались ушками, как и дети.

Таща на спине тяжелый ранец, Петя покорно следовал за Гавриком повсюду. И опять в присутствии Гаврика город волшебно оборачивался перед изумленными глазами Пети проходными дворами, подвалами, щелями в заборах, сараями, дровяными складами, стеклянными галлереями, открывая все свои тайны.

Петя видел ужасающую и вместе с тем живописную нищету одесских трущоб, о существовании которых до этого времени не имел ни малейшего представления.

Прячась в подворотнях от выстрелов и обходя опрокинутые поперек мостовой конки, мальчики колесили по городу, посещая самые отдаленные его окраины.

Благодаря петиной гимназической форме им без труда удавалось проникать в районы, оцепленные войсками и полицией. Гаврик научил Петю подходить к начальнику заставы и жалобным голосом говорить:

— Господин офицер, разрешите нам перейти на ту сторону, мы с товарищем живем вон в том большом сером доме, мама, наверное, сильно беспокоится, что нас так долго нет.

Вид у мальчика в форменной шинели, с телячьим ранцем за плечами, был такой простодушный и приличный, что обыкновенно офицер, не имеющий права никого пропускать в подозрительный район, делал исключение для двух испуганных детишек.

— Валяйте, только поосторожней! Держитесь возле стен. И чтоб я вас больше не видел! Брысь!

Таким образом мальчики всегда могли попасть в любую часть города, совершенно недоступную для других.

Несколько раз они были на Малой Арнаутской в старом греческом доме с внутренним двором. Там был фонтан в виде пирамиды губчатых морских камней, с зеленой железной цаплей наверху. Из клюва птицы в былые времена била вода.

Гаврик оставлял Петю во дворе, а сам бегал куда-то вниз, в полуподвал, откуда приносил множество мешочков с необыкновенно тяжелыми ушками.

Он поспешно набивал ими петин ранец, и мальчики быстро убегали из этого тихого двора, окруженного старинными покосившимися галлереями.

В этом же дворе Петя как-то увидел дедушку Гаврика. Он тихо шел на согнутых ногах через двор к мусорному ящику.

—О! Дедушка! — закричал Петя, — Послушайте, что вы здесь делаете? А я думал, вы — в участке!

Но дедушка посмотрел на мальчика, как видно, не узнавая.

Он переложил из руки в руку ведро и прошамкал глухо:

—Я здесь теперь... Сторожу... Ночной сторож... Да...

И тихонько пошел дальше.

Мальчики заходили в порт, на Чумку, в Дюковский сад, на

Пересыпь, на завод Гена — они побывали всюду, кроме Ближних мельниц.

На Ближние мельницы Гаврик возвращался один после трудового дня.

Тетя и папа сошли бы, вероятно, с ума, если бы только могли себе представить, в каких местах побывал за это время их Петя.

Глава тридцать седьмая

Но вот однажды настал конец этой восхитительной, но жуткой бродячей жизни. В этот памятный день Гаврик пришел раньше обыкновенного, и мальчики тотчас отправились в город.

У Гаврика было серое, необычайно собранное, неподвижное лицо с пестрыми от холода, крепко сжатыми губами. Он быстро и валко шел, глубоко засунув руки в карманы своих широких бобриковых штанов, — маленький, сгорбившийся, решительный.

Только в его прозрачных, как у девушки, стоячих глазах мелькало иногда недоброе оживление.

Петя еле поспевал за своим другом. Мальчики почти бежали по улице — безлюдной, как во сне.

Напряженное ожидание чего-то висело в сером воздухе. Шаги звонко раздавались по плиткам тротуара. Под каблуком иногда ломалось оконное стекло льда, затянувшего пустую лужу.

Вдруг где-то далеко, в центре, раздался легкий грохот. Можно было подумать, что везли на ломовике пирамиду пустых ящиков и внезапно они развязались и рухнули на мостовую.

Гаврик остановился, прислушиваясь к слабому шуму эхо.

— Что это? — шопотом спросил Петя. — Ящики?

— Бомба, — сухо и уверенно сказал Гаврик.—Когось трахнули.

Через два квартала навстречу мальчикам из-за угла выбежала женщина с корзиной, из которой сыпались древесный уголь и айва.

— Ой, господи Иисусе Христе, ой, мать пресвятая богородица... — бессмысленно повторяла женщина, стараясь дрожащей рукой натянуть сбившийся с головы платок. — Ох, господи, что же это делается! На кусочки разорвало...

— Где?

— На Полицейской... Вот так я иду, а вот так он едет... И как рванет. На мелкие кусочки. Господи, помилуй... Лошадей поубивало, экипаж на мелкие кусочки...

— Кого?

— Пристава... с Александровского участка... Вот так — я, а вот так — он... А тот боевик — напротив, и у него в руках, представьте себе, обыкновенный пакетик, даже завернутый в газету...

— Поймали?

— Боевика-то? Куда там! Как бросились все в разные стороны — его и след простыл... боевика-то... Говорят, какой-то переодетый матрос...

Женщина побежала дальше. Несмотря на всю суровую сдержанность, Гаврик схватил Петю за плечо и притопнул ногами.

— Это того самого, который деда бил кулаком по морде,— быстро, горячо зашептал он. — А пускай не дает волю своим рукам! Верно?

— Верно, — сказал Петя, холодея.

В этот день мальчики два раза заходили на Малую Арнаутскую улицу во двор с фонтаном и цаплей.

В первый раз, забрав «товар», как выразился Гаврик, они отправились на Александровский проспект, оцепленный войсками. Их без особого труда пропустили.

Пройдя несколько домов, Гаврик втащил Петю в какие-то ворота. Мальчики прошли через большой безлюдный двор, мимо казачьей коновязи, по пустым обоймам и винтовочным гильзам, вбитым солдатскими подошвами в тугую, промерзшую землю.

Мальчики спустились в подвал и долго шли в сырой темноте мимо дровяных сараев, пока не вышли на другой двор. Из этого двора узкой щелью между двумя высокими и мрачными кирпичными стенами можно было пробраться еще в один двор.

Как видно, Гаврик хорошо знал здесь все ходы и выходы.

Щель была такая узкая, что Петя, пробираясь за Гавриком, то и дело царапал ранец о стены. Наконец, они выбрались на этот третий двор, узкий, высокий и темный, как цистерна.

Судя по тому, как долго пришлось сюда пробираться и сколько сделали поворотов и зигзагов, дом этого двора выходил на какую-то другую улицу.

Весь двор был усеян битым стеклом и штукатуркой. Окна дома, окружавшего двор, были плотно закрыты ставнями. Казалось, что дом необитаем. Гулкая тишина стояла вокруг.

Но за этой тишиной, по ту сторону дома, на незнакомой улице, не столько слышался, сколько угадывался тревожный шум какого-то движения.

Кроме того, сверху, будто с неба, изредка хлопали громкие выстрелы, наполняя двор колодезным шумом. Петя прижался ранцем к стене и, дрожа, зажмурился. Гаврик же, не торопясь, вложил в рот два пальца и свистнул.

Где-то наверху стукнула ставня и раздался голос:

— Сейчас!

Через минуту, показавшуюся Пете часом, из двери черного хода выскочил красный, потный человек без пальто, в пиджаке, испачканном мелом.

Петя увидел и ахнул. Это был Терентий.

— Давай, давай, давай! — бормотал Терентий, обтирая рукавом мокрое лицо.

Не обращая внимания на самого Петю, он бросился к его ранцу.

— Давай скорее! Спасибо, в самый раз! А то у нас ни черта не осталось.

Он нетерпеливо расстегнул ремешки, сопя, переложил мешочки из ранца в карманы и бросился назад, успев крикнуть:

— Пущай Иосиф Карлович сей же час присылает еще. Тащите, что есть. А то не продержимся.

— Ладно, — сказал Гаврик, — принесем.

Тут под крышу ударила пуля, и на мальчиков посыпался розовый порошок кирпича.

Они поспешили той же дорогой назад, на Малую Арнаутскую, и взяли новую партию «товара». Ранец на этот раз был так тяжел, что Петя его еле тащил.

Теперь мальчик, конечно, прекрасно понимал уже, какие это ушки. В другое время он бросил бы все — и убежал домой. Но в этот день он, охваченный до самого дна души азартом опасности, гораздо более могущественным, чем азарт игры, — ни за что не согласился бы оставить товарища одного.

К тому же он не мог отказаться от славы Гаврика. Одна мысль, что он будет лишен права рассказывать потом о своих похождениях, сразу заставила его пренебречь всеми опасностями.

Гаврик и Петя отправились обратно. Но как изменился за это время город! Теперь он кипел.

Улицы то наполнялись бегущим в разные стороны народом, то вдруг пустели мгновенно, подметенные железной метелкой залпа.

Мальчики подходили уже к заставе, как вдруг Гаврик схватил Петю за руку и быстро втащил в ближайшую подворотню.

— Стой!

— Что?

Не выпуская петиной руки, Гаврик осторожно выглянул из ворот и тотчас отвалился назад, прижавшись спиной к стене под черной доской с фамилиями жильцов.

— Слышь, Петька... Дальше не пройдем... Там ходит тот самый чорт, который мне ухи крутил... Смотри...

Петя на цыпочках подошел к воротам и выглянул. Возле заставы, мимо вывернутых чугунных решеток сквера и винтовок, составленных в козлы, по мостовой прогуливался господин в драповом пальто и каракулевой шляпе пирожком. Он повернулся, и Петя увидел бритое грубое лицо с мясистым носом. Что-то было в этом незнакомом лице очень знакомое. Где-то Петя его уже видал. Но где? Что-то мешало мальчику вспомнить. Может быть, мешала синева над верхней губой. И вдруг он вспомнил. Конечно, это был тот самый усатый с парохода «Тургенев», но только бритый, без усов. Он тогда врезался в память на всю жизнь. Петя узнал бы его из тысячи даже бритым.

— Усатый, — прошептал Петя, становясь рядом с Гавриком, ранцем к стене. — Который ловил матроса. Только теперь без усов. Помнишь, я тебе говорил, а ты еще смеялся...

— Ишь, побрился, чтоб не узнали... Шкура... Он меня знает, как облупленного, — сказал Гаврик с досадой. — Ни за что не пройдем.

— А может, пройдем?
— Смеешься?
Гаврик выглянул из ворот.
— Ходит...
Гаврик сжал кулачок и стал со злостью грызть костяшки пальцев.
— А они тама сидят и дожидаются... У, дракон!
В наступившей на минуту полной и глубокой тишине восстания слышались отдаленные выстрелы. Их шум перекатывался где-то по крышам города.
— Слышь, Петька, — сказал вдруг Гаврик, — понимаешь, они там сидят и даром дожидаются... без товара... Их тама всех перестреляют, очень просто... А я не могу иттить, потому что этот чорт непременно за мной прилипнет!
Злые слезы закипели на глазах Гаврика. Он сильно потянул носом, высморкался на землю и сердито посмотрел Пете в глаза.
— Чуешь, что я тебе говорю?
— Чую, — одними губами проговорил Петя, бледнея от этого сердитого, дружеского, настойчивого и вместе с тем умоляющего взгляда товарища.
— Сможешь пойтить один? Не сдрейфишь?
От волнения Петя не мог выговорить ни слова. Он крупно глотнул, кивнув головой. Воровато озираясь по сторонам и выглядывая из ворот, Гаврик стал набивать петины карманы своими мешочками.
— Слышь, все отдашь, весь товар. И что в ранце — отдашь. и что в карманах. А если поймаешься — молчи и отвечай, что нашел на улице и ничего не знаешь. Понял?
— Понял.
— Как только отдашь, так беги сюда обратно, я тебя буду тута дожидаться в воротах. Понял?
— Понял.
С неудобно раздутыми карманами, Петя, почти ничего не сознавая от страха и волнения, подошел к заставе.
— Куда лезешь, не видишь, что ли? — закричал усатый, бросаясь к мальчику.
— Дяденька, — захныкал Петя привычным тоненьким голосом Гаврика. — Пожалуйста, пропустите, мы живем тут недалеко, на Александровском проспекте, в большом сером доме, мама очень беспокоится: наверное, думает, что меня убили!
И совершенно натуральные слезы брызнули из его глаз, катясь по замурзанным пухлым щечкам. Усатый с отвращением посмотрел на маленькую фигурку приготовишки и взял Петю за ранец.
Он подвел мальчика к обочине мостовой и слегка поддал коленом.
— Жарь!
Не чувствуя под собой ног, Петя побежал к известному дому. Мальчик шмыгнул в ворота. Стал пробираться через двор.

Проходя здесь час тому назад с Гавриком, Петя не испытывал особенного беспокойства. Точно он чувствовал себя под надежной защитой друга, ловкого и опытного. Избавленный от необходимости думать самому, он был всего лишь послушным спутником, лишенным собственной воли. За него думал и действовал другой, более сильный.

Теперь мальчик был совершенно один. Он мог рассчитывать только на самого себя и ни на кого больше.

И тотчас, в отсутствии Гаврика, мир стал вокруг Пети грозным, громадным, полным скрытых опасностей.

Опасность пряталась в каменных арках внутренней галлереи, среди зловещих ящиков и старой, поломанной мебели. Она неподвижно стояла посредине двора за шелковицей, ободранной зубами лошадей. Она выглядывала из черной дыры мусорного ящика.

Все вещи вокруг мальчика приобретали преувеличенные размеры. Громадные казачьи лошади теснились, напирая на Петю золотисто-атласными танцующими крупами. Чудовищные хвосты со свистом били по ранцу.

Чубатые казаки в синих шароварах с красными лампасами прыгали на одной ноге, вдев другую в стремя.

— Справа-а по три-и! — кричал осипший голос хорунжего.

Вырванная из ножен шашка зеркальной дугой повисла в воздухе над приплюснутыми набекрень фуражками донцов.

Петя спустился в подвал.

Он долго шел ощупью в душном, но холодном мраке, дыша пыльным воздухом сараев. Ужас охватывал мальчика всякий раз, когда его ресницы задевала паутина, казавшаяся крылом летучей мыши

Наконец он выбрался на второй двор. Здесь было пусто.

Только сейчас, среди этой небывалой пустоты, в полной мере ощутил Петя свое страшное одиночество. Он готов был броситься назад. Но тысячи верст и тысячи страхов отделяли его от улицы, от Гаврика.

В щели между вторым и третьим дворами стояла такая немыслимая тишина, что хотелось изо всех сил кричать, не щадя горла. Кричать отчаянно, страстно, исступленно, лишь бы только не слышать этой тишины.

Такая тишина бывает лишь в промежутке между двумя выстрелами.

Теперь надо было сунуть в рот пальцы и свистнуть. Но вдруг Петя сообразил, что не умеет свистеть в два пальца. Плевать сквозь зубы давно научился, а свистеть — нет. Не сообразил. Забыл.

Мальчик неловко вложил в рот пальцы и дунул. Но свиста не вышло. В отчаянии он дунул еще раз, изо всех сил. Ничего. Только слюни и шипение.

Тогда Петя собрал все свои душевные силы и, зажмурившись, крикнул:

— Э-э!

Голос прозвучал совсем слабо. Но гулкое эхо тотчас наполнило пустую цистерну двора.

Однако никто не откликнулся. Тишина стала еще страшней.

Вверху что-то оглушительно щелкнуло и вниз полетело колено сбитой водосточной трубы, увлекая за собой куски кирпича, костыли, известку.

— Э-э! Э-э! Э-э! — закричал мальчик изо всей мочи.

Наверху приоткрылась ставня и выглянуло незнакомое лицо.

— Чего кричишь? Принес? Беги сюда наверх! Живенько!

И лицо скрылось.

Петя в нерешительности оглянулся. Но он был совершенно один, и не с кем было посоветоваться. Вверху опять щелкнуло, и вниз полетел большой кусок штукатурки, разбившийся вдребезги у самых петиных ног.

Съежившись, мальчик бросился в дверь черного хода. Путаясь в полах слишком длинной, сшитой «на рост», шинели, он стал взбираться по гремучей железной лестнице наверх.

— Давай, давай, давай! — кричал сверху сердитый голос.

Тяжелый ранец больно колотил по спине. Раздутые карманы стесняли шаг. Сразу стало жарко. Фуражка внутри стала горячая и мокрая. Пот лился на брови, на глаза. Лицо пылало.

А раздраженный, умоляющий голос продолжал кричать сверху:

— Давай! Давай же, ну тебя к чорту!

Едва Петя, тяжело дыша и даже высунув от напряжения язык, добрался до площадки четвертого этажа, как его сразу схватил за плечи человек в хорошем, но грязном пальто с барашковым воротником, без шапки, с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу.

Его франтоватые усики и бородка совершенно не соответствовали воспаленному простому курносому лицу, осыпанному известкой.

Отчаянные, веселые и вместе с тем как бы испуганные глаза жарко блестели под побелевшими от извести, волосистыми бровями. У него был вид человека, занятого какой-то очень трудной и, главное, очень спешной работой, от которой его оторвали.

Он ужасно торопился назад. Он схватил Петю сильными руками за плечи.

Мальчику показалось, что сейчас его будут трясти, как папа в минуту ярости. Петя даже присел от страха. Но человек ласково заглянул в глаза.

— Принес? — торопливым шопотом спросил он и, не дожидаясь ответа, втащил мальчика в пустую кухню какой-то квартиры, в глубине которой — Петя сразу это почувствовал — делалось что-то громадное и страшное, чего обычно в квартире делаться не может.

Человек бегло осмотрел Петю и сразу же, не говоря ни слова, полез в его оттопыренные карманы. Он торопливо стал вытаски-

вать из них грузные мешочки. Петя стоял перед ним, расставив руки.

Что-то было в этом незнакомом человеке с усиками и бородкой очень знакомое. Несомненно, где-то Петя его уже видел. Но где и когда?

Мальчик изо всех сил напрягал память, но никак не мог вспомнить. Что-то ему мешало, сбивало с толку. Может быть, усики и бородка?

Между тем, человек проворно вытащил из карманов мальчика все четыре мешочка.

— Все? — спросил он.

— Нет, еще есть в ранце.

— Молодец, мальчик! — закричал человек. — Ай, спасибо! А еще гимназист!

Он в знак восторга крепко взялся за козырек петиной фуражки и глубоко насунул ее мальчику на самые уши.

И тут Петя увидел возле самого носа закопченную, тухло пахнущую порохом, коренастую руку с маленьким голубым якорем.

— Матрос! — воскликнул Петя.

Но в этот же миг в глубине квартиры что-то рухнуло. Рванулся воздух. С полки упала кастрюля.

Матрос мягким, кошачьим движением бросился в коридор, успев крикнуть:

— Сиди тут!

Через минуту где-то совсем рядом раздалось под ряд шесть отрывистых выстрелов. Петя поскорей сбросил ранец и стал его расстегивать дрожащими пальцами.

В это время из коридора в кухню, шатаясь, вошел Терентий. Он был без пиджака, в одной сорочке с оторванным рукавом. Этим рукавом была перевязана его голова. Из-под перевязки по виску текла кровь. В правой руке он держал револьвер.

Увидев Петю, он хотел что-то сказать, но махнул рукой и сперва напился воды, опрокинув лицо под кран.

— Принес? — спросил он, задыхаясь, между двумя глотками воды, шумно бившей в его неправдоподобно белое лицо. — Где Гаврюшка? Живой?

— Живой.

Но, как видно, расспрашивать не было времени. Не вытирая с лица воду, Терентий тотчас стал доставать из ранца мешочки.

— Все равно не удержимся, — бормотал он, еле стоя на ногах. — Будем по крышам уходить... Они тама орудие ставят... А ты, мальчик, тикай, а то тебя здесь подстрелят... Тикай скорей! Спасибо, будь здоров.

Терентий на минуту присел на табурет, но тотчас встал и, обтирая револьвер о колено, побежал по коридору туда, откуда слышались беспрерывное хлопанье выстрелов и звон разбивающихся стекол.

Петя схватил легкий ранец и бросился к двери. Но любопытство все-таки заставило его на минуту задержаться и посмотреть в глубину коридора. В раскрытую настежь дверь Петя увидел комнату, заваленную сломанной мебелью.

По середине стены, оклеенной обоями с коричневыми букетами, Петя заметил зияющую дыру с обнажившейся решеткой дранки.

Несколько человек, припав к подоконникам высаженных окон, часто стреляли вниз из револьверов.

Петя увидел перевязанную голову Терентия и барашковый воротник матроса. Мелькали еще какая-то черная косматая бурка и студенческая фуражка.

И все это плыло и тонуло в синеватых волокнах дыма.

Матрос стоял на одном колене, у подоконника, на котором лежала спальная тумбочка, и поминутно высовывал наружу дергающуюся от выстрела руку.

Он кричал бешеным голосом:

— Огонь! Огонь! Огонь!

И среди всего этого движения, беспорядка, суеты, дыма лишь один человек — с желтым, равнодушным, восковым лицом и черной дыркой над закрытым глазом — был совершенно спокоен.

Он неудобно лежал поперек комнаты, лицом вверх, на полу, среди пустых обойм и гильз.

Разбитое пенсне, зацепившееся черным шнурком за его твердое и белое ухо, лежало рядом с головой на паркете, запудренном известкой. И тут же на паркете аккуратно стояла очень старая техническая фуражка с треснувшим козырьком.

Петя посмотрел на этого человека и вдруг понял, что это — труп.

Мальчик бросился назад. Он не помнил, как выбрался и добежал до подворотни, где его ждал Гаврик.

— Ну как, отнес?

— Отнес.

Петя, захлебываясь, рассказал все, что видел в страшной квартире.

— Они все равно не удержатся. Будут уходить по крышам...— шептал Петя, тяжело дыша. — Там против них пушку ставят...

Гаврик побледнел и перекрестился. Первый раз в жизни Петя видел своего друга таким испуганным.

Совсем недалеко, почти рядом, ударил орудийный выстрел. Железное эхо шарахнуло по крышам.

— Пропало! — закричал Гаврик в отчаянии. — Тикай!

Мальчики выскочили на улицу и побежали по городу, в третий раз изменившемуся за это утро.

Теперь в нем безраздельно хозяйничали казаки. Всюду слышалось льющееся цоканье подков.

Чубатые сотни донцов, спрятанных во дворах, стремительно выскакивали из ворот, лупя направо и налево нагайками.

От них некуда было спрятаться: все парадные и ворота были наглухо заперты и охранялись нарядами войск и полиции. Каждый переулок представлял собой ловушку.

★

СНЕГ И КРОВЬ

НИКОЛАЙ РАВИЧ

Пьеса «Снег и кровь» советского драматурга Равича посвящена героям восстания 1905 г. на Казанской железной дороге. В помещаемых отрывках рисуется подвиг славного машиниста Ухтомского, выведшего из-под обстрела карательного отряда поезд с дружинниками.

Акт II

Картина пятая

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Ночь на 13 декабря 1905 года. В маленькой комнатке дежурного по станции Быково керосиновая лампа освещает лица четырех человек, склонившихся над картой. Это Ухтомский, Никодим, Котляренко и старый рабочий из тех, что стояли часовыми на вокзале. В углу свалены винтовки, на столе чайник, буханка хлеба, смятые бумаги. В углу комнаты висит небольшая казенная икона, и лампада горит перед ней неярким светом.

Котляренко. В Москве восстание затухает, а может быть, и совсем ликвидировано. Дружинники утомлены, никакой связи с линией мы не имеем. Говорят, в Люберцах казаки.

Ухтомский. Что же ты предлагаешь?

Котляренко. Оружие спрятать и разойтись по домам.

Ухтомский. Мы должны исполнить свой долг до конца. Сейчас, когда каждая винтовка на счету, бросать оружие нельзя. Надо прорваться в Москву и, если это последнее усилие ничего не даст, вернуться и разойтись.

Старый рабочий. Лексей Владимирович, ты подумай: народ устал, патронов мало. Вон, говорят, николаевцы-то и бастовать бросили. Куды нам против всей Расеи?

Ухтомский. Россия за нами, а за ними полицейские да офицеры.

Старый рабочий. Все равно силы нет: вон сколько наших побили.

Никодим. Потому что глупости делали — скопом перли. Московский комитет большевиков что говорит в своей инструкции? *(Надевает очки и читает).* «Не действуйте толпой, составляйте отряды в три-четыре человека». А мы что делали? Прем толпой, думаем: испугали! Дальше: «Не занимайте укрепленных мест,

их всегда можно взять или разрушить артиллерией». А мы навалим бревен, досок, чорт-те чего в кучу, повесим флаг и сидим на ней, как сычи, — бар-р-икада! Потом в инструкции сказано: «Солдат не трогайте, а приставов, околоточных бейте». А наши ребята поймают околотыря, а тот на колени: «Простите, братцы, больше не буду». Они его и отпускают. А он же потом все высмотрит, возвращается с отрядом и нас же бьет.

Старый рабочий. Как мы военному делу не ученые...

Никодим. Так зато большевистский комитет вас и учит, как действовать. Вот и теперь еще неизвестно, что в Москве происходит, может быть, семеновцы вокзал очистили, а вы уже: бросай оружие!

Котляренко. А если в московский комитет кого-нибудь послать спросить, как быть: расходиться или продолжать восстание?

Никодим. А до этого сидеть сложа руки? Там товарищи сражаются, умирают, а мы ответа ждать будем?

Старый рабочий. Никод-и-и-им, так ведь помереть-то никогда не поздно.

Ухтомский. Нет, товарищи, бывает, что и умереть нужно во-время. Ну, вот что, кончать надо: время дорого. Делаем последний рейс, — прорываемся в Москву. А тебя, Котляренко, пошлем к большевикам, пусть они скажут, как дальше быть. Переоденешься, в Перове выйдешь, дальше пойдешь пешком в Москву. (*К старому рабочему*). Собирай ребят, двинули.

(Старый рабочий выходит).

Котляренко. Слушай, Алексей, а что, если попадем в засаду — сколько жен, детей будут нас проклинать? Может быть, лучше разойтись во-время?

Ухтомский. Ты мою Сашу знаешь. У нас двое детей — больше у нее никого нет, она сирота. Ты думаешь, мне легко, а?

Котляренко. Мы свой долг выполнили.

Ухтомский. Нет, выполнить свой долг перед революцией — это значит сделать до конца все, что в твоих силах, не останавливаясь перед страхом смерти.

Никодим. Правильно, Алексей.

Ухтомский. Вот они — большевики — они умеют драться до конца. Недавно мы хоронили Николая Баумана. Это был человек! И я верю: мы умрем, но вслед за нами придут они и сделают то, что мы не смогли сделать.

Никодим. Мы-то что. Вот наши дети будут бойцы!

Котляренко. Увидимся ли мы после этого рейса?

Ухтомский. На всякий случай попрощаемся.

Они обнимают друг друга. Котляренко отворачивается, на глазах его слезы.

Котляренко. Ну, пошли.

Все трое поворачиваются к двери. Неожиданно она открывается. Морозный воздух врывается вслед за женщиной в полушубке, закутанной в пла-

ток. Она ведет за собой мальчика и девочку. Женщина разматывает платок: она молода, волосы расчесаны на пробор, в больших глазах застывшее выражение ужаса.

Ухтомский. Саша!

Саша. Алексей, я за тобой. В Люберцах казаки, московский вокзал занят солдатами, ехать некуда. Уходи, пока не поздно.

Ухтомский (*растерянно*). Нельзя, Саша. Вот в последний рейс съездим и вернемся. Ты, думаешь, — одна? У каждого есть



Похороны убитого черносотенцами Н. Э. Баумана

жена, дети, родители. Как же мне уйти? Какая мне после этого вера будет?

Саша. Мы две станции пешком прошли по снегу, за тобой. Вот я и детей привела. (*К детям*). Ну что вы стоите, как каменные? Зовите ж отца домой!

Девочка. Папа, папа, пойдем домой.

Мальчик. (*серьезно*). Тятька, пошли домой.

Ухтомский. Нельзя, не мучайте вы меня, не могу! (*Выбегает*). Вслед за ним выходят Никодим и Котляренко.

Саша. Алексей, А-лек-сей! (*Падает, ее крик перекрывается паровозными гудками*).

Мальчик (*толкает мать*). Мамка, вставай, мамка, не плачь! (*Садится около нее на пол*). Мамка, я ногу натер! (*И он снимает свой смешной, маленький и жалкий валенок*). Вот тут... больно... а папка ушел.

Снова порыв ветра, звук открываемой двери, похожий на выстрел. Клубы холодного воздуха и фигура Ухтомского — он вернулся.

Саша (*приподнимается*). Вернулся... милый!

Мальчик (*прыгает на одной ноге, держа валенок в руках*). Папаня, папаня пришел!

Ухтомский стоит неподвижно. Мальчик допрыгивает до него и бросается к нему на шею.

Ухтомский (*механически берет валенок из его рук, другой рукой прижимает сына к груди. Жена вскакивает и бросается к нему. Он стоит, закрыв глаза. Ему трудно стоять — он качается*). Не идут ноги, как каменные!.. Какая тяжесть!..

В тишине чувствуется дыхание мужчины, женщины и ребенка. Кажется, что слышно, как бьется сердце каждого из них. Паровозный гудок свистит истерически и визгливо. Ухтомский вырывается из их объятий и отступает к двери, прижимая к своей груди валенок сына.

Саша. Куда же ты, Алексей?.. Куда же ты?..

Мальчик. Папань, папань, валенку отдай — холодно мне!

Ухтомский (*пятится, попадает в белый морозный пар, задевает головой о притолку. Он уже вывалился наружу, но его протянутые руки еще тянутся к семье*). Саша, прости!.. Береги детей!..

Саша (*поворачивается, падает лицом на грязный стол, потом поднимает голову, видит в углу икону и горящую лампаду перед ней. Хватает буханку хлеба, стакан—все, что она может найти, и яростно мечет в икону*). Вот тебе, вот тебе вот тебе!..

Акт III

Картина шестая

СОБСТВЕННЫЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПАРОВОЗ

Внутренняя часть паровоза Б-281. В маленьком окошечке мелькают подмосковные леса. Акулинин — помощник машиниста — подбрасывает уголь в топку. Старый рабочий (Сулема-Самойлов) и Ухтомский смотрят в окошко. Слышатся лязг и грохот вагонов, скрип осей, перестукивание буферов. Огонь полыхает из топки, освещая лица.

Акулинин (*стараясь перекричать грохот*). Ничего не видать?

Ухтомский. Пока не видно.

Старый рабочий. Вот и товарная Москва-Сокольники.

Ухтомский. Придержи ходу.

Акулинин. Хорошо.

Старый рабочий. Смотри, Иванов идет.

Ухтомский. Какой Иванов?

Старый рабочий. Машинист из московского депо.

Ухтомский. Э-э-й, товарищ Иванов, остановись!

Голос. Че-го?

Ухтомский. Остановись, говорят. *(Паровоз замедляет ход, шум и лязг затихают)*. В Москву линия свободна?

Голос. Свободна.

Ухтомский. А вокзал занят?

Голос. Никого нет — были, да ушли.

Ухтомский. Ну, спасибо. *(К Акулинину)*. Пошли на Москву.

Снова усиливаются грохот и лязг.

Старый рабочий. Покровская община показалась.

Ухтомский. Смотри, на Николаевской линии состав стоит.

Акулинин, старый рабочий и Ухтомский перегибаются в окошко и всматриваются в даль.

Акулин. И платформа, крытая брезентом.

Ухтомский. И никого не видно.

Старый рабочий. А вон паровоз идет.

Ухтомский. Где?

Акулинин. Сзади нас — наперерез.

Ухтомский. Засада. Акулинин, пару, полный ход назад.

Рабочий. Солдаты!

Доносятся слова команды и выстрелы.

Ухтомский (*почти вываливается наружу, кричит в сторону вагонов*). Ложись, все ложись! Акулинин, пару!

Акулинин. Котел взорвется.

Ухтомский. Ложись, да ложитесь вы, черти! *(Хватает молоток, зубило и деревянную доску. Начинает вбивать клинья в клапаны)*.

Акулинин (*шатаясь, приподнимается*). Ты с ума сошел — смотри, пятнадцать атмосфер. Стой! Довольно! *Хватает Ухтомского за руки)*.

Ухтомский (*с силой отбрасывает его*). Ложись и молчи. Взорвемся или пролетим — другого выхода нет. (*Продолжает забивать.*)

Акулинин закрывает лицо руками и падает на пол. Паровоз качается, все подпрыгивает, искры окружают заревом летящий поезд. Сквозь страшный грохот и лязг доносятся треск пулеметов, ружейные выстрелы и крики. Понемногу все стихает. В окошке паровоза пейзаж замедляет свой бег. Поезд остановился. Акулинин и старый рабочий спрыгивают с паровоза. Их окружают дружинники. Слышатся голоса, крики, беготня людей. На паровозе остается один Ухтомский. К нему поднимается Никодим.

Ухтомский. Ну?

Никодим. Ранено шесть человек, убиты Алфимов и Коротков.

Ухтомский. Чудом вырвались.

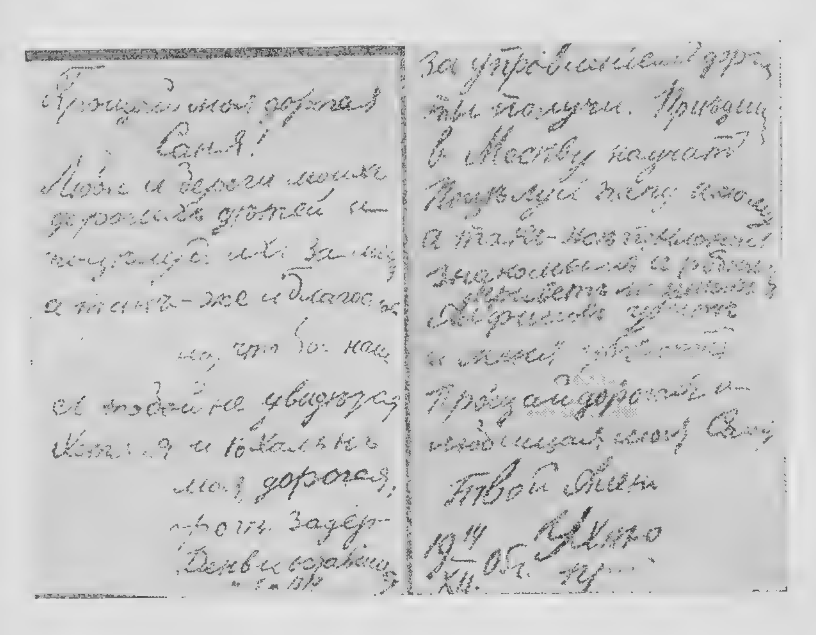
Никодим. Не будь тебя, никто бы не остался в живых. Но как ты решился? Ведь котел должен был взорваться.

Ухтомский. Должен был, а не взорвался. Это же собственный его величества паровоз.

Акулинин (*влезает на тендер*). Из паровоза вода и нефть вытекают. Оба бака пробиты. Дальше ехать нельзя.

Ухтомский. Ехать больше некуда.

Никодим. Стало быть, конец.



Прощай моя дорогая
Саня!
Люби и береги моих
дорогих детей и
[illegible]
а также и благос[illegible]
[illegible] что бог нам
[illegible] не увидимся
[illegible]
моя дорогая,
[illegible] Задер-
[illegible]

За управление дор[illegible]
ты получи. Приедеш
в Москву получат
[illegible]
а также [illegible]
знакомыми с [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Прощай дорогая и [illegible]
[illegible]
Твой Антон
19 14/XII 05 г. Ухтом[illegible]

Предсмертное письмо Ухтомского жене

Ухтомский. Раненых нужно сдать в воинский санитарный поезд, остальным разойтись. Оружие спрятать — все кончено. Мы разбиты, но не побеждены. Прощайте, товарищ. Погоди, Акулинин. Погоди, Сулема. (*Вынимает из бумажника деньги, делит между ними*). Прощай Никодим. Передай товарищам-большевикам привет. (*Обнимает его, спрыгивает с паровоза и уходит.*)

Издали слышатся гудок и шум приближающегося поезда.

Никодим. Вагон с ранеными и оружием прицепить к запасному паровозу. Остальные за мной!

☆

БОЕВЫЕ ДНИ В РОСТОВЕ

(Отрывок из повести «Карьера подпольщика)

С. ВАСИЛЬЧЕНКО

Матвей только что возвратился из Тихорецкой, где он проводил митинг. В воздухе уже запахло реакцией; кое-где начались разгромы рабочих организаций. Зная это, Матвей сговорился с руководителем Тихорецкой группы профессионалом Кубанцем, что тихорецкие товарищи, обезоружившие при Матвее полицию и вскрывшие в каком-то товарном вагоне ящик с полсотней берданок, по его вызову немедленно приедут в Ростов, на помощь дружине, если здесь начнется восстание.

Первый же встреченный Матвеем на вокзале товарищ сообщил ему о событиях последних суток в Ростове: только что освобождено из тюрьмы под угрозой новой всеобщей стачки несколько внезапно арестованных членов президиума Совета с его председателем во главе. По поводу провокационного ареста на завтра в помещении Совета назначен общегородской митинг.

Матвей приехал поздно вечером и потому поделиться мнением о возобновлении старых приемов самодержавия в борьбе с организацией рабочих ни с кем не мог. Но как только наступило утро, он уже был в Совете.

Председательствовал и руководил всей работой Совета рабочих депутатов Милон Гурвич. У арестованного и только что освобожденного меньшевика было упадочническое настроение...

...Большинство комитета решительно возражало против всех выступлений, которые могли повлечь за собой применение оружия со стороны правительства. Но это большинство, во-первых, не могло указать действительных средств борьбы в случае повторения арестов уже в массовом масштабе с попыткой разогнать Совет, а во-вторых, оно боялось оказаться перед лицом раскола, если бы приняло решение, связывающее руки «боевикам» — группе, выразителями взглядов которой в комитете являлись Сабинин и Айзман, а вне его — влиятельный Матвей, не входивший в комитет.

Поэтому комитет не принял никакого решения, и Сабинин с Айзманом ушли с заседания, считая себя в праве поступать, как это будет диктоваться обстоятельствами.

Милон Гурвич терялся. Явившись в помещение столовки в самом начале сбора наэлектризованной арестами публики, он разговаривал то с одной, то с другой группой товарищей, прощупывал настроение массы, зная, что он и сегодня должен быть ее гегемоном, как он был им со времени всеобщей забастовки, и он колебался, не зная, что ему делать.

Матвей, чувствуя, что его единомышленники должны уже что-нибудь предпринять, стал искать Сабинина и вошел в столовку.

Полминуты он смотрел, как в два входа длинного и высокого корпуса столовой вливаются рабочие, работницы и горожане, желавшие сознательно отнестись к новой, свободной жизни.

Явившиеся, встречая знакомых, немедленно разбивались на группы, возбужденно заговаривали о состоявшемся первом покушении на Совет и беспокойно ждали начала митинга, чтобы узнать, что им скажут вожаки.

Народу все прибавлялось. Матвей видел по тем взглядам, какими обменивались и члены организации и неорганизованные рабочие, что они ждут действий, что если действий в этот переломный момент не последует, то масса потеряет доверие к вожакам.

Он намеренно подошел к разговаривавшему с одним товарищем Гурвичу. Он чувствовал, что последний испытывает колебания.

— Товарищ Гурвич, где Сабинин?

У Гурвича вспыхнуло раздражение. Он понял желание наблюдательного Матвея проверить свое впечатление о нем.

— Не знаю! — резко ответил он. — Вам это лучше знать...

Матвея этот ответ не смутил. Ему больнее было то, что рабочие с митинга уйдут, очевидно, не с единодушным настроением твердой решимости, а расслабленные неопределенными или противоречивыми лозунгами.

— Вы сердитесь... Это дело ваше. Но плохо, если в минуты сражения руководители не знают, где их боевые помощники. Вы в этом убедитесь, вероятно, сами.

Затем Матвей вышел из столовки.

— Где Сабинин? — спросил он одного дружинника, стоявшего в нескольких шагах от входа в столовку, очевидно, в качестве сторожевой охраны.

— Он на вокзале с товарищами. Будет дело! Боевая дружина разоружает жандармов.

— А! Давно они пошли туда?

— Только что!

— Хорошо!

Матвей, слегка побледнев, повернулся к проходной будке и почти бегом направился через двор мастерских на вокзал.

В три минуты он пересек двор, запасные пути и очутился в помещении третьего класса.

Здесь, возле дежурной комнаты жандармов, он увидел Сабинина с несколькими товарищами, державшими здоровяка-жандарма, который пытался вырвать свою голову из объятий Анатолия, в то время как несколько дружинников снимали с него револьвер и срывали с пояса саблю. Другая группа дружинников тщетно пыталась выломать дверь дежурки, в которой, очевидно, кто-то находился.

Возле этой группы стоял техник Макс, работавший в тайной лаборатории.

Матвей взглянул на телефонный провод, идущий от дежурки, и моментально оценил положение.

Если только из сторожки жандармы догадались позвонить, куда следует, то помощь им должна была появиться очень быстро.

Он подскочил к технику.

— Бомбу, Макс!

Техник вздрогнул, обернулся и, увидев не допускающее возражений лицо Матвея, послушно сунул ему квадратную жестяную коробку.

— Прочь от дверей! — махнул Матвей товарищам, силившимся палашом взломать замок на дверях и тщетно дергавшим скобу. — Бросаю бомбу... Раз!

Дружинники быстро отшатнулись в сторону.

Матвей ударом кулака вышиб полуаршинное оконце сторожки. Другую руку с бомбой он поднес к оконцу.

— Кому жизнь дорога — руки вверх! Выходи! Бросаю бомбу! Слышите, держиморды? Раз! Два!

— Обожди, выходим!

Прежде чем Матвей произнес «три», сторожка распахнулась, и два жандарма с поднятыми руками один за другим показались на пороге.

Моментально несколько дружинников бросились на них, схватывая их за руки и пояса, и они были обезоружены.

— На бомбу, Макс! — отдал Матвей коробку технику.

Только что это было сделано, как снаружи что-то ухнуло и раздалась пачечная трескотня стрельбы. Окна вокзала зазвенели, и пули завизжали в помещении мимо дружинников.

— Товарищи, стреляют!..

Еще ранее из помещения разбежались пассажиры и вокзальные завсегдатаи — бродяги, босяки, обычно наполнявшие вокзал.

...На перрон ринулась дружина, спасаясь от выстрелов, в составе двух десятков человек. Стреляли по вокзалу со стороны его подъезда. Выскочил и Матвей.

— Обойдемте их сзади! — скомандовал на бегу Сабинин. — За мной к багажным воротам!

Подчиняясь этой команде, дружинники последовали за юношей, который, пробежав полсотни шагов, вывел всех к небольшим воротам в проулочек, образованный фасадом вокзала и багажными пакгаузами. Когда они вышли за угол этого проулка, то оказались вдруг в тылу роты солдат, которым вышедшие из подъезда вокзала несколько разведчиков сообщали о результате стрельбы. Убит был какой-то пассажир-оборванец, не успевший убежать, когда началась стрельба. Площадь вокзала уже была наполнена толпой любопытных, почти вплотную обступивших солдат сзади, и часть дружинников смешалась с этой толпой. Другую часть дружинников Сабинин увлек с собой в лоб солдатам.

Анатолий вдруг оказался перед растерявшимся и встрепанным маленьким офицером, командовавшим ротой. Юноша, раскрыв одной рукой тужурку, а в другой держа винтовку, которую уже успел где-то раздобыть, выпрямился перед солдатами.

— Вы что же, темные, бестолковые люди, стреляете исподтишка, как разбойники? Вам разве не стыдно, а?.. Стреляйте, попробуйте, прямо в глаза дружинникам. Вот моя грудь, если у вас не дрогнет рука. На вашего брата-рабочего, ну! Командуй, офицер, чтобы стреляли, ну!

Это была удивительная минута. Впереди солдат горсточка дружинников из пяти человек, сзади шеренги — толпа, среди которой несколько десятков человек щелкали револьверными курками, и нельзя было сказать, в чью голову из них вопьется первый заряд... Офицер, на которого напирал бурно волновавший солдат Сабинин, непроизвольно подался назад и крикнул:

— Стреляйте! Пли!

Но никакой подготовительной команды перед тем он не произнес. Поднявшие было ружья несколько солдат нерешительно взялись за курки, но тут же опять опустили винтовки. Очевидно, они не знали, что делать.

Когда офицер обернулся, то увидел позеленевшие от испуга и в то же время растерявшиеся и нерешительные лица солдат и понял, что рота в результате решительного на нее напора деморализована. Только одно оставалось ему делать теперь, чтобы рота поняла его, и он это сделал. Он махнул рукой.

Всеобщий вздох облегчения вырвался у участников этого инцидента и у зрителей.

— На плечо! Напра-во! Левое плечо вперед! Марш!

Роте дали дорогу, она зашагала...

...Сабинин, естественно как-то сделавшийся распорядителем вооруженных десятков и добывший уже себе где-то гнедого скакуна, на котором и мотался из конца в конец Темерника, проверяя посты, передал сообщение о том, что солдаты, заняв вокзал, пробираются к мастерским. Тотчас же дружинники засели в ближайшем к вокзалу сборном цехе, рассыпавшись по паровозам, примостившись за станками и забравшись даже под крышу, на рукава подъемных кранов.

Им не долго пришлось ждать.

Рота солдат, обманутая неподвижной тишиной станков и паровозов, вошла в ворота цеха и гуськом побежала через цех к выходу во двор. Не дав им сделать и десятка шагов, дружинники открыли свою беспорядочную стрельбу, которая заставила солдат ринуться обратно, производя в своих рядах панику и опустошение. Цех был очищен. Дружинники, оставив часовых и сняв оружие с убитых, пошли к штабам.

Через полчаса после этого на пустыре снова показалась батарея, занявшая свою прежнюю позицию, и Темерник начали обстреливать из орудий. Дружинники тем временем возводили в нижних улицах баррикады... Стрельба из орудий, которую вели усмирители, носила характер дикой беспощадности. Не имея на Темернике никакой определенной цели, теперь, после того как Совет был разгромлен, артиллерия посылала свои разрушительные снаря-

ды по всем направлениям Темерника, разрушая дома и разнося смерть на удачу. Трем сотням дружинников эти выстрелы не причиняли никакого вреда, если не считать того, что все они трепетали за своих родственников.

Но двухчасовая канонада была только подготовкой. По улице, где разместились штабы, промчался на лошади Сабинин, призывая отбивать наступление, предпринятое на Темерник со стороны Кавалерки по направлению к церкви. Отсюда командование Макеева предприняло правильный штурм Темерника, пустив в ход пехоту и кавалерию. Тотчас же десятки дружинников, выскакивая из штабов, столовок и своих временных квартир, стали занимать позицию за будочками базара на церковной площади... Часть бойцов расположилась за баррикадами. Прибежавший на одну из этих баррикад Матвей увидел здесь вдруг Захара Михайлова с винтовкой, которого он когда-то со Ставским провожал за границу. Оказалось, что мастеровой только что приехал из своих странствований и немедленно явился в ряды повстанцев. Матвей крепко пожал ему руку и спустился ближе к базару, где уже началась сдерживаемая начальником десятков стрельба по показавшимся ротам солдат. Последние увлеклись и, поощряемые ничтожными результатами стрельбы немногочисленных вначале дружинников, ворвались на подъем Коцебу. Их было две роты. Но здесь они вдруг очутились в адском огне рабочих, в руках которых как-будто не только начала стрелять каждая палка, но стали также бухаться и бомбы. Это явились вызванные Сабининым вспомогательные отряды и открыли огонь по ротам. Сам Сабинин, увидев очутившихся в поселке солдат, спешился с коня и, показывая пример мужества, прицелился с колена, опустившись за прикрытие тумбочки, чтобы стрелять. Двое товарищей ринулись, чтобы увлечь его в более безопасное место. Но только что они подбежали к своему командиру, как Анатолий тихо вскрикнул, и ружье выпало у него из рук. Он был убит...

* *
*

...Утром Матвея разбудила орудийная пальба.

Так рано начинать бомбардировку Темерника усмирители еще не пробовали ни разу. Догадываясь, что в их действиях наметилось что-то новое, Матвей поспешно оделся и вышел на улицу, где уже происходило беспокойное распределение отрядов дружинников по различным участкам.

От первого же десятка Матвей узнал, что Темерник окружен. Матвей посчитал, сколько еще осталось у него обойм для маузера, который держал под рукой, и, скрипя по свежему снегу, пошел к той удаленной части Темерника, которая примыкала к дачам, и где, по словам дружинников, наблюдалось наибольшее скопление солдат.

На улице он встретил Захара. Бесприютный подпольщик присоединился к Матвею, и оба они свернули на большую Байковскую

улицу, которая всем своим фасадом лежала против возвышенности городских окраин и пустырей, проходя вдоль глинистой речушки, только и отделявшей ее от территории города. Здесь, сделав несколько шагов, оба товарища земедлили шаг и остановились. Улица представляла собой позицию, по пространству которой не переставали свистеть мимо ушей пули, впивавшиеся в стены.

Вдоль улицы, прикрываясь заборами, столбами и углами домов, в разных позах занимали места отстреливавшиеся дружинники. Они направляли свои выстрелы на кирпичные заводы, глиница и в забор большого сада, находившегося по ту сторону речушки.

Увидев, что площадь скрещения двух улиц им не пройти, Матвей указал Захару на двор углового дома, возле которого они стояли, и предложил пройти двором.

Так они и сделали.

Им пришлось перелезть во дворе через крышу какого-то сарайчика. Но, сделав это, они спустились под безопасным навесом соседнего дома и, таким образом, оказались на Байковской.

Путешествие по Байковской представляло собой ряд полных риска перебежек под градом свистящих пуль, остановок и проскальзываний в полусогнутом положении возле низких заборов. Везде, где Матвей проходил мимо дружинников, его останавливали одним и тем же сообщением:

— Товарищ Юсаков, патронов нет!

— Товарищ Юсаков, последними патронами отстреливаемся!

Да, отсутствие патронов для той сотни или двух сотен винтовок и берданок, которые находились у дружинников, приближало дело к роковому исходу...

...Стемнело. Вместе с наступлением сумерек прекратилась стрельба. Дружина выстроилась возле белого одноэтажного дома, где был в течение недели штаб повстанцев.

В полной тишине дружинники очередными небольшими партиями входили в дом, нагружали карманы порохом, конфискованным в начале борьбы из одного вагона, запасались и револьверными патронами и снова становились в шеренгу.

Матвей, Бекас и Кубанец наблюдали за тем, как постепенно очищалась большая передняя комната школы...

Когда все было собрано, Матвей и Бекас одному из десятников-нахичеванцев поручили вести первый десяток. За ним двинулись другой, третий и остальные.

К начальникам подошел масленщик Журавлев, карауливший в этот вечер арестованных.

— Дядя Матвей, что делать с арестованными? — указал он на тыловое отделение школы. Там находились пленный казак, городовой и присланный охранкой для сыска старенький чинуша консистории, раскрытый дружинниками. — Разрешите послать их к Адаму и Еве на свидание...

Матвей вопросительно посмотрел на Бекаса.

— Зачем? Закройте их, и пускай сидят.

Бекас махнул рукой.

— Как хотите, а то тремя провокаторами стало бы меньше...

Тронулся, наконец, последний десяток. Матвей, Бекас и Журавлев последовали за ними... На улице к ним вышли из-под ворот одного дома двое пожилых рабочих.

— Товарищи... значит, уходите? — спросили они тихо.

— Да.

— А как же мы теперь... Завтра что здесь будет на Темернике?

— Вывесите белые флаги... Увидят, что дружинников нет, побесятся и перестанут, — сказал Бекас.

— Все равно, товарищи, у нас стрелять больше нечем: нет патронов, — добавил Матвей. — Прощайте, товарищи!

— Прощайте!



ВИНТОВКА

Н. ПОЛЕТАЕВ

Посвящается товарищу Седому

У других — портреты теток, дядей,
У меня — винтовка на стене.
Я, по ржавчине ее любовно гладя,
Вечером в задумчивой балладе
Шлю привет блистательной весне.

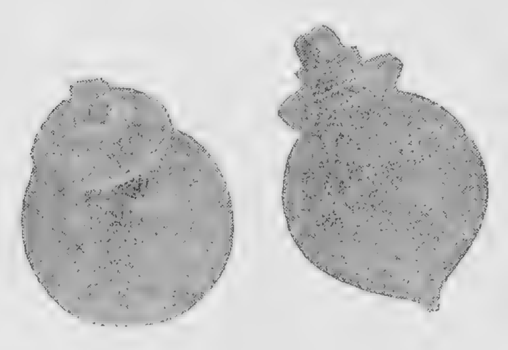
Были дни: костер трещал, сверкая
В белой мгле застуженных болот.
Эх, моя винтовка золотая!
Только вот с тобой и вспоминаю
Тысяча девятьсот пятый год.

Непростительно тогда был молод —
Было мне шестнадцать лет.
Легким перышком в руках был молот,
Были нипочем тюрьма и голод.
Что ж! Дружинник был ведь — не поэт.

Да, дружинник был я — что и надо:
Поворотливый, расчетливый, лихой,
Против злой дубасовской блокады
Я на Брянке собирал отряды,
А на Пресне воевал Седой.

Где теперь курчавая папаха?
Где ты, куртка куцая моя?
Уж задали ж мы буржуям страху!
А потом с почетом — кто на плаху,
Кто пешком в сибирские края.

Да, у других — портреты теток, дядей,
А меня винтовка дома ждет,
И, по ржавчине ее священной гладя,
Я пою в задумчивой балладе
Тысяча девятьсот пятый год.



Бомбы «македонки», употреблявшиеся рабочими во время восстания



ЖИЗНЬ АВТОНОМА ЩЕРБИНЫ

АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ

«Жизнь Автонома Щербины»—советского писателя Карцева—первоначально является вступлением к его роману «Магистраль», но по существу это вполне самостоятельное произведение. Печатаемые отрывки освещают борьбу дружинников, рабочих Екатерининской железной дороги против карательного отряда.

...Автоном Щербина, долго скрывавшийся под чужой фамилией, объявился на белом свете только лет через семь: теперь он — во избежание недоразумений — устроился там, где угля было много, и наилучшего.

Одна из самых молодых в то время железных дорог, Екатерининская, была полна рабочим людом, плохо покорявшимся произволу всяческих начальств, и Автоном, добравшись сюда, почувствовал себя, как рыба в воде. В депо он значился женатым, и некоторые из товарищей подтверждали, что Автоном Щербина привез с собой жену, но жила она где-то в деревне, а сам Автоном жил в казарме холостым. Молчаливый, очень серьезный для своих

двадцати пяти лет, всегда аккуратно побритый, ездил он — уже помощником машиниста — мимо грязных шахт, рудников, мимо закоптелых железоделательных заводов, встречался с десятками и сотнями знакомых и незнакомых людей, и с каждым рейсом паровоза становилась ему понятней, родней пролетарская эта сторона, и новые мысли будила в нем новая железная дорога, так не похожая на другие, затерявшиеся в российских полях и лесах...

Автонома товарищи уважали за трезвость, за серьезный и отзывчивый характер. Но лишь немногие знали о его участии в забастовке тысяча восемьсот девяносто пятого года, как и о том, что делал Автоном за все годы жизни под чужим именем...

Еще меньше знало начальство. Подобно многим другим, он умел теперь оставаться незаметным для всяких властей и год, и два, и дольше... Уже тогда решил он:

«На всю жизнь останусь железнодорожником».

Но ясно, не пафос развития имперского транспорта увлекал солдатского сына, а нечто другое, обнаружившееся лишь впоследствии.

В тридцать лет он стал уже машинистом на своем паровозе и даже, когда началась война с японцами, работал исправно, ни разу не попадал под штрафы; любил только почитывать книжки и беседовать о них с товарищами, однако и тут ни в чем подозрительном не попадался.

Но однажды на такую беседу внезапно заявился сам начальник паровозных мастерских. Распахнув рывком дверь комнаты, он успел расслышать:

— На съезде, в Брюсселе... за границей...

Начальник грозно потребовал объяснений, машинисты притихли, Автоном поднялся спокойно:

— А это я, Петр Иванович, про первый всемирный конгресс железнодорожный рассказываю, недавно в книжке прочитал... В Брюсселе он был, еще в том веке, по случаю пятидесятилетнего юбилея бельгийских железных дорог. Там интересный случай вышел, Петр Иванович! Насчет паровозной езды спорили, какая система лучше: европейская, когда, значит, машинист с одним паровозом связан, или американская, когда паровоз разным машинистам по очереди доверяют. Вот один известный инженер, Бельпер по фамилии, стал против Америки доказывать: «Как же это, говорит, можно разлучать! Ведь машинист и машина — это все равно, что муж и жена, а где же видано, чтобы жену другим людям отдавали!» Делегаты смеются, Бельперу хлопают, а ему другой инженер — Сортно, француз — отвечает: «Ваша речь, говорит, прекрасна, но вы бы в Париже побывали — у нас иная жена гораздо счастливее с несколькими мужьями и куда в лучшем виде содержится!» Ну, тут весь конгресс за животики схватился, особенно королю бельгийскому Леопольду понравилось, он тоже присутствовал, а говорят, по женской части и сам слабоват...

Машинисты помоложе гоготали не хуже Леопольда, совершен-

но искренно, не смущаясь даже присутствием начальства, старики ухмылялись в усы, не удержался и сам начальник, забывший о цели своего визита. Спохватившись, он сделал Автоному внушение за непочтительность к высочайшей особе, хотя бы и не православного происхождения, и отбыл, вполне успокоенный насчет благонадежности собрания. А в маленькой комнатке, набитой машинистами, помощниками, кочегарами, Автоном вместе с другими продолжал слушать товарища, явившегося к паровозникам из города и так и не замеченного начальником за спинами поднявшихся с мест людей.

— Так вот, товарищи, в прошлом году в Брюсселе, а потом в Лондоне происходил, как мы знаем, второй съезд нашей социал-демократической партии, расколовшийся на большинство и меньшинство. И хотя делегаты от нашего «Южного рабочего», к стыду нашему, поддерживали меньшинство, которое только путается в ногах у пролетариата, но мы здесь с вами все равно будем стоять за товарища Ленина и за Центральный Комитет и на предстоящей маевке объясним перед всеми рабочими...

Маевку проводили в роще, далеко от железнодорожного полотна. Но полиция все-таки оказалась осведомленной и выслала облаву. В первый раз Автоном и сам говорил здесь после других деповских целую речь перед рабочим людом; под солнечным ясным небом, среди молодой, нарядной листвы его напряженно слушали машинисты и стрелочники, кочегары и телеграфисты, рабочие соседнего завода и немногие шахтеры с окрестных шахт... Разве не правда, что народ нищает и мрет с голоду у себя дома, — а его втянули в разорительную и бессмысленную войну на Дальнем Востоке из-за чужих новых земель? Разве не правда, что народ страдает от политического рабства, а его втянули в войну за порабощение новых народов? Разве не правда, что народ требует переделки внутренних политических порядков, а его внимание отвлекают громом пушек на другом краю света?

И Автоном, волнуясь, поворачиваясь то к одному, то к другому, спрашивая и не дожидаясь ответов, говорил все громче, доказывая, что народу нужна война не с Японией, а с царским самодержавием, и, почти крича, хотя товарищи все теснее окружали его, звал к борьбе за новую, свободную Россию, такую же светлую, как этот первомайский день; и птахи в роще весело вторили его голосу...

Когда за деревьями показались жандармы и казаки, маевка уже кончалась. Спасаясь вместе с другими, Автоном мчался по кустам в чащу, отлеживался до ночи в овражке, потом во тьме пробирался домой, стиснув зубы и кулаки.

Он не был пойман и в этот раз, хотя некоторые следы привели жандармов и к нему, однако ни обыск на квартире, ни допрос не дали никаких улик. Да он и в самом деле оставался до сих пор беспартийным, а товарищу из города на вопрос о причинах этого ответил с угрюмой деловой усмешкой:

— Уж таков характер у меня...

Но время наступало буревое, по всей империи шло броженье от нелепой, тягостной и позорной войны. И осенью тысяча девятьсот пятого машинист Автоном Щербина встретился с самодержавием в третий раз.

. . . .

Не раз говорили ему в депо:

— Смотри, парень, хоть ты по имечку-то и «самозаконник», а быть тебе по твоим делам за решеткой!

Еще с зимы, после кровавого воскресенья, правительство опасалось собственных верноподданных не меньше, чем японцев. Все лето стачки — в Иванове у текстилей, потом в Польше, потом забастовки на некоторых железных дорогах — накаляли воздух в стране дыханием грозы. И когда в сентябре Автоном попал в Петербург, — на съезд железнодорожных служащих, разрешенный властями лишь «для пересмотра устава пенсионных касс», — ему, как и многим, стало ясно:

«Пора пересмотреть кое-что и кроме пенсий».

Хотя попрежнему не вступал Автоном в члены социал-демократической партии, он оказался, естественно, в числе тех делегатов, благодаря которым победило именно это решение. Мгновенно стало известно: съезд потребовал и восьмичасового рабочего дня, и амнистий, и политических свобод, и учредительного собрания!

Взрыв восторга охватил даже самых отсталых. Со всех концов железнодорожники телеграммами, собраниями, летучими митингами приветствовали своих делегатов. Но внезапно из Питера сообщили:

— Съезд арестован!

— Все делегаты развезены по тюрьмам!

В тот же день весть разлетелась по железнодорожным путям страны. Первой забастовала Московско-Казанская, за ней — весь Московский узел. Запирая стрелки и семафоры, туша паровозные топки, бросали работу движенцы, тяговики и все остальные. И хотя уже выяснилось, что слухи об аресте неверны, но отовсюду сообщал железнодорожный телеграф:

— Присоединилась Тула!

— Бастуют Нижний, Саратов!

— В Харькове, в Киеве остановлены все поезда!

На пятый день забастовал петербургский узел, на девятый — встала вся сеть железных дорог Российской империи. Автоном вместе с другими ездил по вокзалам и депо, торжествовал:

— Теперь видите, товарищи, что такое железнодорожники?! Мы начали одни, а теперь вместе с нами под руководством социал-демократической рабочей партии бастуют банки и конторы, почта и телеграф, учебные заведения, даже суды! А наши с Екатерининской сообщают, что в Екатеринославе уже вооруженные

стычки с полицией; то же делается и в Одессе, и в Полтаве, и в Харькове!

Уже через сутки после остановки всего железнодорожного движения был опубликован царский манифест о «незыблемых основах гражданской свободы»; таких, как Автоном, это убеждало лишь в необходимости продолжать борьбу, но в тот же день, когда правительство издало указ о частичной амнистии, и петербургский Совет рабочих депутатов и Стачечный комитет железнодорожников постановили прекратить всеобщую стачку.

«Эх, на самом подъеме ведь тормозим!..» — мрачно думал Автоном, возвращаясь из столицы к своим. И здесь окончательно убедился, что был прав.

На Екатерининской большинство служб прекратило забастовку только через два дня после получения приказа из Питера. Машинисты же бастовали еще почти целую неделю, пока начальство не выполнило все их экономические требования, а восьмичасовой рабочий день был введен, как оказалось, еще крепче; семьсот делегатов со всех депо и мастерских постановили об этом на общем собрании, и постановление немедленно стало законом по линии — в Екатеринославе, в Нижнеднепровске, в Александровске, в Сватове, в Пологах, в Гришине, в Авдеевке...

— Все, значит, будем самозаконниками! — посмеивался Автоном, воспрянув духом.

Наконец-то почувствовали себя силой люди, которых так усердно дрессировали на покорность!

Как раз в те дни правительство гнало по южным дорогам эшелоны — душить севастопольское восстание, и в екатерининском «Английском клубе», занятом под экстренное собрание железнодорожников, вместе с другими делегатами Автоном внес предложение, восторженно принятое переполненным залом:

«Признать участие железных дорог в перевозке войск для означенной цели равносильным участию в убийстве...»

Но Севастополь был только началом.

Правительство громило теперь в открытую, несмотря на манифест и все прочее. К концу ноября почти по всей России действовало военное положение, в ряде губерний уже «работали» генералы, специально назначенные для борьбы с крамолой. Наконец, весь петербургский Совет рабочих депутатов оказался арестованным на заседании третьего декабря, и одновременно последовал удар, направленный прямо в железнодорожников: специальным законом объявлялись жестокие кары в случае забастовок рабочих и служащих на предприятиях, «имеющих общественное и государственное значение».

Через четыре дня екатерининцы получили московскую телеграмму:

«Всем трем товарищам из Москвы и председателю делегатского собрания»...

В телеграмме сообщалось, что конференция двадцати девяти российских железных дорог, Центральное бюро всероссийского железнодорожного союза, петербургский и московский Советы рабочих депутатов объявили седьмого декабря всеобщую политическую забастовку.

*

Никого не удивило, что Автоном оказался в составе забастовочного комитета. Однако сам он был скорее недоволен этим, упрямо оставаясь беспартийным, он в душе одобрял только большевиков, и его тяготила необходимость действовать вместе с меньшевиками и эсерами. Но обстановка борьбы с правительством была и без того сложна, и особенно трудно приходилось с перевозкой запасных солдат.

Из Сибири, с Дальнего Востока, по всей России двигались потоки демобилизованных после проигранной позорной войны. То разрозненные кучки, то целые эшелоны вооруженных, измученных, на всех и на все озлобившихся людей скоплялись на бастующих станциях, громя станционные буфеты и здания, приходя в ярость от каждой задержки, удлинявшей бесконечный путь к родным домам. К запасным нередко присоединялись и местные шахтеры из крестьян, тем легче провоцируемые черносотенцами, что как-раз подходило рождество и народ с шахт тоже торопился по домам.

Тут-то и проявил себя Автоном.

Носясь на своем паровозе по линии, он на одних станциях участвовал в митингах, объясняя смысл забастовки, на других помогал справляться с сопротивляющимися администраторами, на третьих организовал охрану грузов на путях и вокзалах:

— Берегите, товарищи, ведь народное достояние!

Для охраны было необходимо оружие. Автоном действовал и здесь.

В первые же дни забастовки на станцию Екатеринослав прибыл вагон с тридцатью двумя солдатами 207-го пехотного Кишиневского полка; им объявили постановление забастовочного комитета, что любой солдат, запасный или просто, желающий вернуться домой, будет перевезен до любого места беспрепятственно и бесплатно:

— Только с оружием нельзя, братки...

Солдаты мялись.

Вагон был отцеплен и стоял в тупике до тех пор, пока военный комендант станции не доложил о прискорбном случае по начальству. Как быть? Усмирить дерзость забастовщиков? Но расквартированные в Екатеринославе полки — Керчь-Еникальский, Симферопольский, Феодосийский — еще не вернулись с войны, а те части их, что оставались на месте, заняты по губернии подавлением крестьянских мятежей... Запереть солдат в вагоне, пока не кончится забастовка? Но начальству неизвестно, когда она кончится...

Наконец, последовал приказ тридцати двум солдатам от самого командира 34-й пехотной дивизии:

— Сдать винтовки и патроны местному воинскому начальнику.

Солдаты с радостью исполнили приказ и в тот же день уехали дальше к себе в Кишинев.

Железнодорожники торжествовали, но Автоном, только-что вернувшийся с линии, плюнул с досады, услышав о происшедшем.

— Фефёлы, а не бойцы! — сказал он ближайшим товарищам о заправилах забастовочного комитета, среди которых до сих пор пользовались влиянием меньшевики. — Нет, мы на линии дурака валять не будем... Время, товарищи, вооружать себя, а не воинских начальников!

Так же думали все смелые, честные из сторонников революции, сколько ни было их в тот год на «Катерине».

Когда же действовать, если не теперь, пока в губернии нет крупных войсковых частей? Ведь дорога командует сейчас всем Донбассом, а Донбасс, — почитай, половиной России...

Это не было преувеличением. Не только забастовщики, такие, как Автоном, но даже власти понимали положение. Сам губернатор доносил в столицу департаменту полиции:

«...беспорядки в Екатеринославской губернии могут отразиться на многих местностях России, получающих отсюда уголь, хлеб, соль и многочисленные продукты фабрично-заводского производства... Донецкий каменноугольный район, расположенный почти всецело во вверенной мне губернии, является ныне одним из самых серьезных пунктов России в смысле снабжения минеральным топливом, ввиду того, что бакинские нефтяные промыслы значительно ослабели, а Домбровский каменноугольный район от забастовок долго бездействовал... В губернии повсеместно происходит сильное брожение среди крестьян... Убежденно удостоверяю, что наличных военных сил недостаточно...»

Зима была суровая, но бастующие почти всюду держались стойко.

Илья Митусов, помощник Автонома на паровозе, несколько раз посылался забастовочным комитетом по рудничным веткам — узнавать о настроении по деревням.

— И мужики шевелятся! — торжествующе подтверждал он, — в Александровке селе, под Юзовкой, сот около четырех собралось, постановили и хлебушком поддержать, коли что, и в драке присоединиться к нашим... даже письменно сообщают, вот: «в м е с т е бороться за свободу до последнего дня жизни!..»

На железнодорожников, особенно на тех, кто зарабатывал получше, власти рассчитывали больше, чем на крестьян; но так было только до первых дней забастовки... Вскоре от верных людей забастовочный комитет узнал государственную тайну: начальник дороги и губернатор просят правительство командировать в Екатеринослав машинистов из железнодорожных батальонов армии.

«Ладно, — думал Автоном. — Пока наберут, и мы будем военными!»

С партийным агитатором он выехал опять на линию одновременно с несколькими другими машинистами. И опять увидели на станциях неугомонный его паровоз. Останавливаясь, он сразу давал гудками тревогу, сзывая бастующих, и люди сбегались к путям со всех сторон.

— Здорово, товарищ! — кричали знакомые и незнакомые. — Какие вести привез?

Но Автоном привозил не только вести. Пока агитатор-большевик рассказывал собравшимся, что в Москве уже идут бои, что железнодорожники вместе с рабочими защищают занятые позиции, в это время сам Автоном вместе с Ильей Митусовым раздавал газеты, листовки, и тут же от имени социал-демократической партии начинался сбор денег на оружие. Тогда толпа плотнее теснилась к паровозу:

— Давно бы так, дело!

— Не записывай, други, собирай прямо, чего там!

Многие протягивали последние рубли. Давали кондуктора и стрелочники, телеграфисты и даже помощники начальников станций, давали учителя железнодорожных школ, табельщики и конторская мелкота; но решительней всех давал деповский народ — машинисты, слесаря, кузнецы... Тех немногих, кто противился вооруженно, просто удаляли с собрания, чтоб не предали, в случае чего.

Автоном объявлял, когда вернется с оружием, как будто дело было так же просто, словно покупка угощенья к святкам.

— А вы и сами не зевайте! — кричал он на прощанье. — Вон, в городе Павлограде само военное начальство старые берданки распродает, всего и просят-то по три рубля семь гривен! Не зевайте, товарищи!

И товарищи не зевали. Оружие покупали и в Екатеринославе, и в Ростове, и в Харькове, а вооружившись, отнимали у своих местных жандармов шашки, револьверы...

На станции Авдеевка, под сценой в доме общественного собрания, скоплялся уже запас, которым пользовались все патрули самообороны, высылавшиеся железнодорожниками на охрану поселка, станции и грузов; заведывать этим «арсеналом» Автоном отпустил Илью Митусова.

На станциях Гришино и Дебальцево дружинники запасались ящиками патронов из вагона, прибывшего с надписью: «Антрацит».

В Горловке, где забастовкой руководил социал-демократ Александр Зубарев, по заводам и рудникам собрали «на самооборону» еще больше, чем среди железнодорожников. На Петровских заводах действовал Григорий Ткаченко, он же Петренко, — литейщик и большевик. Здесь на кровные денежки литейщиков и сталеваров, шахтеров и штейгеров закупили в Таганроге столько контра-

бандного оружия, что на обратном пути еще поделились с дружинниками Харцызска, а на другие перегоны разослали запасы динамита...

Даже на Ясиноватой, где среди комитетчиков были в те дни меньшевики и забастовка шла с оглядочкой, даже там окрестная заводская молодежь сама разоружила жандармов и стражников и в будке одного стрелочника тоже основала под охраной добровольцев свой арсенал: две винтовки, четыре шашки, шесть охотничьих ружей с патронами и дробью.

Всюду теперь готовились к схватке, но столько оказывалось народу, решившего сражаться с правительством, что оружия нехватало даже на половину бойцов, и по всей линии началась в деповских кузницах спешная работа: из сортового железа рубили пруты в два аршина длиной, оттачивали с одного конца и раздавали всем, кто являлся в дружину с пустыми руками.

— Держи пику, товарищ, приноравливайся!

Вооружаемый благодарил, пробовал пику, а за ним уже ждали очереди другие:

— Поскорей поворачивайся, всем надо!

И хотя понимал каждый, как понимали и сами кузнецы, что с таким снаряженьем не много сделаешь против настоящего войска, но за пиками шли и шахтеры, и мужики из деревень, шли за много верст, в одиночку и кучками, не глядя на жестокие степные декабрьские морозы.

— Все не с голыми руками быть, как солдаты придут...

— Солдатам объяснять надо! — волновались рабочие на митингах. — Вон в Москве Ростовский полк как поднялся, все офицерье прогнал!

— Да не один Ростовский! А саперы?!..

— Кабы их сразу поддержали, так теперь бы не только Москва, а и Питер...

Но в забастовочных комитетах уже знали: восставшие в Москве окружены войсками — гвардией, привезенной из Петербурга, артиллерией и драгунами из Твери...

Автоном на собрании бастующих кинул жестко:

— Дождемся и мы, раз сами не наступаем!

Ждать пришлось недолго.

Тринадцатого декабря, в полдень, вблизи Авдеевки показался в степи взвод драгун. Это была еще только разведка, но забастовочный комитет моментально поднял тревогу гудками паровозов. Едва драгуны въехали в поселок, их со всех сторон окружила дружина авдеевских железнодорожников, с берданками, шашками и пиками выбегавшая из-за каждого сугроба.

— Солдаты, стой!

— Куда едете, братья-товарищи!?..

Командир взвода, молоденький корнет, впереди всех скакал прямо на людей. Один из дружинников кинулся к нему сбоку, повис на поводу у коня:

— Стой, сдавайся!

Офицерик испуганно крикнул «прочь!», пришпорил лошадь и, повернув, сбил дружинника в снег. Но дорога впереди была уже занята железнодорожниками; напрасно корнет, отчаянно озираясь, приказывал драгунам:

«Шашки вон!»

Взвод обнажил оружие, но на толпу не двигался.

— У нас так нельзя! — кричала офицерику улица.

Навстречу ему вперед толпы проскакал верхом Автоном Щербина, в измазанном копотью полушубке, с наганом в руке. На коне он держался похуже, чем на паровозе, и усатый вахмистр позади корнета подозрительно следил нетрезвым взглядом, как мотается машинист в седле.

— Господин офицер! — громко сказал Автоном, подъехав к корнету. — Не принимайте решительных мер! Иначе будет кровопролитие и с вашей и с нашей стороны!

Голос его был тверд, лицо грозно, только рука с наганом покачивалась на отлете.

Корнет побледнел, несмотря на стужу. Он растерянно смотрел на Автонома, оглянулся опять на драгун, диким голосом скомандовал:

— В ножны!

Дружинники расступились по знаку Автонома. Взвод тронулся было вперед. Вахмистр, ругаясь сквозь зубы, наехал конем на лошадь машиниста.

— Не толкайся, дядя, — усмехаясь, громко сказал Автоном, — у нас бомбы, еще разорвет тебя со мной за компанию...

Весь взвод во главе с корнетом мгновенно повернул назад, драгуны рысью пошли обратно в степь. Мальчишки поселка свистели им вслед, ругала царское воинство какая-то седая старуха, за корнетом погнался ушибленный им дружинник, офицерик опять замахнулся было шашкой, но сзади ударили из берданки в воздух — и царская кавалерия, не оглядываясь, перешла в галоп, подымая в степи снежную пыль.

— Брось, ребята!! — грозно прикрикнул Автоном на молодежь, продолжавшую палить вслед... — Пригодятся еще патроны-то!

Как заправский командир, он распустил дружину отогреваться, поставив караулы, выслав дозорных за семафоры; а сам засел с вожаками в промерзлой комнате станционного телеграфиста, проверяя положение на перегонах.

«Вот и начали... — думал, он, стараясь не показывать волнения. — Теперь пойдет дело!»

И был прав.

Не успели дружинники порадоваться первой победе, как прислали за помощью со станции Ясиноватой:

— Войска занимают вокзал и телеграф! Комитет упразднен!

Этого, впрочем, многие ожидали уже несколько дней.

Двенадцатая рота 280-го пехотного Балаклавского полка, под

командой штабс-капитана Карамышева, появившись в Ясиноватой еще десятого декабря, заняла продовольственный пункт; но забастовщиков пока не трогали, и попрежнему поезда отправлялись только по путевкам забастовочного комитета, а солдаты Карамышева, в большинстве запасные, часами слушали речи на митингах.

— Отчаянная рота, сукины дети!.. — бесился штабс-капитан наедине со своим зауряд-прапорщиком. — Только и ждут, что по домам распустят... Тоже в революцию норовят поиграть, — да шалишь, не на такого напали!

Для поездок на соседние станции он потребовал себе отдельный вагон с паровозом, и забастовочный комитет сначала уступил, «чтобы не доводить до столкновения». Но Карамышев демонстративно сажал с собой отряд вооруженных солдат, а когда машинисты отказывались ехать, сам поднимался на паровоз с револьвером в руке и силой добивался своего.

Наконец, осмелев окончательно, на пятый день он согнал в кучу всех служащих станции:

— Отныне запрещаю всякие сборища! Всем служащим подчиняться только законным начальникам, никаких комитетов не признаю. Станцию объявляю на положении усиленной охраны, а за малейшее сопротивление властям...

У входов на вокзал, у касс, у телеграфа — всюду были тотчас поставлены часовые.

Карамышев ходил победителем, поблескивая штабс-капитанскими погонами, которые, видимо, рассчитывал быстро сменить на капитанские.

Автоном Щербина уже два дня слушал о его подвигах, и до сих пор ему было не столько досадно, сколько смешно следить за ясиноватской историей:

— Сразу видно господ-меньшевиков! — жестко усмехаясь, говорил он, намекая на некоторых заправил тамошнего забастовочного комитета.

Но теперь дело оборачивалось всерьез. Оказалось: Карамышев вывел на станцию в боевом порядке всю роту, там уже шашками и прикладами разгоняют безоружные манифестации, а сам штабс-капитан собственноручно надавал оплеух машинисту, осмелившемуся дать с паровоза тревожные гудки...

— Видали, товарищи? — сказал Автоном на совещании забастовочного комитета. — А завтра арестовывать начнут, дело ясное!

— Не посмеют! — горячились сторонники меньшевиков. — Иначе комитет объявит вооруженное восстание!

Напрасно напоминали им сторонники большевиков, что там, в Москве, власти уже «посмели», что там в первый же день восстания арестован весь федеративный комитет...

Пока другие колебались, Автоном решил действовать.

Не покидая Авдеевки, куда уже явились сбежавшие от Карамышева ясиноватские комитетчики, он связался спешно со стан-

цией Гришино, и через полчаса стало известно: на помощь едут лучшие бойцы тамошних забастовщиков под командой Прохора Дейнеги, учителя гришинской железнодорожной школы.

— С этим не пропадем! — посмеиваясь успокаивал Автоном тех, кто все еще опасался настоящей схватки.

Был Прохор Дейнега человек ясноглазый, душевный и ласковый, как все хорошие, настоящие учителя. Железнодорожники любили его за отношение к ребятам, но только в это горячее время узнали по всей округе волю и бесстрашие Прохора. Он успешнее всех вел добычу оружия, на митингах был самым горячим и решительным оратором. В Гришине его дружина с первых дней забастовки славилась и числом людей, и дисциплиной, и боевой готовностью: разделенные на десятки, с постоянными командирами во главе все гришинские дружинники носили, как форму, красные ленточки на груди, ежедневно обучались прицельной стрельбе — станционный зал третьего класса был специально отведен для этого, — а на путях в особом вагоне хранилось все оружие.

— У нас даже и пушка есть! — улыбаясь доброй своей улыбкой, говорил Дейнега на совещании с вожаками прочих дружин. — Конечно, лучше бы из нее для ребят фейерверк пускать, а придется, видимо, делать иначе...

Еще в год коронации Николая II было изготовлено для салюта самодельное это орудие, на паровозной оси, самими рабочими гришинского депо. Инженер Поляков, начальник депо, был тоже на стороне дружинников: тем легче добыл Дейнега эту пушку. Дружинники вновь высверлили и расширили ее дуло, устроили из салазок лафет, и «артиллерия» тоже участвовала в пробных стрельбах гришинцев, воодушевляя людей иногда меткостью, а чаще громом пальбы.

С первых же дней забастовки был Прохор крепко по душе машинисту Щербине; в Авдеевке столковались они быстро, и в четвертом часу дня Автоном на своем паровозе уже вел полным ходом в Ясиноватую четыре вагона с вооруженными стрелочниками, кочегарами, телеграфистами, деповскими слесарями...

Подъехав, сделали разведку: оказалось — рота спит в казармах.

— А без крови и того лучше, — сказал повеселевший Автоном.

Без свистков и сигналов, при закрытом семафоре влетел он с поездом на станцию, дружинники мгновенно разоружили всех выставленных Карамышевым часовых, потом Автоном задним ходом так же быстро отвел вагоны на полверсты назад и прямо против казарм бесшумно высадил своих. Укрывая людей за вагонами, за насыпью, Дейнега по сугробам мгновенно окружил казармы и взял Карамышева прежде, чем тот успел проснуться.

— Сдаюсь, господа, сдаюсь... — бормотал разбуженный штабс-капитан, не попадая в рукав кителя. Но уже во дворе мирно уводимый под арест, всполошил солдат диким криком:

— В ружье!!.

Тогда он был убит, однако из роты лишь несколько солдат попытались открыть пальбу. Остальные, поняв, в чем дело, бросились с радости обниматься с дружинниками, потом наелись досыта в железнодорожном буфете и вскоре уехали, оставив дружине пятьдесят три винтовки.

— Вот это разговор! — сказал Автоном, увозя обратно бойцов Прохора Дейнеги.

Дома победителей встретила торжественная демонстрация бастующих, с песнями, с флагами, Дейнегу вынесли на руках. Автоном с другими членами комитета повел ликующую толпу по путям. Вокруг несли и красные и черные флаги, и на переднем знамени, которое нес сам Автоном, горело огнем:

СМЕРТЬ ИЛИ ПОБЕДА...

— А помирать-то неохота, — сказал Автоном тихо, когда у товарного вагона они с Дейнегой очутились вдвоем на помосте перед толпой. — Победить охота, Прохор, а не помереть!

Пока народ собирался на митинг, он посмотрел вдаль, в снежное поле за путями и договорил еще тише...

— Сын у меня в деревне... Может, не себе, так ему настоящую жизнь добуду!

— У тебя сын, а у меня их в училище сто двадцать, — улыбаясь так же тихо сказал Дейнега, — и я, друг, сто двадцать раз готов умереть, только бы хоть им лучше жилось, чем нам!

Автоном глянул ему в глаза:

— И им, Прохор, и нам! Думаешь, легко мне, что один живу... без семьи, без радости?

Восстание росло.

Теперь по всему Донбассу железнодорожники смело разоружали военных, жандармов, полицейских; в Авдеевке отняли даже шашки у проезжих казаков, возвращавшихся к себе на Дон, но общедорожный стачечный комитет из Екатеринослава приказал вернуть все шестнадцать шашек, и по всей дороге до Ростова дали циркулярную телеграмму, что казачьи шашки — их личная собственность, а не царская!

Однако почти всюду бастующие сохраняли строгий порядок, на линии члены комитетов, несмотря на декабрьскую стужу, поддерживали дисциплину дежурств по всем службам; круглые сутки работал железнодорожный телеграф, и хотя по всей дороге прекратилось нормальное движение и ходили лишь поезда, разрешаемые комитетом, на многих станциях железнодорожники вместе с крестьянами ближайших деревень продолжали очищать полотно от снежных заносов во время метелей.

На другой день после ясиноватской операции в Авдеевке собрались бойцы со многих станций.

Вожаки дружин совещались весь вечер, по ближайшим станциям, шахтам и заводам были посланы разведчики; к ночи от не-

которых сведений создалось впечатление, что следующего натиска надо ждать на станции Гришино, и утром туда двинулись специальным поездом все наличные силы восстания.

По общему желанию, Прохор Дейнега принял главную команду.

— Только у меня чтобы дисциплина была, как в училище! — шутил он, оглядывая бойцов своими ясными глазами. И попросил еще официального постановления — на время боев освободить его от школьных занятий с ребятами.

Немедленно он приказал просигналить паровозными гудками тревогу. На помощь дружинникам сбежались жители поселка, крестьяне из нескольких деревень и за двое суток выстроили вокруг всей станции баррикады — из шпал, из набитых землей мешков, из проволоки и вагонеток. Одну из зал станционного здания приготовили под лазарет, распределили позиции на баррикадах, на общем собрании обсудили тактику защиты...

Но еще через день стало известно: войска окружают не Гришино, а Горловку.

— Оттуда пробуют... — соображал Автоном над картой в дежурке, словно настоящий начальник военного штаба. — Коли с того узла начнут, так потом и наш разгрызут сразу, собаки... Надо ехать, товарищи!

Дейнега, однако, стоял за оборону на укрепленной гришинской площадке. Многие соглашались с ним, но многие поддерживали и Автонома, и когда из Горловки пришло под ряд три телеграммы с требованиями о помощи, почти все принялись за сборы в путь. Спешно проверяли, чистили оружие, чинили одежду потеплее, некоторые даже запасались сухарями:

— Может, надолго едем, братцы...

День стоял ветреный. Мороз в степи прохватывал до костей. На станцию, покрякивая, торопились из поселка усатые машинисты, кондуктора, бородачи-стрелочники. Бежала вприпрыжку молодежь — деповская, конторская, деревенская, — и крестьянские парни, большинству из которых достались только пики, с тайной завистью поглядывали на молодых слесарей, тащивших на ремнях настоящие солдатские винтовки — трофеи недавней вылазки в Ясиноватую.

По вагонам грузили ящики с патронами, с динамитом, на тендере устанавливали знаменитую пушку.

Жены, невесты, сестры дружинников тащили громадные красные плакаты:

СМЕРТЬ ИЛИ СВОБОДА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА!

Автоном Щербина смотрел, как молчаливые, исхудавшие женщины и девушки коченеющими руками укрепляют на его паровозе эти огненные слова, и думал о том, что свобода несомненно будет завоевана, но не завтра, а завтра так же несомненно многих ждет смерть...

Не о себе думал он: о сотнях молодых и старых людей, которые шли — и за ним, и за Прохором Дейнегой, и за другими вожаками — навстречу царским войскам, на бой за новую, небывалую жизнь. Он смотрел на серое, словно дымное, небо, на серьезные лица товарищей, на рельсовый путь, уходящий в морозную мглу, и понимал все яснее, что путь этот начинают они не на день, не на неделю, не на месяц... Теперь не только прекращение арестов, не только прибавку жалованья и восьмичасовую работу видел он в конце этого пути!

— И другое увидим, кто цел останется... — громко сказал он вслух. Но и сам не верил уже, что все это будет скоро.

Он знал, как и многие другие, о положении восставших в Москве, знал и то, что войска уже вызваны в Донбасс.

Между тем все сборы уже были кончены. Молча оглядевшись, Автоном привычно поднялся на паровоз, дал гудок и повел поезд в Горловку сквозь начавшуюся метель.

. . . .

Горловка, Горловка, знамя восстания, сердце старого Донбасса!

Шахтерские лачуги, землянки — тысячи темных и грязных нор... Богатейшие рудники Южно-Русского общества промышленности, хозяина самых старых донецких шахт... Крупнейший в районе машиностроительный завод, гордость акционеров и каторга рабочих...

Автоном знал не хуже прочих вожаков, что в Горловке железнодорожники не чувствовали себя главной силой, как на многих других станциях; но именно от этого, казалось ему, они и действовали решительно с самого начала.

Еще до стачек в Авдеевке и в Ясиноватой у горловцев на станции два дня под ряд, с утра до темноты, митинговали у пакгаузов под открытым небом тысячи людей. Вместе с рабочим людом стекалась сюда масса крестьян, и для дальних деревень железнодорожники снаряжали даже специальные поезда по всем рудничным веткам, чтобы развозить народ по домам.

— Все земли мужикам: хоть помещичьи, хоть монастырские, кабинетские — все под одно!

— А рудники — шахтерам, заводы — рабочим!

Впервые довелось здесь многим услышать такие слова в открытую, когда появились в Горловке социал-демократы, как Александр Зубарев, известный и под именем Марка Кузнецова. И бастовать здесь начали тоже по-особому...

По дороге в Горловку в поезде гришинцев только и было разговору, что об этом.

В дни, когда на Ясиноватой расправлялся штабс-капитан Карамышев, на станцию Горловку тоже явилась войсковая часть — 5-я рота 136-го пехотного Таганрогского полка.

Внезапно заняв вокзал, рота разместилась в залах первого и второго классов; однако забастовочный комитет не только отказался от всяких объяснений с командиром роты, но даже не собрал своих вооруженных сил Он просто приказал станционным

сторожам не топить печей в залах, вылить повсюду керосин из ламп, не ставить ни одного самовара, а властям телеграфировал: «Требуем немедленно убрать войска со станции Горловки во избежание кровавого столкновения».

— Так и бухнули! — с восторгом рассказывал в вагоне дружинникам Илья Митусов, недавно вместе с Автономом побывавший в Горловке. — Да всем начальствам сразу адреснули — и жандармскому ротмистру, и исправнику бахмутскому, и самому генералу в дивизию!

— А те как?

— Утерлись, вот как! На другой день приказ — переехать, дескать, из Горловки на станцию Никитовку. Господин капитан тогда требует поезд, а комитет ему: «Поезда вам никакого не будет».

— Ну?

— Ну, и поперли пешим порядком включительно до господ офицеров.

— Хо-хо-хо! — грохотало по вагону.

А впереди Автоном под грохот паровоза вглядывался в крутящуюся на полях пургу.

— Подходим! — быстро кричал он на ухо Прохору Дейнеге, стоявшему рядом.

А сам думал о том, что надо будет попросить учителя, в случае чего, забрать сына Федьку из деревенской школы к себе в железнодорожное училище...

«Как раз пора будет, с весны тринадцатый пойдет...»

В Горловке на станции все уже было, как на передовых позициях:

— На машиностроительном начали!..

Оказалось: в ответ на требования восьмичасового дня рабочим было уменьшено время работы, но одновременно почти вдвое уменьшен заработок, дирекция еще раньше объявила, что будут уволены с определенного срока все рабочие, не соглашающиеся на эти условия...

Сегодня срок наступил, и утром, в одиннадцать часов, Зубарев с кучкой рабочих внезапно явился в заводоуправление, пройдя прямо в кабинет директора, бельгийского инженера Лоэста. Напрасно тот пытался скрыться под разными предлогами — рабочие закрыли двери, а снаружи вокруг конторы собралась полутысячная толпа.

Зубарев от имени всех потребовал отмены увольнений, а когда стало известно, что завод окружают вызванные кем-то драгуны и полиция, он заставил Лоэста выйти вместе с депутацией к драгунскому офицеру и заявить, что соглашение уже достигнуто и все в порядке.

С перекошенным лицом директор подтвердил это. Но едва рабочие стали выходить в заводские ворота, как пристав потребовал выдачи Зубарева. Началась свалка, драгуны дали залп, человек

двадцать ранили... Зубарев с простреленной рукой едва скрылся от погони, разыскать его не мог даже сам забастовочный комитет.

Руководство тотчас принял другой: это был Григорий Ткаченко-Петренко, литейщик, приехавший с Петровских заводов, социал-демократ из большевиков.

Через час о происшедшем знали на всех ближайших станциях — и гневом полыхнуло по линии:

— Сначала манифесты, а теперь — аресты!

— Довольно измываться, кровопийцы!

— Прибыль — себе, а рабочим — пули?

— Долой казнокрадов — министров и директоров!

На станции Дебальцево железнодорожники собрали огромную демонстрацию. С красными флагами она отправилась к церкви; люди дружно и грозно пели, что отрекаются от старого мира, потом потребовали от священника панихиды по убиенным борцам за свободу, а после панихиды вернулись на станцию и захватили вагон с порохом и динамитом.

На Донецко-Юрьевском железоделательном заводе две тысячи рабочих, железнодорожников и крестьян устроили митинг в прокатном цехе, и духовой оркестр играл по желанию присутствующих то «Марсельезу», то «Боже, царя храни». Затем дружинники заставили директора завода и полицейского пристава выдать все ружья и патроны, закупленные дирекцией «на всякий случай».

А в самой Горловке в этот же вечер в безопасном месте собрался комитет вместе с представителями всех собравшихся дружин. Автоном, еще раньше познакомившийся с Григорием Ткаченко, подвел к нему Прохора Дейнегу и сказал серьезно:

— Вот, учитель у нас... То ребят наших учил, чтобы росли да начальству правдой служили... А теперь нас обучает, как по начальству из винтовки палить, чтобы и оно до правды дошло...

— Что ж, одно другому не помешает, — говорил Дейнега застенчиво. — Когда добьемся мы этой правды...

— А скоро добьемся, как думаешь? — улыбнулся литейщик, прочищая наган.

Ждали Зубарева час, полтора, два...

— Значит, взяли, — тихо сказал Ткаченко.

— Не из таких, — сказал Автоном. — А ежели и взяли...

Он не договорил. Прибежали с известием: Зубарев тайно доставлен товарищами в заводскую больницу, и сейчас доктор Шошников, свой человек, отрежет ему руку, чтобы спасти жизнь.

...В десятом часу вечера комитет разослал телеграммы по всем станциям, рудникам и заводам Донецкого бассейна: в Горловку вызывались на помощь все вооруженные силы забастовки.

*

Любая армия позавидовала бы такой быстроте мобилизации.

Первыми прибыли дружины со станций Енакиево и Харцызск, потом вскоре — с Ясиноватой.

С черными и красными знаменами, с лозунгами «Смерть врагам» подошел поезд из Дебальцево. В нем с дружинниками приехали сотни присоединившихся по пути заводских рабочих, вызванных прямо со смены тревожными гудками паровозов...

До полночи подошло восемь поездов, выгружая готовых к бою людей; и каждый поезд встречал вместе с другими Автоном Щербина и видел в дружинах не только знакомых слесарей и кочегаров, машинистов и стрелочников, телеграфистов и кондукторов, но и массу народа.

— С Петровских заводов! — отвечали ему на оклики.

— Шахтерская дружина!

С литейщиками, сталеварами, слесарями шли и техники заводов, с шахтерами — штейгеры рудников, даже прусские и итальянские подданные.

Всю ночь совещались вожаки дружин.

Узнали, что с енакиевского и юзовского направлений шли на подмогу еще поезда с дружинниками, да казачьи сотни разобрали путь у станции Криничной и на перегоне Юзово — Рутченково, и вернулись дружины обратно...

Но и без них собралось в Горловке до трех тысяч бойцов с берданками, с самодельными бомбами, с шашками, с револьверами, купленными на собранные деньги либо отобранными на станциях, а больше все с теми же пиками из железных прутьев, какие делались по кузницам на всей линии...

«Плохо с оружием все-таки...» — думал Автоном, встречая все новые отряды. На каждую сотню дружинников он видел не больше пятка настоящих солдатских винтовок.

Пошел снег, пушистый, крупный, и в тусклом свете станционных фонарей людское движение стало на минуту похожим на веселую предпраздничную сутолоку.

— Святая скоро... — вспомнил вслух Илья Митусов.

Он стоял рядом с Дейнегой и Автономом, обвешанный самодельными бомбами, винтовкой, жандармской шашкой, и записывал число людей по дружинам.

Автоном посмотрел на молодое его лицо, потом увидел, что и Дейнега пристально смотрит на парня, отвернулся и вздохнул незаметно.

— Погоди, Илья, попразднуем и мы!..

— Еще как!.. — тихо и радостно сказал сзади Прохор Дейнега.

Вокруг дружинники подбадривали друг друга; одни громко делились слухами об отходе войск, другие вспоминали о победах в Авдеевке и Ясиноватой.

Самые горячие уверяли даже, что такие же победы начались у рабочих по всей России, что в Манчжурии вся армия перешла на сторону восстания, а в Питере сам царь—в плену у бастующих.

Но Автоном, как и другие вожаки, видел ясно: многие не уверены в успехе и приехали только потому, что не хотели отстать от товарищей.

Едва вожаки собрались опять на совещание, как стало известно:

— Ясиноватские домой уехали! Какая, говорят, война с такими силами...

Тогда поднялся Григорий Ткаченко. Глаза его горели.

— А мы не отступим, — властно сказал он. — Готовиться до рассвета! Сообщить на шахты — утреннюю смену под землю не опускать, будет бой!..

У выхода, спеша к своим передать решение комитета, Автоном столкнулся с запыхавшимся пареньком: размахивая пикой, паренек взбегал по обледенелым ступенькам вокзала.

— Дяденька, товарищ... мне самых главных надо! Пусть отца моего разыщут, он тут где-то, его ребята видали, вот с эдакой же штукой, наверно, тоже воевать приехал... Так я вот пистолет принес, пусть ему отдадут беспременно! Я-то хоть с железкой, хоть с голыми руками пойду, а старому с пистолетом легче!..

— Найдем, милый, — дрогнувшим голосом сказал Автоном. — Как фамилия?

— Наша-то? Апостолов Дмитрий...

И, вытаскивая из полушубка револьвер, бережно обернутый тряпицей, по-мальчишески блестя глазами, тревожно спрашивал, нельзя ли молодых вперед пустить, а потом уж стариков...

«Вот и Федька такой же будет... годков через пять...»

. . . .

Было семь часов утра, когда начали наступление на драгунские казармы.

Раненный в первой же атаке шальной пулей. Автоном только тогда почувствовал боль в ноге, когда одним отрядом дружинников уже было захвачено шахтное здание невдалеке от казарм, другим — эстакада и отвалы породы около шахты — естественное укрепление сажен до двадцати в вышину.

— Ничего позиция! — одобрял он деловито, пока Илья Митусов с товарищами стаскивали с него окровавленный валенок, а сам следил, как остальные дружины, обойдя казармы, занимали соседние с ними дворы, укрываясь вдоль заборов.

— Молодец Прохор, золотая голова...

Но тут же, морщаясь от боли и опираясь на винтовку, поднялся на ноги. Он увидел, что войска под обстрелом дружинников уже отступают из казарм; отвечая залпами по заборам, торопливо перебегают назад пехотинцы — сводная рота Таганрогского и Керчь-Еникальского полков, недавно присланная в подкрепление драгунам, а сами драгуны в конном строю уходят в степь...

— Ура!.. Наша взяла, товарищ Автоном! — кричали дружинники, пробегая мимо вперед.

— Нет, не взяла, товарищи... — отвечал Автоном, хромая вслед

за ними. Он тревожился смутным подозрением, что это отступление — только маневр.

Но и он не знал, что степью на соединение с драгунами и пехотой уже подходит новое подкрепление — казаки...

...Только после, когда все уже было кончено, стало известно: где-то между рудничной колонией и станцией Енакиево войска соединились в степи и сразу пошли в глубокий обход, через лес за Горловкой, в тыл ликующим дружинам.



Разгон забастовщиков. — С карт. художн. Владимирова

Путевые сторожа на линиях видели, как марш-маршем скакала в снежной пыли кавалерия, пересекая железнодорожные пути на ростовском и авдеевском направлениях.

Но никто не успел предупредить дружинников, да и вряд ли это помогло бы теперь...

Вместе с кучкой товарищей Илья Митусов дотащил Автонома, чуть не силком, к вокзалу на перевязку, но сделать ее не успели.

Около полудня с опушки леса раздались выстрелы по станции.

С моста, опрокинутого над путями, Автоном первый заметил, как спешившиеся казаки и драгуны вместе с пехотой повели правильное наступление, обстреливая и мост, и станционые постройки, и надшахтное здание — главную и надежную опору дружинников.

— Держись, ребята! — закричал он своим, ложась с винтовкой на мосту. Промахнулся и первым выстрелом и вторым; ругаясь, приподнялся, чтобы бить вернее с колена, но в ту же секунду

обожгло ему сразу плечо и другую ногу, и он свалился, хрипя стрелявшему рядом Илье:

— К путям... не допускать... ни в какую...

. . . .

Он очнулся в товарном вагоне, лежа на трясущемся полу.

Истекая кровью от неумелых перевязок, сквозь звон в ушах с трудом различал он знакомые и незнакомые голоса, слышал, что бой кончился еще к трем часам дня, что разгромлены и рассеялись все дружины, потеряв многих людей, что убиты енакиевцы Трубкин Андрей, Белоруков, Бодров, Чернышев, убит и молоденький паренек Дмитрий Апостолов...

«Эх, а отца-то... не нашел ведь!» — вспомнилось мучительно, как в бреду. И опять впал Автоном в забытье, а очнувшись, услышал, что почти на все станции везут дружинники геройски погибших, что убиты Трусилов и Шишко с Нижнеднепровска, убиты Мирошниченко и Фесенко с Донецкого-Юрьевского завода, что смертельно ранена Лидия Доброва, учительница, друг и верный спутник Прохора Дейнеги...

— А Прохор? — закричал Автоном, силясь поднять голову с качающегося пола. — Дейнега где... товарищи?

Но не крик, а шепот срывался с помертвелых губ, и никто не ответил Автоному, что Прохор Дейнега после поражения первый вышел к врагам парламентером, чтобы спасти жизнь товарищей, осажденных с ним вместе на вокзале, и был, не дойдя, застрелен на путях, несмотря на поднятый над вокзалом белый флаг...

Стучали колеса, ледяной ветер свистел в вагоне. Кто-то стонал. Кто-то ругался. Кто-то хрипло пел «Марсельезу».

За этим поездом отступавших шел по пятам воинский поезд с частями 133-го Симферопольского пехотного полка.

Чтобы не даться врагу в руки, дружинники остановились на перегоне Илларионово — Игрень, разобрали путь за собой:

— Не спеши, ваши благородия, не догонишь!

Но пожалели рабочие сердца темную солдатню, которая погибла бы сотнями при крушении вместе с кучкой офицерья. И сами же, уезжая дальше, предупредили по линии:

— Путь неисправен!

Автонома, как и многих других, успели укрыть, пока по станциям правительство «наводило порядок», громя разрозненные остатки повстанцев.

А в Горловке в это время рабочие хоронили убитых, которых дружинники не успели увезти.

В жестокую стужу, в метель несли на плечах красные гробы. И в одном из гробов лежал не мертвый боец, а отрезанная рука Зубарева.

До самого кладбища шла за гробами многотысячная толпа, хотя каждую минуту ждали: вот-вот налетят драгуны — разгонять, бить, стрелять...

«Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

Вой метели глушил и не мог заглушить пенье тысяч. Ветер качал гробы на плечах, шатал несших, а они все шли.

Плакал старик-рабочий Апостолов, отец Дмитрия, плакал о том, что сына хоронят не по-православному, и сам Григорий Ткаченко утешал его, шагая рядом:

— Не плачь, старик, мы свое возьмем!

«Возьмем»... — думал и Автоном, с закрытыми глазами ворочаясь в перевязках на постели в темноте какой-то конуры.

И опять не о себе думал он, а о товарищах и погибших и живых, о больном Зубареве, которого старался спасти, увезти молодой храбрец Ворошилов, гордость луганских большевиков.

«Уж коли этот не смог, значит, плохо Зубареву...» — решил наслышанный о Ворошилове Автоном.

А и самому было еще плохо. Все, кому удавалось навестить его в тайном его убежище, только молча удивлялись, как вообще выжил этот человек, привезенный сюда полумертвым.

— Рабочую кровь сколько ни льют, а всю не выльют, — ясным голосом сказал он на третьей неделе, и товарищ, дремавший у его постели, спросонок не понял даже, о себе говорит Автоном или вообще.

Но это было верно в обоих смыслах.

Больше двух сотен бастующих было убито в горловском сражении, почти столько же было позже схвачено правительством на разных станциях Донбасса и отдано под суд за восстание на Екатерининской железной дороге: а дело свое, дело рабочего класса Автоном Щербина увидел живым и здоровым, едва выздоровел сам.

Правда, пришлось скрываться, опять менять фамилию, работать в других местах, далеко...

В розысках после восстания, на Петровских заводах при станции Енакиево, жандармы напали на след не одного литейщика Ткаченко, а целой группы Донецкого союза Российской социал-демократической рабочей партии; нашли и печать, и партийные прокламации, и талонные книжки для сбора пожертвований...

Нашли многое и по квартирам; среди других арестовали и жену Автонома в деревне, вскоре «по неизвестной причине» умершую в тюрьме.

...Сто тридцать обвиняемых допрашивали, уличали, томили в тюрьме следователи, прокуроры и судьи.

Через три года после восстания суд вынес дружинникам каторжные приговоры. лет на тысячу с лишним. Об этом узнал Автоном уже в Сибири, в ссылке, куда попал под новой фамилией по другому забастовочному делу; узнал по газетам, хоть глухо и смутно, но все-таки писавшим о процессе.

А еще позже — уже совсем не по газетам — пришла к нему весть, что сентябрьской ночью, на балках пожарного сарая четвертой полицейской части города Екатеринослава повешены восемь из числа осужденных — среди них и Александр Зубарев-Куз-

нецов, и Григорий Ткаченко-Петренко, и Илья Митусов, и другие, отказавшиеся просить о помиловании...

Смутный слух шел от партийного подполья о предсмертном письме кого-то из казненных. И через товарищей по ссылке сообщили Автоному, будто есть и ему последний привет в том письме.

Почему-то подумалось про Илью Митусова: на паровозе дружили крепко, несмотря на разницу в годах.

Но прошло немало лет, пока попал, наконец, Автоному в руки драгоценный листок — копия с копии письма. И как ни дорога была машинисту память о помощнике, однако не жалел он, что письмо оказалось не от Ильи...

«Здравствуй и прощай, дорогой брат Алеша, и все остальные братья-рабочие и друзья.

Шлю вам свой искренний и последний поцелуй. Я пишу сейчас возле эшафота, и через минуту меня повесят за дорогое для нас дело. Я рад, что я не дождался противных для меня слов от врага... и иду на эшафот гордой поступью, бодро и смело смотрю прямо в глаза своей смерти, и смерть меня не может страшить, потому что я как социалист и революционер знал, что меня за отстаивание наших классовых интересов по головке не погладят, и я умел вести борьбу, и, как видите, умею и помирать за наше общее дело так, как подобает честному человеку. Поцелуй за меня крепко моих родителей, и прошу вас, любите их так, как и я люблю своих братьев-рабочих и свою идею, за которую все отдал, что мог. Я по убеждению социал-демократ и ничуть не отступил от своего убеждения ни на один шаг до самой кончины своей жизни. Нас сейчас возле эшафота восемь человек по одному делу — бодро все держатся. Постарайся от родителей скрыть, что я казнен, ибо это известие после долгой разлуки с ними их совсем убьет.

Дорогой Алеша, ты также не беспокойся и не волнуйся, представь себе, что ничего особого не случилось со мной, ибо это только может расшатать твои последние силы. Ведь все равно когда-либо помирать надо. Сегодня, 3-го сентября, в 8 часов вечера, зашли к нам в камеру несколько надзирателей, схватили меня за руки, заковали их, потом вывели остальных, забрали под руки, и повели прямо в ночном белье, босых под ворота, где человек 50 стояло стражи с обнаженными шашками, забрали и повели в 4-й участок, где приготовлена была петля. И так это смешно, как эта стража с каким-то удручающим ужасом смотрит на нас, как на каких-либо зверей. Им, наверно, кажется, что мы какие-то звери, что ли, но мы честнее их. Ну, неважно, напиши куму самый горячий привет и поцелуй его и Федорова крепко за меня. Живите дружно и не поминайте меня лихом, ибо я никому вреда не сделал. Ну, прощайте, уже 12 часов ночи, и я подхожу к петле, с которой одарю вас последней своей улыбкой. Прощайте, Алеша, Митя, Анатолий и все добрые друзья! Всех вас

крепко обнимаю и жму и горячо целую последним своим поцелуем... Писал бы больше, да слишком трудно, так как скованы руки обе вместе, а также времени нет — подгоняют... Конечно, прежде, чем ты получишь это последнее письмо, я уже буду в сырой земле, но ты не тужи, не забудь Ивне Ильченко передать привет. Прощайте все и все дорогие и знающие меня. Напиши остальным. Последний раз крепко целую вас.

Григорий Федорович Ткаченко-Петренко. 3-го сентября, 12 часов ночи. Г. Екатеринослав. 1909 год».

...На всю жизнь сохранил Автоном эти листки, мелко исписанные чужим, незнакомым почерком.

И не только сохранил — в нарушение конспирации, которой всегда пренебрегал, он совершил еще поступок, уже настолько «автономный», что среди ссыльных о нем заговорили, как о повредившемся в рассудке: письмо Григория он послал, переписав собственноручно еще одну копию, сыну Федору, уже восемнадцатилетнему деповскому ученику, с припиской:

«Так борются, сынок, социал-демократы большевики. Но ты помни, Федя, победа лучше смерти, и мы до победы добьемся все равно».

Будь письмо перехвачено, оно не только раскрыло бы наверняка работу самого Автонома в восстании, но, несомненно, крепко повредило бы и сыну, росшему до сих пор в родном Донбассе под фамилией матери. Однако сошло благополучно, и отец, получив ответное письмо сына, даже гордился «победой» и над полицией и над строгими конспиративными законами.

— На то ж я и Автоном-самозаконник, чтобы всякие законы нарушать...— угрюмо отшучивался он на упреки товарищей, и шутка была похожа на правду.

Говорили, что именно неосторожность помешала двукратным его попыткам бежать из ссылки, хотя сам Автоном упрямо обвинял в неудаче лишь ноги свои, простреленные в Донбассе, и так и выжил все семь лет на самом краю Сибири, куда и письма доходили из России лишь раза четыре в год.

— А не пропащее было времечко!.. — вспоминал он потом.

Это не было самоутешением.

Тридцатипятилетний паровозный машинист, вместо петли попавший в ссылку, глухими сибирскими зимами мог о многом подумать на досуге и многое понять...

Чтобы кормиться, он лудил богатым якутам самовары, беднякам — чайники, мастерил нехитрую посуду, рубил дрова, а длинные вечера уходили на чтение и мысли, мысли...

Как ни трудна была связь с другими ссыльными, но через десятки глухих лесных верст все-таки ухитрялись пересылать друг другу даже нелегальную печать.

И однажды в юрту Автонома заехал незнакомый якут, оглядевшись начал снимать свои торбасы — сапоги из конской шкуры, — и в торбасах оказались тщательно спрятанные листы.

Автоном схватил один, прочел заголовок и кинулся обнимать якута: первый номер большевистской «Рабочей газеты», выпущенный в Париже осенью 1910 года, был у него в руках!

И хотя явствовало из даты, что номер шел до якутской юрты больше года, но с того дня целый месяц перечитывал Автоном статью «Уроки революции»; в ней была горячая, накаленная бодростью правда про девятьсот пятый, было и про рабочих-железнодорожников, и про дальнейший путь к победе. И горячей любовью заполнилось сердце бывшего машиниста к изумительному человеку, поднявшему, как знамя, последние слова статьи:

«...Тяжелые уроки не пропадут даром. Русский народ не тот, что был до 1905 года. Пролетариат обучил его борьбе. Пролетариат приведет его к победе».

*

ЗНАМЯ В КРОВИ

«...Пролетариат не побежден, — а отступил на время, и теперь он готовится для новой славной схватки. Российский пролетариат не опустит обагренного кровью знамени, он был и будет единственным достойным руководителем великой русской революции»

И. В. Сталин.
«Две схватки».

НА СТАНЦИИ

М. ГОРЬКИЙ

Роман А. М. Горького «Жизнь Клима Самгина» — одно из величайших произведений современной революционной литературы—является по существу огромной эпопеей общественно-политического движения в России за сорокалетие. Герой романа Самгин — олицетворение интеллигента-обывателя, не участника, а стороннего наблюдателя развертывающихся исторических событий. Роман остался незаконченным. Печатаемый отрывок дает описание деловой поездки адвоката Самгина в разгаре революции 1905 г. С чисто горьковской мощью и правдивостью показан офицер-усмиритель.

Самгин посмотрел в окно, — в небе, проломленном колокольнями церквей, пылало зарево заката и неистово метались птицы, вышивая черным по красному запутанный узор. Самгин, глядя на птиц, пытался составить из их суеты слова неоспоримых фраз. Улицу перешла Варвара под руку с Брагиным, сзади шагал странный еврей.

Когда стемнело, явился Алексей Гогин, в полушубке и валенках; расстегивая полушубок, он проворчал:

— Какая антипатичная прислуга у вас, глазки точно у филера.

Простуженно кашляя, он сел к столу и спросил:

— Нет ли водки?

А выпив рюмку, круто посолил кусок хлеба и налил еще.

— Как в трактире, — отметил Самгин.

Пережевывая хлеб, Гогин заговорил:

— Просим вас, батенька, съездить в Русьгород и получить деньги там, с одной тети, — к слову скажу: замечательная тетя! Редкой красоты, да и не глупа. Деньги лежат в депозите суда, и есть тут какая-то юридическая канитель. Можете?

— А подробнее? — спросил Самгин; Алексей развел руками.

— Подробнее? — ничего не знаю. Фамилия дамы — Зотова, вот ее адрес. Она, кажется, родная или приятельница Степана Кутузова.

— Хороший случай уехать отсюда, — подумал Самгин. — И пусть это будет последнее поручение.

— Правда, что когда на вас хулиганы напали — Любаша ухлопала одного? — спросил Гогин, когда Клим сказал ему, что едет.

Было неприятно вспоминать о нападении.

— Да, она стреляла, — сухо ответил Самгин.

— Убила?

— Он встал и пошел. А я забыл взять револьвер.

Сказав это, Самгин вспомнил, что револьвер у него был взят Яковом, и рассердился на себя: зачем сказал?

— Ну, вот, и поплатились за это, — равнодушно выговорил Гогин. — Любаша — у нас, в полном расстройстве чувств, — устало продолжал он. — У нее рука переломлена и вообще она помята. Пришла к нам ночью, совершенно угнетенная своим подвигом, и до сей поры городит чепуху о праве убивать сознательных и бессознательных. Выходит так, что ее, Любашу, убить можно, она — действует сознательно, — сама же она, как таковая, не имеет права убивать нападающую сволочь. Хороший она товарищ, ценный работник, но не может изжить народнической закваски, христианских чувств. Она там с моей сестрицей такие диспуты ведет, — беги вон! Вообще — балаган, как говорит Кутузов.

Он встал, подошел к зеркалу, высунул язык, посмотрел на него и проворчал:

— Заболеваю, чорт возьми! Температура, башка трещит. Вдруг свалюсь, а?

Он снова подошел к столу, выпил еще рюмку водки и стал застегивать крючки полушубка. Клим спросил:

— Что же теперь будет делать партия?

— То же самое, конечно, — удивленно сказал Гогин. — Московское выступление рабочих показало, что мелкий обыватель идет за силой, — как и следовало ожидать. Пролетариат должен готовиться к новому восстанию. Нужно вооружаться, усилить пропаганду в войсках. Нужны деньги и — оружие, оружие!

Он стал перечислять боевые выступления рабочих в провинции, факты террора, схватки с черной сотней, взрывы аграрного движения; он говорил обо всем этом, как бы напоминая себе самому, и тихонько постукивал кулаком по столу, ставя точки. Самгин хотел спросить: к чему приведет все это? Но вдруг с полной ясностью почувствовал, что спросил бы равнодушно, только по обязанности здравомыслящего человека. Каких-либо иных оснований для этого вопроса он не находил в себе.

— По форме это, если хотите, немножко анархия, а по существу — воспитание революционеров, что и требуется. Денег надобно, денег на оружие, вот что, — повторил он, вздыхая, и ушел, а Самгин, проводив его, начал шагать по комнате, посматривая в окна, спрашивая себя:

— Неужели Гогиными, Кутузовыми двигает только власть заученной ими теории? Нет, волей их владеет нечто, явно противоречащее их убеждению в непоколебимости классовой психики. Рабочих — можно понять, Кутузовы — непонятны...

Фонарь напротив починили, он горел ярко, освещая дом, знакомый до мельчайшей трещины в штукатурке фасада.

— В таких домах живут миллионы людей, готовых подчиниться всякой силе. Этим исчерпывается вся их ценность...

Через день он снова попал в полосу необыкновенных событий. Началось с того, что ночью в вагоне он сильнейшим толчком был сброшен с дивана, а когда ошеломленно вскочил на ноги, кто-то хрипло закричал в лицо ему:

— Что? Крушение? — и, толчком плеча снова опрокинув его на диван, заорал:

— Спички... чорт! Эй, вы, кто тут? Спички!

Вагон встряхивало, качало, шипел паровоз, кричали люди; невидимый в темноте сосед Клима сорвал занавеску с окна, обнажив светло-голубой квадрат неба и две звезды на нем; Самгин зажег спичку и увидел перед собой широкую спину, мясистую шею, жирный затылок; обладатель этих достоинств, прижав лоб свой к стеклу, говорил вызывающим тоном:

— Ну, что же? Стоим у семафора. Ну?

Дверь купэ открылась, кондуктор осветил его фонарем, спрашивая:

— Все благополучно? Никто не ранен?

— М-морды, — сказал человек, выхватив фонарь из рук его, осветил Самгина, несколько секунд пристально посмотрел в лицо его, потом громко отхаркнул, плюнул под столик и сообщил:

— Теперь не уснуть!

Слабенький и беспокойный огонь фонаря освещал толстое, темное лицо с круглыми глазами ночной птицы; под широким, тяжелым носом топырились густые серые усы, правильно круглый череп густо зарос енотовой шерстью. Человек этот сидел, упираясь руками в диван, спиной в стенку, смотрел в потолок и ритмически сопел носом. На нем — толстая шерстяная фуфайка, шаровары с кантом, на ногах полосатые носки; в углу купэ висела серая шинель, сюртук, портупея, офицерская сабля, револьвер и фляжка, оплетенная соломой.

— Какого же дьявола стоим? — спросил он, не шевелясь. — Живы, — значит надо ехать дальше. Вы бы сходили, узнали...

— Удобнее это сделать вам, военному, — сказал Самгин.

— Военному! — сердито повторил офицер. — Мне сапоги одевать надо, а у меня нога болит. Надо быть вежливым...

Он снял фляжку, отвинтил пробку и, глотнув чего-то, тяжко вздохнул. Опасаясь, что офицер наговорит ему грубостей, Самгин быстро оделся и вышел из вагона в голубой холод. Ночь была прозрачно-светлая, очень высоко, почти в зените бедного звездами неба, холодно и ярко блестела необыкновенно маленькая луна, и все вокруг было невиданно: плотная стена деревьев, вылепленных из снега, толпа мелких, черных людей у паровоза, люди покрупнее тяжело прыгали из вагона в снег, а вдали — мохнатые огоньки станции, похожие на золотых пауков.

Самгин пошел к паровозу, его обгоняли пассажиры, пробежало человек пять веселых солдат; в центре толпы у паровоза стоял высокий жандарм в очках и двое солдат с винтовками, с тендера наклонился к ним машинист в папахе. Говорили тихо, и хотя слова звучали отчетливо, но Самгин почувствовал, что все чего-то боятся.

— Дотащишь до станции? — спросил жандарм.

— Нельзя, — сказал машинист.

Кто-то вздохнул.

— Черти! Убьют и не охнешь.

Самгин тихонько спросил солдата:

— Что случилось?

— В паровозе что-то, — неохотно ответил солдат, но другой возразил ему:

— Да нет! Рельса на стрелке лопнула.

Коренастый солдат вывернулся из-за спины Самгина, заглянул в лицо ему и сказал довольно громко:

— Это нас, усмиряющих, хотели сковырнуть некоторые злодеи!

И, сделав паузу, он прибавил:

— В очках.

Первый солдат миролюбиво вмешался:

— Ничего неизвестно.

Но коренастый не уступал:

— Жандарм сказал: покушение...

Коренастый солдат говорил все громче, голос у него немножко гнусавил и звучал едко.

— Такие голоса подстрекают на скандалы, — решил Самгин и пошел прочь, к станции, по тропе, рядом с рельсами, под навесом елей, тяжело нагруженных снегом. Впереди тяжело шагал человек в шубе с лисьим воротником, в меховой шапке с наушниками, по шпалам тоже шли пассажиры; человек в шапке сдержанно говорил:

— Мало у нас порядка осталось.

— Смятение умов, — поддержал его голос за спиной Самгина.

— Никто никого не боится, — сказал человек в шубе, обернулся, взглянул в лицо Клима и, уступив ему дорогу, перешагнул на шпалы.

У паровоза сердито кричали:

— Где у вас командир?

— Не твое дело. Ты нам не начальство.

— Смотри у меня.

Гнусавый голос взвизгнул:

— А что на тебя смотреть, ты — девка? Наплевать мне в твои очки.

«Это он жандарму», — сообразил Самгин и, сняв очки, сунул их в карман пальто.

— Маловато порядка, — сказал человек в лисьей шубе и протяжно зевнул.

Чувствуя себя, как во сне, Самгин смотрел вдаль, где среди голубоватых комов снега видны были черные бугорки изб, горел костер, освещая белую стену церкви, красные пятна окон и раскачивая золотую луковицу колокольни. На перроне станции толпилось десятка два пассажиров, окружая троих солдат с винтовками, тихонько спрашивая их:

— Ну и — пороли?
— А, как же?
— Прикажут, и вас выпорем...
— А баб — не приходилось? — спросил человек в шапке с наушниками и поучительно, уверенно заговорил, не ожидая ответа:— Баб следует особенно стращать, баба на чужое жаднее мужика...
К перрону подошла еще группа пассажиров; впереди, прихрамывая, шагал офицер, в походной форме он стал еще толще и круглее.
— Ну, в чем дело? — резко крикнул он; человек в шапке, запахнув шубу, выпрямился, угодливо заговорил:
— Подозревается — крушение хотели устроить...
— Я спрашиваю не вас, — свирепо рявкнул офицер. — Где начальник станции?
Подбежал жандарм в очках, растолкал людей и, задыхаясь, доложил, что начальник разъезда телеграфирует о повреждении пути, требует рабочих.
— Предполагаю злоумышление, ваше благородие, рельсы на стрелке...
— А ты чего смотрел, морда? — спросил офицер и, одной рукой разглаживая усы, другой коснулся револьвера на боку, — люди отодвинулись от него, несколько человек быстро пошли назад к поезду; жандарм обиженно говорил:
— Я, ваше благородие, вчера командирован сюда...
— Командирован, ну, и не зевай!
Офицер повернулся спиной к нему:
— Это что за солдаты?
— Бузулукского резервного батальона из отряда, расквартированного по бунтующей деревне, — скороговоркой рапортовал рослый солдат с мягким, бабьим лицом.
— Бунтующей, дурак! Пошел прочь...
Офицер вынул из кармана коробку папирос, посмотрел вслед солдатам и крикнул:
— Ходите, как индюки... — Закончив матерщиной, он оглянулся и пошел на Самгина, говоря: — Разрешите...
А закурив от папиросы Клима, назвал себя:
— Поручик Трифонов.
— Самгин.
— Учитель?
— Юрист.
— Адвокат, — подумав, сказал поручик и кивнул головой. — Из мелких, — продолжал он, усмехаясь. — Крупные — толстые, а вы — из таких, которые раздувают революции, конституции, — верно?
Самгин попробовал отойти, но поручик взял его под руку и повел за собой, шагая неудобно широко, прихрамывая на левую ногу, загребая ею. Говорил он сиповато, часто и тяжело отду-

вался, выдувая длинные струи пара, пропитанного запахами вина и табака.

— Из неудачников, — говорил он, толкая Самгина. — Ни-и черта у вас, батя, не выйдет, перещелкаем мы вас, эдаких, расколаем, как яйца...

— Животное, — мысленно обругал его Самгин и сердито спросил: — Почему вы думаете, что я...

— Я — не думаю, а — шучу, — сказал поручик и плюнул.

Его догнал начальник разъезда:

— Вы звали меня?

Поручик приостановился, взглянул на него, помолчал и махнул рукой.

— Не надо.

Крепко прижимая локтем руку Самгина, он продолжал ворчливо мятыми словами, не доканчивая их:

— Я сам — неудачник. Трижды ранен, крест имею, а жить — нечем. Живу на квартире у храпондола... в лисьей шубе. Он с меня полтораста целковых взыскивает судом. На вокзале у меня украли золотой портсигар, подарок товарищей...

Подошли к поезду, офицер остановился у подножки вагона и, пристально разглядывая лицо Самгина, пробормотал:

— Впрочем, я его заложил в ломбарде, портсигар. Сестре скажу — украли!

Выпученные, рачьи глаза его делали туго надутое лицо карикатурным. Схватив рукой в перчатке медный поручень, он спросил:

— Хотите коньяку? Французский...

Самгин отказался. Поручик Трифонов застыл, поставив ногу на ступень вагона. Было очень тихо, только снег скрипел под ногами людей, гудела проволока телеграфа и сопел поручик. Вдруг тишину всколыхнул, разрезал высокий, сочный голос, четко выписав на ней отчаянные слова:

— Последний, нонешний денечек...
Гуляю с вами я, друзья.

— Денисов, сукин сын, — сказал поручик, закрыв глаза. — Хорист из оперетки. Солдат — никуда! Лодырь, пьяница. Ну, а поет, — слышите?

Пели два голоса, второй звучал басовито и мрачно, но первый взмывал все выше.

— Ну, нет! Его не покроешь, — пробормотал поручик, исчезая.

В небе, недалеко от луны, сверкала, точно падая на землю, крупная звезда. Самгин, медленно идя к концу поезда, впервые ощущал с такой остротой терзающую тоску простенькой русской песни. Она воспринималась им, как нечто совершенно естественное в голубоватой холодной тишине, глубокой, как бывает только в сновидениях. Его догнал жандарм, но он и черная тень его —

все было скучно, так же, как деревья, вылепленные из снега, луна, величиной в чайное блюдечко, большая звезда около нее и синеватое, точно лед, небо — высоко над белыми холмами, над красным пятном костра в селе у церкви; не верилось, что там живут бунтовщики.

Но песня вдруг оборвалась, и тотчас же несколько голосов сразу громко заспорили, резко прозвучал начальственный окрик:

— А ты — кто такой?

Раздался дружный, громкий смех и сквозь него — сердитый возглас:

— Вот ка-ак?

Кто-то громко свистнул, издали ответил глухой свисток локомотива. Самгин остановился, вслушиваясь, но там, впереди, смеялись, свистели все громче и кто-то вскрикивал:

— Валяй, тащи его, тащи всех...

Отделился и пошел навстречу Самгину жандарм, блестели его очки; в одной руке он держал какие-то бумаги, пальцы другой дергали на груди шнур револьвера, а с боку жандарма и на шаг вперед его шагал Судаков, натягивая обеими руками картуз на лохматую голову; луна хорошо освещала его сухое, дерзкое лицо и медную пряжку ремня на животе; Самгин слышал его угрюмые слова:

— Ты бы не дурил, старик!

— Иди, иди! — строго крикнул жандарм.

Самгин, не желая, чтоб Судаков узнал его, вскочил на подножку вагона, искоса, через плечо взглянул на подходившего Судакова, а тот обеими руками вдруг быстро коснулся плеча и бока жандарма, толкнул его; жандарм отскочил, громко охнул, но крик его был заглушен свистками и шипеньем паровоза, — он тяжело вкатился на соседние рельсы и двумя пучками красноватых лучей отрезал жандарма от Судакова, который, вскочив на подножку, ткнул Самгина в бок чем-то твердым.

Не устояв на ногах, Самгин спрыгнул в узкий коридор между вагонами и попал в толпу рабочих, они тоже, прыгая с паровоза и тендера, толкали Самгина, а на той стороне паровоза кричал жандарм, кричали молодые голоса:

— Не мешай, дядя!

— Не бунтуй, старик, не велят!

— Кто убежал?

Шипел паровоз, двигаясь задним ходом, сеял на путь горящие угли, звонко стучал молоток по бандажам колес, гремело железо сцеплений; Самгин, потирая бок, медленно шел к своему вагону, вспоминая Судакова, каким видел его в Москве, на вокзале: там он стоял, прислонясь к стене, наклонив голову и считая на ладони серебряные монеты; на нем — черное пальто, подпоясанное ремнем с медной пряжкой, подмышкой — маленький узелок, картуз на голове не мог прикрыть его волос, они торчали во все стороны и свешивались по щекам, точно стружки.

— Неотесанная башка, — подумал тогда Самгин, а теперь он думал о звериной ловкости парня: — Толкни он жандарма на несколько секунд позже, — жандарм попал бы под колеса паровоза...

— Эй, барин, ходи веселей! — крикнули за его спиной. Не оглядываясь, Самгин почти побежал. На разъезде было очень шумно, однако казалось, что железный шум торопится исчезнуть в холодной, всепоглощающей тишине. В коридоре вагона стояли обер-кондуктор и жандарм, дверь в купэ заткнул собою поручик Трифонов.

— Штатский? — вполголоса, изумленно и сипло спрашивал он. — Срезал револьвер?

— Так точно, — тихо ответил жандарм; он стоял не так, как следовало стоять перед офицером, а — сутуло и наклонив голову, но руки висели по швам.

— Обезоружил? И — удрал?

— Так точно. Должен быть в поезде.

— Солдаты ищут, — вставил обер.

Поручик трижды, не громко и раздельно хохотнул:

— Хо-хо-хо! Это — номер! — сказал он, хлопая ресницами по глазам, чмокнул губами. — Ах, ты, м-морда! Ну — и влетит тебе! И — заслужил! Ну, что же ты хочешь, а?

— Ваше благородие...

— Чтобы моих людей гонять? Нет, будь здоров! Скажи спасибо, что тебе пулю в морду не вкатили... Хо-хо-хо! И ступай! Марш!...

Жандарм тяжело поднял руку, отдавая честь, и пошел прочь, покачиваясь, обер тоже отправился за ним, а поручик, схватив Самгина за руку, втащил его в купэ, толкнул на диван и, закрыв дверь, похохатывая, сел против Клима — колено в колено.

— Понимаете, — жулик у жандарма револьвер срезал и удрал, а? Нет, — вы поймите: привилегированная часть, охрана порядка, мать... Мышей ловить, а не революционеров! Это же — комедия! Ох!..

Он захлебнулся смехом, засипел, круглые глаза его выкатились еще больше, лицо побагровело, надулось, кулаком одной руки он бил себя по колену, другой схватил фляжку, глотнул из нее и сунул в руки Самгина. Клим, чувствуя себя озябшим, тоже с удовольствием выпил.

— Замечательный анекдот! Р-революция, знаете, а? Жулик продаст револьвер, а то ухлопает кого-нибудь... из любопытства может хлопнуть. Ей-богу! Интересно пальнуть по человеку...

— Напился, — отметил Самгин, присматриваясь к поручику сквозь очки, а тот заговорил тише, почти шопотом и очень быстро:

— Еду охранять поместье, завод какого-то сенатора, администратора, вообще — лица с весом! Четвертый раз в этом году. Мелкая сошка, ну и суют, куда другого не сунешь. Семеновцы — Мин, Риман, вообще — немцы, за укрощение России получат на чаиш-

ко... здорово получат! А я, наверное, получу колом по башке. Или — кирпичом... Пейте, французский...

Шумно вздохнув, он опустил на глаза тяжелые, синеватые веки и потряс головой.

— Бессонница! Месяца полтора. В голове — дробь насыпана, знаете — почти вижу: шарики катаются, ей-богу! Вы что, молчите? Вы — не бойтесь, я — смирный! Все — ясно! Вы раздражаете, я — усмиряю. «Жизнь для жизни нам дана», как сказал какой-то Макарий, поэт. Не люблю я поэтов, писателей и всю вашу братию — не люблю!

Он снова глотнул из фляжки и, зажав уши ладонями, долго полоскал коньяком рот. Потом, выкатив глаза, держа руки на затылке, стал говорить громче:

— Я — усмиряю и меня тоже — усмиряют. Стоит предо мной эдакий великолепный старичище, морда — умная, честная морда, — орел! Схватил я его за бороду, наган — в нос; понимаешь, говорю? «Так точно, ваше благородие, понимаю», — говорит, — «сам — солдат турецкой войны, крест, медали имею, на усмирение хаживал, мужиков порол, стреляйте меня, — достоин! Только, — говорит, — это делу не поможет, ваше благородие, жить мужикам — невозможно, бунтовать они будут, всех не перестреляете». Н-да... Вот — морда, а?

Рассказывая, он все время встряхивал головой, точно у него по енотовым волосам муха ползала. Замолчав и пристально глядя в лицо Самгина, он одной рукой искал на диване фляжку, другой поглаживал шею, а схватив бросил фляжку на колени Самгина.

— Пейте, какого чорта!...

— Возможно, что он ненормален, — соображал Самгин, глотнул коньяку и, положив фляжку рядом с собой, покосился на револьвер в углу дивана.

— Отличный старик! Староста. Гренадер. Догадал меня чорт выпить у него в избе крынку молока, ну — понятно жара, устал! Унтер, сукин сын, наболтал чего-то адъютанту; адъютант — Фогель, командир полка — барон Цилле — вот она где у меня села, эта кринка!

Поручик Трифонов пошлепал себя ладонью по шее. Вагон рвануло, поручик покачнулся и крикнул:

— Сволочи! Давайте — выпьем! Вы что же молчите?

— Думаю о вашей драме, — сказал Самгин.

— Драма, — повторил поручик, раскачивая фляжку на ремне.— Тут не драма, а — служба! Я театров не выношу. Цирк — другое дело, там ловкость, сила. Вы думаете — я не понимаю, что такое — революционер? — неожиданно спросил он, ударив кулаком по колену, и лицо его даже посинело от натуги. — Подите вы все к чорту, довольно я вам служил, вот что значит революционер, — понимаете? За-ба-стовщик...

— Конечно, — миролюбиво сказал Самгин, но это не успокои-

ло поручика; он вцепился пальцами в колено Клима и хрипло шептал:

— Вы, штатский, думаете, что это просто: выпорол человек... семнадцать или девять, четыре — все равно и — кончено — лег спать, и спи до следующей командировки, да? Нет, извините, это не так просто. Перед этим надобно выпить, а после этого — пить! И — долго, много! Для Мина, Римана, Ренненкампфа — просто, они — как там? — преторианцы, они служат Нерону и вообще, — Наполеону, а нам, пехоте... Капитан Татарников — читали? — перестрелял мужиков, отрапортовался и тут же себе пулю вляпал. Это называется скандал! Подняли вопрос: с музыкой хоронить или без? А он, в японскую, батальоном командовал, получил двух Георгиев, умница, весельчак, на биллиарде божественно играл...

Вагон сново тряхнуло, поручик тяжело опрокинулся на бок и спросил:

— Поехали?

А когда поезд проходил мимо станции, он, взглянув в окно, сказал с явным удовольствием:

— Жандарм-то стоит, морда! Взгреют его за револьвер.

Теперь в железном шуме поезда сиплый голос его звучал еще тише, слова стали невнятны. Он закурил папиросу, лег на спину, его круглый живот рыхло подрыгивал, и казалось, что слова булькают в животе:

— Пехота... чернорабочая сила, она вам когда-нибудь покажет та-а-кую Испанию, та-а-кое про-ронунциаменто...

Самгин не слушал, находя, что больше того, что сказано, поручик не скажет.

— Опора самодержавия, — думал он сквозь дремоту, наблюдая, как в правом глазе поручика отражается огонь свечи, делая глаз похожим на крыло жука.

— Наверное он — не один таков. И, конечно, будет пороть, расстреливать. Так, вот, большинство людей исполняют обязанности, не веря в их смысл...

Это была очень неприятная мысль. Самгин закутался пледом и отдал тело свое успокоительной инерции, толчков и покачиваний. Разбудил его кондуктор, открыв дверь:

— Русьгород.

Поручика в купе уже не было, о нем напоминал запах коньяка, медный изогнутый прут и занавеска под столиком.

В окно смотрело серебряное солнце, небо — такое же холодно голубое, каким оно было ночью, да и все вокруг так же успокоительно грустно, как вчера, только светлее раскрашено. Вдали на пригорке, пышно окутанном серебряной парчей, курились розовым дымом трубы домов, по снегу на крышах ползали тени дыма, сверкали в небе кресты и главы церквей, по белому полю тянулся обоз, темные маленькие лошади качали головами, шли толстые мужики в тулупах, — все было игрушечно мелкое и приятное глазам.

СЕМЕНОВЦЫ НА КАЗАНКЕ

В. ВЛАДИМИРОВ



В. Владимиров был сотрудником либеральной части буржуазной прессы. Пройдя по следам «усмирителей», буржуазный журналист не смог не засвидетельствовать их кровавых зверств. Нашумевшая в свое время правдивая книга доставила автору беспокойство и опасность. Воспроизведенный рисунок обложки его книги изображает сцену расстрела рабочих на Казанской железной дороге отрядом лейб-гвардии Семеновского полка.

1. ПЕРОВО

...Старший помощник начальника станции Орловский был на платформе в то время, когда приехал Семеновский отряд. Еще накануне он слышал от своего прямого начальника Фролова, что приедет начальство устанавливать на линии порядок. Ждали казаков.

Когда Орловский увидал, что всех согнали с платформы и солдаты угрожающе держали себя по отношению к окружающим, а аппарат, сигнальные приборы и все дежурство станции перешло в руки солдат железнодорожного батальона, он пошел домой, как ненужный на своем посту, чтобы успокоить жену относительно своей судьбы.

Придя домой, он рассказал своей жене, как грубо и жестоко обращаются с публикой прибывшие солдаты, не казаки, которых все ожидали, а совсем другие, петербургские солдаты, посидел четверть часа дома и отправился на станцию. Больше домой он не возвращался. Это были последние пятнадцать минут, которые он подарил своей жене, не сознавая этого сам. Несчастная вдова получила на следующий только день изуродованный, обезображенный труп своего мужа.

Он был так сильно изуродован, что если бы не одежда, то нельзя было бы его признать. Все лицо было истыкано штыками. Глазные впадины были пробиты до мозга. Подбородок, щеки, нос представляли из себя сплошную кровавую маску...

...Рассказывают, что когда Орловский подходил к станции и уже поднялся на верхние ступеньки, полковник приказал расстрелять его. Несколько пуль сразили его, он упал еще живой, остальное было сделано штыками. Покончив с Орловским, полковник Риман встретился на платформе с другим помощником начальника станции Ларионовым, который был дежурным на станции. Ларионов возвращался с запасных путей, куда он отводил приехавший с семеновцами поезд. Риман, увидев его в форме, спросил: — Вы помощник начальника станции Ларионов?

— Да.

— Идите ко мне в кабинет.

Через несколько минут они оттуда вышли, и полковник громко ему сказал:

— Следуйте за мной!

Не доходя несколько шагов до того места, где стояли четыре солдата, около лесенки, раздалась грозная команда.

— В штыки его!

Первый удар штыка пришелся в позвоночник. Ларионов упал, в страшных муках, начал кричать, просить пощады, милосердия. На него посыпались удары штыками.

Раздался отчаянный вопль, который разнесся далеко по окрестности.

Свидетельница О. рассказывала, что находясь далеко от станции, она слышала душураздирающий крик Ларионова, когда, по ее выражению, «его пороли штыками». Наконец, его запороли до смерти, и офицер для успокоения своей совести, чтобы не оставить его в живых, выстрелил в висок. То, чего так долго молил бедняга Ларионов, — чтобы последним выстрелом прекратить его ужасные страдания, — он получил после своей смерти...

...В третьем часу дня путевой сторож Дрожжин, сидя у себя дома, обратился к своей старухе с просьбой, чтобы вместо него она пошла на Симоновский путь для исполнения служебных обязанностей.

— Мне как-то жутко, ступай сам, — ответила старуха.

— Ну, ладно, попью чайку, схожу, успею еще, — согласился сторож и, напившись чаю, отправился. Не успел он дойти до своего участка, как меткая пуля попала ему в живот. и, когда он упал, солдаты набросились на него и начали пороть штыками. Особенно пострадал живот, так что кишки выпали наружу и примерзли к одежде. Солдаты, думая что с ним покончили совсем, пошли далее. Несчастный Дрожжин был жив и пролежал на морозе четыре часа с распоротым животом, в седьмом часу вечера его подняли санитары и отнесли к себе в вагон: только в первом часу ночи он умер на их руках, после того, как они зашили ему кишки

и живот. На другой день старуха получила его труп и сама похоронила...

...К Ешукову пришли солдаты на квартиру с обыском и своим резким бесцеремонным обращением с ним начали его раздражать. Он все крепился и терпел. Когда же его имущество и вещи полетели в разные стороны, постель и подушки оказались на полу вместе с добром из сундуков, он сделал какое-то замечание, и, получив в ответ на это грубые ругательства со стороны солдат, вступил с ними в пререкания. Несколько раз офицер крикнул ему «молчать», но тот все не унимался.

Обыск приходил уже к концу, никакого оружия не было найдено, но общее раздражение все росло. Перед тем как уходить солдатам, офицер приказал Ешукову следовать за ним.

Выйдя на улицу, он скомандовал солдатам: — Расстрелять его!

И тут же на шоссе, ведущем к Карачарову, несколькими выстрелами его убили.

Он работал в качестве молотобойца в железнодорожных мастерских...

2. ЛЮБЕРЦЫ

Солдаты, остановив поезд за полторы версты, группами по пять—шесть человек, стали подходить с разных сторон к станции.

Когда шла первая группа, повстречались им три заводских слесаря, из которых один, Казаков, нес под мышкой в слесарную для починки сломанный револьвер. Солдаты их остановили и велели поднять руки кверху. Когда Казаков исполнил приказание, револьвер выскользнул из подмышки и... упал на снег. Тогда близстоящий солдат с размаху ударил Казакова штыком, и тот упал в момент, когда остальные выстрелили в него. Пули просвистали мимо, а Казаков вскочил на ноги и, давай бог ноги, на утек. По нем было сделано еще несколько выстрелов, но он успел забежать за дом и скрыться в одной частной квартире, где ему сделали перевязку.

Одна из пуль попала ему в руку и раздробила кисть, так что Казакову пришлось лечь в больницу в Краскове, где ему отрезали руку. Остальные же двое его приятелей разбежались в разные стороны и остались целы.

Придя на станцию, солдаты никого там не встретили, но через несколько минут пришел помощник начальника станции Смирнов и спросил их, зачем они приехали сюда и какого полка.

В свою очередь те тоже спросили, кто он таков.

— Я Смирнов, — ответил помощник начальника станции.

— Вас-то нам и нужно, — сказали солдаты и арестовали его, посадив в контору станции. Когда пришел полковник Риман, он объявил Смирнову, что через некоторое время его расстреляют, уговаривал его назвать своих товарищей и тех лиц, которые ездили с поездом, уехавшим в Фаустово, и указать, где они теперь скрываются.

Смирнова арестовали в середине дня, продержали всю ночь, заставили испытать чувство ожидания смерти и только на следующее утро, часов около восьми, привели казнь в исполнение.

Н. Ф. Смирнова вывели на платформу к водокачке, и Риман сам выстрелил ему в упор в лицо. Пуля попала в шею, его лицо исказилось в страшных муках, но он все-таки оставался стоять на месте; вторая пуля скользнула по затылочной части, не убив его, и только третьим выстрелом в висок были прекращены его страдания, он упал на снег...»



Карательный отряд на станции Люберцы.
С карт. художн. Лещинского

3. ГОЛУТВИНО

Семеновцев на станции не ожидали. Не ожидали даже какого-либо поезда, так как со станции отправления не было дано извещения...

Когда поезд подходил к станции, солдаты стали спрыгивать, не ожидая остановки, на тихом ходу с площадок вагонов, заняли переезд на Коломенский завод, рассыпались по путям станции, окружили все запасные пути, станцию и прилегающую дорогу.

Внутри окруженного пространства оказалось человек триста, которые были препровождены на станцию.

На платформе было много народа, но сразу все отхлынули внутрь вокзала, затем вышел полковник Риман с московскими жандармами, которые начали показывать все двери и рассказывать, куда какая ведет, так что видно было, что они знали уже раньше расположение вокзала.

Ко всем ходам и выходам станции были приставлены часовые; главный же выход на улицу был заколочен еще до приезда семеновцев.

Дежурил по станции в это время Тупицын. Его задержали в дежурной комнате, а дежурство сдали Климову. Тупицыну не позволили выходить из этой комнаты.

На станции в это время случайно находился начальник станции Надеждин: он пришел сюда за порошками, так как был совершенно болен и еще накануне сдал станцию своему второму помощнику Никитину.

После ареста Тупицына, солдаты отвели его в товарную контору, где находился полковник Риман и пять—шесть офицеров.

Один из офицеров подвел его к стене, где была приклеена служебная телеграмма:

«Станция Голутвино. Пропустить товарный поезд». Подпись — «Стачечный комитет», и спросил:

— Что это за депеша? Где у вас стачечный комитет?..

В это время подошел начальник станции Надеждин и, сказав: «Вот еще депеши», — вынул из кармана несколько штук, полученных им в последние дни, кроме того снял еще целую пачку таких же депеш с крючка и при этом объяснил: «Стачечного комитета в Голутвине нет и не было. Эти телеграммы рассылались со станции отправления, и когда нам сообщали, что такой-то поезд вышел, мы принимали его и отправляли дальше.

О происходящем мы сообщали своему начальству в Москву, но оттуда ответа не имели. Также не получали из Москвы никаких распоряжений или указаний от своего начальства. Вам может подтвердить начальник депо, что комитета не было».

Тут же подошел другой офицер, маленького роста, брюнет, и резко заметил: «Чего его спрашивать, его надо в общую кучу!»

Но полковник Риман возразил: «Даю вам полчаса на размышление, после чего вы будете расстреляны!»...

...Риман с солдатами встал в коридоре, отделяющем телеграфную комнату от черного холодного выхода.

В этом коридоре имеется только две двери... Дверь направо вела к выходу на улицу. Через эту дверь проходили все те, кто получал свободу.

Дверь налево вела в телеграфную комнату, где ожидала несчастных смерть.

Никто из входящих сюда не предполагал, что его ждет смерть...

...В течение двух—трех часов все обыски были закончены. В телеграфную комнату доставлены двадцать четыре человека...

...В 5 часов вечера полковник Риман, выстроив солдат в шеренгу на платформе вокзала, вызвал из телеграфной комнаты двенадцать человек и велел следовать им под конвоем на запасные пути к семафорной будке.

Несчастные предполагали, что их ведут в вагон, чтобы отправить в Москву на дознание. Сторож, отворив дверь на платформу, пропустил несчастных мимо себя, будучи уверен, что их отправляют в Москву. Они разговаривали между собой, держа себя весьма беспечно.

Последовать за ними сторож не посмел, но приотворил дверь и слушал. Через несколько минут сторож услыхал два залпа и затем много частых выстрелов. Тогда он понял, что произошло.

Когда арестованные прошли саженей семьдесят от станции вправо, по направлению к Рузаевке, раздался по ним по команде полковника залп, затем другой, и когда все упали и корчились в снегу от ран, их добили отдельными выстрелами...

...Вернулись к тем двенадцати, которые остались в телеграфной комнате... Они не верили, что без суда можно убивать людей!.



Расстрелы на Московско-Казанской железной дороге.
Репродукция из журнала «Забияка», № 1, 1905 г.

Направляясь к тому же угольному складу, наткнувшись в темноте на трупы убитых, они тогда только сообразили, что их ждет...

Но было поздно: залпы, один за другим, не дали сказать ни слова, ни звука!!

Ряд отдельных выстрелов, быстрых и частых, покончил на веки их мученья!..

Я видел это место, где были убиты эти двадцать четыре ни в чем неповинных человека. В стенке угольных кирпичей имеется много углублений от пуль. Всего более этих углублений сделано на половине высоты человеческого роста. Надо думать, стреляли им в живот...

...Всю ночь семья Надеждиных не ложилась спать, ожидая с часу на час, что вот-вот сейчас вернется сам Надеждин, и тогда они спокойно уснут. В воздухе чувствовалось что-то зловещее: мертвая тишина на станции, холодное равнодушие часовых и гне-

тущая неизвестность невольно настраивали человека самым мрачным и подавляющим образом. Утром, когда еще было темно, Надеждина послала сына на разведки. «Ничего не узнал», — был его ответ, несколько раз он ходил туда и все безрезультатно. В это время прибежала маленькая девочка вдовы Шелухиной и говорит:

— У нас папы нет со вчерашнего вечера...

— У нас тоже нет, — ответила Надеждина.

Через несколько минут вбегает сын-гимназист и с возгласом: «Убили, всех убили...» — падает на скамью в передней.

Слово «убили», как искра, разнеслось по всей местности от одного к другому, из жилища в жилище...

★

СМЕРТЬ ГРОШИКОВА

С. МСТИСЛАВСКИЙ

Советский писатель С. Мстиславский — участник первой революции. В ряде своих произведений ярко отразил события 1905 г. Помещаемый отрывок из повести «Семеновцы» рисует кровавую расправу карательного отряда полковника Римана с железнодорожниками Московско-Казанской железной дороги.

I

— Капитан Майер! Это — все ваши? Поставьте их в ряд...

Риман подошел к отдельно стоявшей кучке арестованных. Их было одиннадцать. С ним вместе подошел жандарм — тот самый, погребной — Якубиков.

— Все взяты вместе?

— Так точно. В трактире. Слесаря: с завода Пурдэ. Кроме одного.

Майер показал на высокого бритого мужчину в шубе.

— У этого при задержании отнят револьвер. По фамилии он — Поспелов.

Риман кивнул.

— В сторону. Так. Слесаря? Значит, совещание было?

— Помилуйте, ваше превосходительство, чай пили. А я и вовсе сторона. Даже не за ихним столом и сидел.

Риман оглянул говорившего.

— Ты что, — мужик?

Крестьянин обрадованно закивал:

— Православный, как же! Деревня тута — рукой подать: меня всяк человек знает.

— Как же ты, православный, на такое дело пошел? — полковник покачал головой. — К слесарям припутался? А ну, стань в сторонку, к высокому.

Он помолчал, всматриваясь в лица. Потом протянул руку и ткнул в грудь молодого рабочего.

— Этого.

Майер зацепил рабочего пальцем за воротник, под бороду, и отвел к высокому и крестьянину. Риман сделал шаг вперед вдоль шеренги.

— Этого.

Еще шаг.

— Этого.

Дойдя до левого фланга, он окликнул:

— Сколько, капитан?

— Шестеро, господин полковник.

— Маловато. — Риман снова медленным шагом пошел вдоль шеренги. — Разве вот этого?

Майер подошел и взял за плечо худого низкорослого рабочего в заплатанной, но опрятной короткой ватной куртке.

Риман усмехнулся.

— В чем душа держится, а туда ж... бунтовать! Приобщите его к коллекции.

Он очень пристально оглядел четверых остальных и махнул брезгливо рукой.

— Эти — действительно случайные. Гоните их в шею. Пусть за нас бога молят.

Отвернулся и пошел к вагону. Майер догнал.

— Кому прикажете... экзекуцию?

Риман ответил на ходу:

— Вы начали — вы и кончайте. Возьмите полуроту.

— Постойте-ка, полковник! — окликнул голос. Риман обернулся. Высокий шагнул к нему, запахивая шубу.

— Ну, ежели пришло к тому, чтобы помирать, так помирать под собственным именем. Я — Ухтомский.

По платформе прошло движение. Даже у Римана чуть дрогнуло лицо. Об Ухтомском, о том, как он вывел поезд с железнодорожной дружиной под перекрестным пулеметным и ружейным огнем, прорвав наглухо, казалось, мертвой хваткой замкнутое кольцо царских войск, по Москве уже слагались легенды.

Жандарм подбежал иноходью. Ухтомский засмеялся ему в лицо.

— Ворона! Два раза обыскивал, три раза допрашивал, а стоило мне усы снять — и уже не опознал. Даром тебе деньги платят.

Риман и офицеры вопросительно смотрели на жандарма. Он смущенно кашлянул и подтвердил:

— Действительно. Он самый. Ухтомский.

Риман помолчал, наклонив голову набок, как будто в знак уважения. Затем сказал медленно:

— Вы — храбрый человек. Я уважаю храбрых. Хотя бы и врагов. Имеете какие-нибудь пожелания?

Ухтомский подумал немного.

— Разве вот... шубу, деньги, часы — жене.

— Будет исполнено. Еще? — Полковник прищурился, соображая. — Может быть, священника?.. Я согласен дать вам возможность умереть, как христианину.

— Мне? Или всем?.. — Ухтомский оглянулся на остальных осужденных.

Риман помолчал, пожевал сухими губами и ответил нехотя:

— Хорошо. Пусть всем.

— «Непостыдные кончины живота нашего...» — церковным распевом, звучно и смешливо произнес Ухтомский. — Что ж, посылайте за отцом духовным. Подождем.

Он перевел взгляд на поезд, на железнодорожное полотно, изгибом уходившее в снежную даль. Зрачки сверкнули.

Риман перехватил этот взгляд и сказал без насмешки:

— Ждете *своего* поезда? Не будет.

*

Уже начинало смеркаться, а исповедь все еще шла. Капитан Майер нервничал, в десятый раз подходя к двери телеграфной, в которую уединился священник с арестованными. Он дважды докладывал Риману, но Риман только потер довольным жестом руки.

— Пари держу — это штуки Ухтомского. Орел! Он или ждет выручки, что, впрочем, невероятно, или выигрывает время до темноты: они готовят побег, слесаря, будьте уверены.

Адъютант приоткрыл дверь купе.

— Батюшка просит принять.

Полковник посмотрел в окно.

— Еще светло, все-таки. Я думал, они его дольше проволочат. Проси.

Священник, старенький, вошел, испуганно тряся седой клочкастой бородкой. Риман встал, сложил ладони горсткой, подошел под благословение.

— Прошу, ваше преподобие, — полковник указал на диван. — Изволили узнать на исповеди что-либо для блага государства существенное? Пришли сообщить, по долгу верноподданного?

Священник перевел дух, выпростал из-под шубы большой позолоченный крест на жидкой цепочке и взялся за него обеими руками.

— Предстателем к вам... по долгу пастырскому... Тайной исповеди... и саном иерейским свидетельствую: не повинны... Единый и был — Ухтомский... Но и сей перед лицом божиим умягчился: каялся, в слезах... А прочие все и вовсе непричастны... ни к коей смуте...

Риман сощурился и похлопал священника по коленке.

— Бросьте, батюшка. Точно я не знаю, что было. Исповедыва-

лись? Вранье. Никто не исповедывался. Ухтомский каялся? Вранье. И не думал каяться... А просто они вас припугнули...

Священник приподнял ладони, словно защищаясь, но Риман продолжал так же ласково и так же беспощадно:

– Я же вас не виню... Я же понимаю, по человечеству: приход, попадья, коровка, свинки, уточки... что еще... Откажешься представительствовать — еще в самом деле напакостят...

— Христом богом свидетельствую... — начал священник.

Риман нахмурился.

— Бросьте, я сказал... Если вы будете самому себе вопреки настаивать, разговор наш может принять другой оборот и... не в обиду вам будь сказано — попадья ваша и шерсти от вас не найдет.

Он встал.

— Виновных отобрал я. Сам. Я в своем глазе уверен: я узнаю сукина сына социалиста, хотя б он был трижды оборотень. Мне ни документов, ни допросов не нужно: я чутьем чую. Понятно? Раз я расстрелял — никаких «невинных» быть не может. Вы отысповедовали п р е с т у п н и к о в. Именно в таких выражениях вы составите рапорт о совершонном вами таинстве, потому что исповедь могла дать только признание их в мятеже и убийствах. Вот в таком тексте уместно писать и о слезах и раскаянии, особенно Ухтомского: здесь полная воля вашим пастырским чувствам. Это будет назидательно. Вы меня поняли?

Он открыл дверь и приказал адъютанту:

— Выдайте его преподобию двадцать пять рублей за требу.

Священник поспешно поднял руку и благословил Римана.

— Покорно благодарю... и... не взыщите, господин полковник... Правильно вы определили... Воистину провидец...

Риман вышел к самому выступлению полуроты. Майер вел перекличку осужденных, проверяя список.

— Лядин Иван.

— Я.

— Крылов Сергей.

Молча выдвинулся вперед пожилой рабочий.

— Фунтов Алексей.

— Фунтов? — Риман усмехнулся. — Забавная фамилия, Майер, что?..

Он внимательно осмотрел Фунтова.

— А полушубок у него хороший. И шапка. Зажиточный, очевидно.

Он подумал и сузил зрачки.

— Ступай домой.

Фунтова шатнуло. Он дикими глазами глянул на полковника.

— То есть это... как... домой?

— Да так: к жене под подол, — засмеялся Риман. Я вижу: ты меньше других виноват. И священник о тебе говорил хорошо. Ты исправишься.

Фунтов оглянулся на товарищей. Шесть пар глаз пристально, точно не веря, смотрели на него. Фунтов шевельнулся и застыл опять. Риман заложил, жестом небрежным, руку за борт шинели.

— Стыдно бросать товарищей? Неудобно, а? Они через десять минут будут лежать на снежку собакам на корм, а ты — на перине с женой? — Он усмехнулся сухой, издевательской улыбкой.— Да, да, я понимаю: выходит вроде предательства.

— Иди, Фунтов! — сказал громко и резко Ухтомский и протянул руку. — Прощай, будь здоров.

Фунтов всхлипнул и схватил протянутую руку. Полковник щурился, наблюдая. Ухтомский повернул Фунтова за плечо лицом к выходу со станции.

— Иди, да не оглядывайся. А то будет, как в сказке.

Риман одобрительно качнул головой и сказал вполголоса Майеру:

— Я говорю: орел! Кончайте перекличку, капитан. Темнеет.

Майер откозырял и выкликнул:

— Личность не установлена.

— Я, — отозвался рабочий в заплатанной куртке, — тот, которого Риман отобрал последним: в пару Ухтомскому.

— Как? — Риман нахмурился. — Это еще что такое?

— Отказывается назвать себя, — почтительно доложил капитан. — Но, я полагал, это не имеет значения, поскольку самая личность налицо.

— Все равно — непорядок! — Риман еще туже сдвинул брови и обернулся к рабочему.

— Потрудитесь назвать себя.

Рабочий молчал. Риман повторил настойчивей.

— Потрудитесь назваться. Даже Ухтомский назвался.

— Рано, — снова усмехнулся безымянный. — Срок придет — назовусь.

Подумал секунду и добавил:

— А может и не назовусь.

II

Грабов обратил внимание: вместо того, чтобы оцепить арестованных, Майер построил полуроту обыкновенным походным порядком, приказав шестерым осужденным примкнуть с левого фланга. Майер точно подсказывал им попытку к побегу, тем более, что солнце быстро шло на закат, лес на горизонте уже зачернел и по снежному полю ложились, ширясь, лиловые тени. Убежать, правда, было некуда — местность открытая, и снег очень глубокий, лес далеко... но ведь даже и умереть на бегу не так мучительно, как умереть под расстрелом. Грабов недоумевал, шагая на фланге бывшего своего взвода, почему Майер, во всем берущий пример с Римана, хочет облегчить судьбу приговоренных, и напряженно ждал: вот сейчас Ухтомский свистнет Разбойничьим свистом и все побегут...

И только, когда, пройдя с полверсты за железнодорожное полотно, свернули с проселка прямо в поле, в сугробы, двинулись к кладбищу, и лица солдат зачернели в быстро падавшей темноте особой, свинцовой угрюмостью, Грабову вспомнился вчерашний день — платформа, штыки, — и ясно, твердо подумалось: Майер хотел побега не потому, что легче будет осужденным, а потому, что **солдатам** будет легче стрелять по бегущим.

Сумерки ползли, быстро застилая снег. Грабов еще раз оглядел шеренги. И ему стало жутко.

В 15-й роте — отбор людей не тот, что для роты его величества и вообще первых батальонов. Там каждый человек, как сквозь сито процежен; ненадежных там не найдешь. А в четвертом батальоне люди со всячинкой: есть и из мастеровых... А этих как ни муштруй... Ведь было ж и в Севастополе, и на «Потемкине», и во Владивостоке, и в Кронштадте... Во флоте дисциплина построже гвардейской, а все-таки...

— Полурота, стой! К но-ге!

Голос Майера был сух и четок. Грабов с невольной злостью вспомнил опять: играет под Римана.

— Поручик Грабов. Потрудитесь отсчитать пятнадцать шагов.

Грабов пошел, слыша за собой тяжелое и хриплое дыхание солдатской шеренги. Пятнадцать? Не много ли... для полной верности?.. Лучше застраховаться. Он сузил размах ног, пошел маленькими шажками, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега. Шесть... семь... десять... Обернулся для проверки и в упор за собой увидел (показалось — совсем, совсем близко к лицу) пристальные, глубоко и широко раскрытые глаза безымянного. Он был виден отчетливо весь, до последней черты, до морщинки на лбу, до малейшей трещинки на помятом, полопавшемся козырьке фуражки. И Грабов понял, что сделал дикую ошибку: на таком расстоянии только офицер не даст по ним промаха. Солдатам с такой дистанции стрелять нельзя. А осталось добрать всего пять шагов.

Он развернул шаг до предела и хотел даже накинуть шестнадцатый шаг, но его остановил окрик Майера:

— Пятнадцать. На месте, Грабов. Арестованные за мной!

Он пошел к отмеченному Грабовым рубежу. За ним — кучкой рабочие. Опять перед глазами поручика встало то же лицо. Теперь — самое ненавистное; ненавистней даже тех двух, на платформе. Он отодвинулся, отошел далеко в сторону, в сумрак. Мысль уперлась в одно: лица видны еще. Солдаты не будут стрелять... Проклятая 15-я рота!

— Стрелки, на линию.

Голос Майера был тверд. Но Грабов не поверил. Он вынул револьвер. Темнота падала.

В руках капитана забелел платок.

— Завяжите глаза. У кого платка нет — я дам.

Голос, спокойный, ответил:

— Нет, господин офицер. Мы глаз завязывать не будем.

Майер повернулся на голос. Он узнал его. Узнал и Грабов.

— Да... Ваша фамилия? Вы и теперь не скажете?

Человек в заплатанной куртке улыбнулся.

— Теперь скажу. Фамилия моя — Грошиков.

— Нет! — нервно выкрикнул Майер. — Вы мистифицируете опять. Вы нам в насмешку придумали.



Расстрел революционеров карательной экспедицией

— Вам бы Марата или, скажем так, Робеспьера? — медленно ответил рабочий. — Это что! А вот вы, господа хорошие, с Грошиковым потягайтесь... Между прочим, холодно, кончать пора.

— Завяжите глаза! — повторил упрямо капитан. — Или... повернитесь спиной.

По шеренге осужденных прошел ропот. Кто-то отозвался глухо:

— Жизни в глаза смотрели, так уж смерти и подавно посмотрим.

И опять Грошикова голос, насмешливый:

— Нет уж... придется вам в наши глаза посмотреть. Или еще подождете, до полной темноты?

Майер стиснул зубы, отступил в сторону и поднял платок. Грабов закрыл глаза.

— Полурота... пли!

Грянул сорванный залп. Сорванный, но все-таки залп. И тотчас — второй. Грабов радостно поднял веки. Пятеро лежало недвижно. Ухтомский бился и кричал что-то, роя головой снег...

Над всеми, качаясь на кривых, слабых ногах, одиноко стоял Грошиков. Он поднял руку и крикнул тихо и грозно:

— А меня что ж...

— Беглым! — крикнул, забыв о всякой дисциплине, Грабов и поднял револьвер.

Шеренга колыхнулась, ударила винтовка, другая... по всей линии затрещал беспорядочный, торопливый огонь. Грошиков упал головой вперед... перестал метаться по снегу Ухтомский, а солдаты все еще продолжали стрелять, лихорадочно сменяя обоймы. И видно было, как чертили по сугробам быстрый, сверлящий след пули. Напрасно кричал далеко отбежавший в сторону Майер:

— Отставить!

Назад шли не в ногу, развесив винтовки, цепляя штыком за штык. Офицеры кучкой шагали впереди роты, и Грабов видел: у Майера дергаются уши, что было у капитана всегда признаком величайшего волнения. Они шли молча, и только у самой станции Майер заговорил:

— Странное дело: вот два человека. Один — признанный герой. Его имя войдет, вошло уже в историю мятежа. О нем, может быть, стихи будут писать, потому что даже Риман отдал ему аттестацию: орел. Другой — ничто: человечишко в заплатанной куртке. И даже фамилия неприличная... чорт знает, какая фамилия... стыдно сказать вслух: Грошиков. Этот так и уйдет, как, наверно, пришел: без следа... никто о нем не напомнит... Маленький, кривенький, а, честно говоря, держится не хуже Ухтомского... А ведь Ухтомский — орел, герой... Так что ж это значит?

— Ухтомский нисколько не герой, только всего и значит, — испуганно и зло сказал Грабов и оглянулся назад, на солдат. — Он повернулся спиной, когда расстреливали.

— Нет! — Майер сбился с ноги.

— Повернулся! — разгораясь повторил Грабов. — Я видел собственными глазами... И когда вели к расстрелу, он плакал.

Офицеры некоторое время шагали молча. Затем капитан сказал:

— Ты, честью клянусь, все это только что выдумал, Грабов. Это — сплошное вранье, но гениальное вранье. То самое, которое нужно для истории.

III

Капитан Майер писал:

«По мере движения по полю к кладбищу, настроение Ухтомского стало меняться. Было очень трудно итти по глубокому снегу, доходившему до колен. Ухтомский постоянно спотыкался и, наконец, начал плакать. Остальные, наоборот, совершенно успокоились и уговаривали Ухтомского спокойно встретить смерть, однако это не действовало, так как его плач стал истеричным».

Грабов, прихлебывая чай из кружки, ревниво следил за пером

Майера. Дернул чорт сказать, со злости; надо было непосредственно доложить Риману. А теперь капитан снимет для себя сливки... Даже гауптвахты и той не отменят... За что?

Он задержал руку Майера.

— Ты пересаливаешь. Могут не поверить.

Капитан высвободил рукава и молча продолжал писать:

«Делая расчет полуроты перед расстрелом, я слышал, как осужденные требовали от Ухтомского, повернувшегося спиной, стать тоже лицом и, наконец, его уговорили... Команду я подал вполголоса, они стояли спокойно, только Ухтомский сильно дрожал и снова плакал. Когда же я скомандовал „полурота", то Ухтомский махнул безнадежно рукой и повернулся спиной».

Он дописал, расчеркнулся и дружески похлопал Грабова по плечу.

— Вот это будет номер! Мы его расстреляли за один вечер дважды, и второй раз, наверное, насмерть.

Он засмеялся.

— Дюжина шампанского за мной, Грабов. Спасибо. Без тебя, я б до этого никак не додумался.

В голосе на последней фразе прозвучала какая-то нотка особая, и Грабов не успел понять, что в ней: поцелуй или пощечина.



Знамя, поднесенное рабочим Московско-Казанской железной дороги за активное участие в баррикадных боях 1905 г.

★

ПОЕЗД

А. БОГДАНОВ

В. М. Морозову

Два слитно-беглых обменных взгляда...
Отрада встреч... Печаль утрат...
Скитальцы-люди!.. Чего им надо?
О чем тоскуют? Куда летят?..

Неумолимый гигант железный,
Ты чье-то сердце разбил звонком...
«Вернися!..» Замер крик бесполезный.
близи — чужие. Молчат кругом...

Гигант — далеко... Бродяжит в поле.
Клубит поземка. Людей влечет,
Быть может, к рабству, быть может, к воле...
О, только б дальше!.. Вперед, вперед!..

Вперед, вперед!.. Ударом стали
Спугнуть молчанье, тоску и сон.
Прорезать бездны, измерить дали,
Рассыпать в беге и дым и звон...

Два красных глаза во мраке рыщут,
Впилися жадно в степной простор.
Кого-то дразнят. Чего-то ищут.
Кого-то гонят из черных нор...

Змеится путь стальным извивом.
Зигзагом молний глаза скользят
По хмурым долам, по тощим нивам,
По тихим селам, по кровлям хат...

Там — память детства. Там завтра солнце,
Как встарь, согреет знакомый луг...
Поднялся путник. Глядит в оконце.
Не прозвенит ли коса иль плуг?..

Нет! Поздно. Тихо... Лишь сердца стуки
Звучат слышнее, чем стук колес...
Закрой оконце! В тоске разлуки
Не плачь о нивах! Не надо слез!

Оставь в покое отцов могилы,
Где ржа и тленье кривят кресты,
Где жухнут всходы, где вянут силы,
Где задыхался во тьме и ты...

Забудь былое! Закрой оконце!
К отцовским вехам возврата нет.
В чужом краю ты встретишь солнце,
Поймешь... и скажешь: «Возврата нет»..

В ВАГОНЕ

А. СЕРАФИМОВИЧ

В рассказе А. С. Серафимовича «В вагоне» изображаются те, кого посылали усмирять «внутренних врагов» — темные, тупые слуги царя и отечества, не ведавшие, что они творят.

...Поезд быстро мчится по степи по направлению к Новочеркасску.

В один из вагонов, набитый пассажирами, входят двое, совсем не похожие на остальных. Это драгун и казак. Казак по внешности очень добродушный человек. Спокойно рассказывает, как ему приходилось участвовать в усмирении бунтов. Между прочим, он расхваливает своего командира.

— Командир у нас — веселый человек. Ребята, — говорит, — тут все бунтовщики, постарайтесь, — говорит, — штоб умножение произошло верноподанному народонаселению. Ну, мы рады стараться — все по деревне.

Казак засмеялся, показывая здоровые, веселые зубы, но сочувствия кругом он не встретил. Настроение в вагоне было совсем иное.

— Ироды, прямо ироды!

— Им что... нажрется пьяный и валяй.

Особенно возмущается безобразием казаков сидевший поблизости молодой человек. В это время спутник казака, драгун, повернулся и, сдвинув шапку на затылок, заговорил:

— Да, а ты кто такой будешь?.. Это из таких, которые политические песни поют... Знаем мы... Вот такие самые бунтовщики — самые и вредные. Зараз кликнуть жандарма — и все.

— Да ты что расхорохорился? Ишь ты, нацепил побрякушки ин-не я.

— А то... стало быть, сам просишься под арест, а то и так, что пристукнуть такого, и отвечать не будешь. Бунтовщиков истреблять, вот так, потому приказ... Все вредный народ...

Он повел плечами, выпрямляя грудь.

— Конечно, если бунтовщики, — заговорил молодой человек с грязным воротником, — а то ведь есть которые невинные.

Драгун живо повернулся к нему, звякнул шпорами.

— Да разве их разберешь. Вот он, вишь ты, сидит, — мотнул он головой на невозмутимо сидевшего украинца, — воды не замутит, святой, а там у себя в деревне-то зáраз жечь, бить, грабить. Сколько экономиев сожгли. Так где же тут разбирать! Скомандуют: бей, и стреляешь, а там пуля виноватого найдет.

— Ну, разумеется, всякого не пожалеет.

— Ежели в толпу, там и баб, и ребят наколотишь, как же быть-то, не бунтуй, на то правительство. Не-ет, нонче этих слабостев нету.

— Не-ету, — снова благодушно засмеялся казак.

— Ноне чуть чего — нагайки да пули откушай, ноне разбирать не станут. Его, мужичье это сиволапое, его одно слово — бей. А то как же?

В разговор вмешался один из пассажиров, тот самый украинец с черным, сожженным степным ветром и солнцем лицом, с черными, мозолистыми, заскорузлыми от труда руками, на которого указывал драгун. Украинец широко зевнул, перекрестил рот и посмотрел на драгуна.

— Та ты, мабуть, не из-пид Харькова?

— С Белой глины, — небрежно уронил драгун, глядя в окно. Украинец глядел в пол, пошевеливая пальцами.

— Чи не Карый будешь?

— Нет, Горобцов, — а что?

— Да так думаю, чи Горобец, чи не Горобец, — лениво и нехотя протянул украинец, и странный белый огонек блеснул в его глазах.

— А ты сам откуда?

— Та с Белой же глины, белоглинники...

Драгун повернулся к нему, позванивая шпорами.

— Не признаю.

— Та як же ж... Дядя Хведор. — И помолчал.

— Дядя Хведор...

Драгун не признал земляка, но оживленно стал расспрашивать его о деревне. Спросил о своих односельчанах, об отце и, наконец, о жене. Относительно жены он получил странный ответ.

— А жинка... у земли. Сказал дядя Хведор.

Смеющееся лицо драгуна померкло. Он испуганно подался вперед, и глубоко чернел раскрытый рот.

— А? — Ненужно и коротко вырвалось, хотя он отлично слышал.

— У земли, кажу, — невозмутимо повторил дядя Федор, пошевеливая пальцами.

Драгун вобрал в себя воздух, удерживая подергивания лица.

— Хворала?

— Ни-и... здоровая...

Среди на секунду наступившего молчания, как повышающийся звук лопнувшей струны, нестерпимо впилась острота ожидания.

— Что же? — с возрастающим страхом спросил драгун.

Федор не спеша почесал за ухом, полез за голенище и поскреб черными, похожими на собачьи когти ногтями.

— Та усмирение було... так пулей... ось в это самое место. — И он, не подымая головы и не торопясь, показал заскорузлым пальцем над глазом.

— А-а... — беззвучно пронеслось в вагоне.

Только побелевшие губы судорожно трепетали.

Из-за перегородок глядели внимательно глаза, в проходе опять столпились, опираясь друг на друга и о спинки сидений.

—А диты? — точно подкрадываясь, по-кошачьи, глядя исподлобья, прошептал парень.

— Старший... у земли...—с жесткой и спокойной неумолимостью продолжал дядя Федор, — а маленький у батькови... Ноги переломаны копытами, та ребра... як скакалы, так и топталы...

Почти весь вагон, затаив дыхание, наблюдал эту сцену...

На одной из станций драгун, всхлипывая, с красными, заплаканными, по-ребячьи вспухшими глазами, в странном несоответствии с мундиром, ни на кого не глядя и придерживая мешок с вещами, вышел из вагона.

Долго после его ухода сидел дядя Федор, глядя между сапогами в пол и слегка покачиваясь от хода. И когда о нем забыли, поднял голову, пристально оглядел всех и проговорил с раздувающимися ноздрями.

— Та я ж его в первый раз вижу и семейства его не знаю и в Белой глине николи не бувал.

И в глазах, как искра ночью от потухшего костра, блеснул огонек торжествующей ненависти, которая тлела в сердцах, вскормленная около земли.

★

ДОЛГ ТОВАРИЩА

Н. СТЕПНОЙ

Поезд тронулся. Вдогонку за ним бежал человек. С площадки вагона, набитого пассажирами, слышались восклицания:

— Догонит!..

— Не догонит!..

— Нет, до-го-нит!..

Бежавший действительно догнал. Вскарабкался по ступенькам, потом настойчиво протискался внутрь вагона. Он тяжело дышал, его встрепанный вид и взволнованность возбуждали внимание окружающих.

— Вы кто? Откуда?

Он сел на уголочек лавки. Обильный пот струился со лба, свисал каплями на прядях волос. Прибывший тупо оглядывал пассажиров и дрожащими пальцами расстегивал взмокший ворот рубахи.

— Ну и упарился, родной, — участливо сказала пассажирка-крестьянка. — Аж молвить не может ничего!

— Да откуда ты? — снова допытывались окружающие.

— От Меллера бежал!..

— Ты кто будешь-то, родной? — спросила все та же крестьянка.

— Помощник начальника станции... с сортировочной... Первая остановка от Красноярска, рядом она с городом.

— А ты чего же бежал-то?

— От смерти бежал, ребята, от расправы.

— Меллер-то, застрелить тебя, значит, хотел?

— А за что же начальников-то стрелять? — заметил с верхней полки старик.

— Садись сюда! Тут удобнее. Да расскажи толком. Ну вот. А пальто твое все мокрое. На-ка, прикройся пока. — И рабочий подал ему свою поддевку.

Вошедший послушно снял пальто и прикрылся. Зубы его стучали. Сидевшая рядом дородная мать семейства предложила ему горячего чаю. Выпив несколько глотков, он скоро успокоился.

— Значит, и к вам этот мерзавец Меллер явился? Он тут по всей Сибири крови, брат, столько пролил!..

— Да, в крови уж захлебнуться можно, — подтвердил другой. И снова обратились к прибывшему с вопросами.

— А как же ты спасся?

— Случайно совсем. Мне бы уж тут не сидеть с вами. А вышло этот так: иду я, значит, к семафору. Погодища скверная, снег мокрый идет. Поднял воротник, разговариваю с механиком. Смотрю, бежит в одном платье в этакую-то мокроть Марфуша, телеграфистова жена. Вострая бабенка, смешливая. А тут, смотрю, не узнать: белая, как снег, и волосы по плечам распустились. Подбежала. Уставилась на меня, а вымолвить слова не может. Откроет и закроет рот, дохнет и закроет. Наконец, отдышалась.

— Это я вас упредить прибегла... Бегите! Спасайтесь! Мово... мово... мужа-то... — и грохнулась, не договорив, на землю, затряслась, рыдает, в голос кричит. Механик снегом отходил, пока пришла в себя, рассказала: Подошел, — говорит, — к станции поезд карательный, Меллер-Закомельский из вагона прямо на станцию. Спрашивает жандарма:

— Кто тут у вас?

— У нас, значит, — рапортует жандарм, — телеграфист да еще помощник начальника станции.

Телеграфиста на работе палач Закомельский и застал. Схватили. К столбу телеграфному руки прикрутили... Бах! бах! Тут Марфуша к выстрелам и подоспела. Как ее пулей не прихватило — неизвестно. Обхватила мужу ноги, прижалась головой к ним, насилу оторвали, как осатанелая. Тут она и бросилась бежать, всех кулаками на пути расталкивает. Так и добежала до меня.

— А хорошая баба! — сказал парень, сидевший напротив.

— Да, хорошая; товарищ она верный. Она с нами вместе на всех собраниях бывала и в самые тяжелые для нее минуты про товарища вспомнила... Вот если бы не она, меня бы давно в живых не было...

— А вы в Красноярске-то не были, товарищ? — спросил сосед слева.

— Все время там был. Я выбран делегатом от нашей станции в Красноярский совет.

— Как же вы это так долго удержались? В Сибири ведь повсюду революционеров уже свалили.

— А у нас держались. Все ждали из России слова; думали, продержимся еще немножко... придет к нам подкрепление. Так друг друга и подбадривали...

— Ну, а порядок в городе был?

— Вся жизнь порядком шла.

— И хлеб был?

— Продукты из России получали по магистрали. Распределяли населению. Торговля шла правильно.

— И никаких грабежей не было?



«Сибирский мотив». Из журнала «Овод», № 5, 1906 г.

— Никаких. У нас милиция своя была организована из рабочих. Только вот вместо ожидаемой помощи пришел Меллер-Закомельский...

— Как же это у вас произошло?

— Причин немало, всего не расскажешь. А произошло так. Было условлено, что по тревожному гудку собираться всем в мастерские. Вдруг, слышим,— гудит. Прибежали. Полно здание набилось. Вот председатель совета Зыков...

— Зыков? Это такой черненький? Я его видал. Он к нам приезжал, речь говорил. Хороший оратор.

— Ну вот, Зыков и говорит: дошло до нас сообщение, что едет Меллер-Закомельский. Сколько он положил народу в Сибири и сказать нельзя... До Томска он людей либо сек, либо в залог брал. А от Томска начал людей расстреливать беспощадно. Что будем делать, товарищи?

— Силой, силой встретим! — кричат.

— Силой!!

— Обдумаем это, товарищи, — сказал Зыков. — С запада, значит, Меллера карательный поезд. С юга подступают забайкальские казаки Ренненкампфа. А с Харбина идут эшелоны генерала Куропаткина... В кольце ведь мы, ребята!.. Вы знаете, я не из трусов, но обсудить хорошенько все надо, чтобы зря сирот не оставить, ненужная смерть ни к чему.

— Что же нам с поклоном и встретить врага? Здрасьте, мол, пожалуйста, рады стараться вашему благородию!

Другие замахали на говорившего, чтобы замолчал. Да он и сам понял, стушевался.

Стали тут обсуждать. А Зыков предложил такое решение:

— Нечего зря всем тут погибать. Выберем сами между собой человек двадцать. Останусь я и еще несколько. А все остальные расходитесь. Кому бежать из города, идите, устраивайте дела, а другие с семьями старайтесь как-нибудь легализироваться. А мы постараемся задержать Меллера, чтобы у вас было время убежать или устроиться...

Ну, немного у него голос-то пресекся. А в рядах со всеми Арина, его жена, как привскочит!..

— Да что же ты, Митрофан, меня с ребятами так бросить хочешь?..

Тут он взял ее за обе руки, — никогда я этого в жизни не забуду, — держит так крепко, ясно в глаза смотрит.

— Ты мне, — говорит, — Арина, всю жизнь товарищем единым была. Неужели теперь ты меня выдашь, не поддержишь в трудную минуту? Был человек и умереть хочу человеком!

Арина побелела, стоит, не шелохнется, глядит на него, глаз не сводит. Потом тихо сказала:

— Как хочешь, Митрофан Иваныч, пусть по-твоему и будет. — Митрофаном Иванычем назвала его в этот раз. И став рядом с ним, за руку держит и не отпускает.

К Зыкову вышло еще несколько человек. А толпа гудит. Бабы кричат. Каждому сердце режет. Ну, все-таки, разделились. С одной стороны девятнадцать человек, а с другой — все остальные рабочие.

Что тут было! Сколько рыданий, причитаний! Только тверды остались те девятнадцать.

Таким образом и собрание закончили.

На следующий день первыми подошли к городу казаки Ренненкампфа. Потом подъехал карательный поезд Меллер-Закомельского; последней пришла артиллерия от Куропаткина. Навели орудия на мастерские, где красный флаг так и развевается... Усмирители не знали, сколько сил в мастерских. Бросают снаряды, а флаг все развевается. Решили они прямо в атаку итти...

Но «девятнадцать» свое дело знают... Залп за залпом из ружей. Враги думают, что тут тысячи рабочих засели... С осто-

рожностью подходят. Так полдня задерживали... Но дальше держаться было уже трудно. Тогда Зыков сказал товарищам:

— Задержали мы их достаточно, теперь все равно конец один будет. Поэтому уходите еще десять человек, а мы тут останемся.

Ружья трещат, пули щелкают, спорить долго не приходилось: Зыков строгий был... Отобрал он девять человек несемейных и сам с ними остался. Мы простились...

Так те девять и погибли... Все до единого.

Воцарилось глубокое молчание.

Поезд убавлял ход. Замелькали на станции огни.



КОЛОКОЛА

ИВАН ЕВДОКИМОВ

Действие романа писателя И. Евдокимова «Колокола» развертывается в годы первой революции. Герои романа — рабочие паровозоремонтного завода. Помещаемый отрывок описывает путь на каторгу осужденных за восстание железнодорожников.

Глава пятая

На запасных путях стоял тюремный вагон. Егор глядел через решетку на тесно и темно запрудившие пути вагоны. Стеной встали они впереди и позади, стена двигалась, скрипели колеса, сплющивались скрепы, направляющий свист, клокоча, кидался маленьким зверьком на рельсы — и вагоны замирали, вытягивались. Шла обычная ночная работа: составлялись дальние и близкие поезда. Егор жадно наблюдал за подготовкой поездов. После тесной, как шкаф, одиночки, после трех никуда не спешивших годов эта работа казалась торжественной.

Сторожившие солдаты сидели на грудке шпал против вагона и молча курили. Пахло пропиточным заводом от шпал. И этот запах был приятен Егору. И сквозь этот запах он видел рабочих, где-то в мастерских вырывавших у времени шпалы. И вагоны, и шпалы, и рельсы, и сигнальный рожок, и трехглазый паровоз, сцепщики и стрелочники, машинисты и он сам, и курившие солдаты-мужики сливались для него в великую, объединенную рабочим фартуком семью. А эта весенняя, темная земля и серебряными звездными каплями смоченная крыша неба служили ей.

От Зеленого луга, с Числихи, от Ехаловых кузнецов, из-за вокзала тек тихий и теплый ветер.

Егор как будто побежал, затрусил с фашины на фашину... Проточные канавки стояли перелитыми через края, будто кадушки под дождевыми трубами. Редкие огни, как редкие прохожие на ночных улицах, светили тусклыми кремневыми высечками. Налитая

подземными водами земля туманила шаг. Только-только отступила Чарыма с огородов, от задворных прудов, из палисадников, не успели расклевать рыбьи кости курицы в перегоревших под солнцем лужицах, чайки путались местами, искали Чарыму на Кобылке — и не находили. А рабочая челядь скакала по грязной намойне и чернила босые ноги простудой.

Егор улыбнулся, втянул ноздрями ветер от Зеленого луга, с Числихи, от Ехаловых кузнецов, ветер, пахнувший нежным и сладким дымом. В сердце тихо-тихонько, с боку на бок переваливалась грусть. Так в половодье несет одинокую лодку на льдине далеко от берегов, а с кормы на нос, а с носа на корму бегают заяц с зайчихой. И по пути ли и не по пути ли, не спрашивая, несет их на льдине. Егор закрыл глаза и вздохнул.

В городе, на чистой половине, редко и протяжно звонили. Егор вспоминал названия церквей по колоколам. И только один с прозвенью колокол узнавался над всеми забытыми колоколами. Звонил Никита близко за вокзальным Фроловским концом у Федора Стратилата на Наволоке, а может быть, звонил кто-нибудь другой, колокол был тот же, кладбищенский старый сторож от темного ночного ворога. Звонил Стратилат над Аннушкой, над Ванькой, над сторожкой, над поклончивой ветлой в лугах над товарищами, уснувшими без крестов под жирной землей.

Сердце проныло жалостью, и скатилась по лицу крупная неотомщенная капля.

Был канун Георгиева дня. При Шемяке была в городе моровая язва. И пять веков ночным молением вспоминали каждый год моровые ночи. По улицам, тупикам, переулкам, поперек площадей, по мостам и переходам, по лавам всю ночь шли люди из церквей в церкви. Читали паремии перед золотыми узорными иконостасами, полный свечной и лампадный и паникадильный свет лился в окна из церковных кораблей, а колокола, как в дозорных лоцманских будках, звонили протяжно тревогу.

Егор, жаднея и жаднея, в смутных сумерках северной ночи вглядывался. И глаза горько остановились. В середине Зеленого луга желтела высокая новенькая каланча. Как насорили в глаза, замигал Егор, не хотел смотреть, а тянуло, а притягивало. Егор усмехнулся. Ходил над рабочей землей пожарный, остерегал деревянную Числиху, Ехаловы кузнецы, а на земле, под пожарным, был участок, — и там остерегали, и там глядели решетками, сыщиками, городовыми. Егор скривил щеку. И еще родней, печальней, ближе пододвинулись к сердцу и Зеленый луг, и Числиха, и Ехаловы кузнецы.

«И каланча не худо, и каланча нужна», — засмеялись мысли в голове.

Над чистой городской половиной, точно большие каменные горы, выросли из земли небоскребы: собор Софии в золотых касках куполов присел.

Егор только скользнул по городу, и опять запросились в глаза — заводский забор, трубы, черные кустики, идущие по поляне...

Напротив по платформе прошли в звонких сапогах жандармы. Подмышками они несли синие папки дел... Егор проводил их. Товарищ, глядевший в другое окно, вдруг засмеялся:

— Вот все, что осталось от революции. Несет подмышкой Егора Яблокова... и меня... и тысячи других...

Товарищ не стал ждать ответа, плюнул и отошел от окна. Он прошелся по вагону, шаркнул раздраженно сапогом по задравшимся заусеницам стертого пола и отчаянно простонал:

— Эх! Скорее бы отправили! Стоим, стоим — и не знаем, чего стоим! И не знаем, зачем стоим. Так повезут — сто лет не доедем до Сибири.

Егор, не оборачиваясь, ответил.

— Куда нам торопиться? В Сибири, думаешь, о нас скучают?

Егор опять покривил щекой. Товарищ растянулся на наре, устремился глазами в низкий, недавно покрашенный, пахнувший краской потолок, будто круглый трюм парохода, устало задышал, полежал немного и, шумя, перевернулся к стенке.

— Чорт! Хоть бы повесили, мерзавцы! Такая тощища кромешная!

Егор вспоминал другие дни... Дружинники смерзлись одной ледяной цепью за баррикадами, а на головы валилась железная стружка, вздувались красными сарафанами взрывы и копали позади забитую землю глубокими лопатами. И шли далеко гряды, как окопы... И все не могли, не могли смести метлы утлые бочки, корзины, телеги, дрова, кривоглазые конки баррикад. Зеленый луг, Числиха, Ехаловы кузнецы защищали незащитимое, отбивали папахой чугунный запах... И не защитили... И опять нанесло ночным ветром через прутики решетки каплю сухую, как потухшая искра.

Засвежело в вагоне. И был он тесен и люден, как плот на перевозе. И оттого, что был он люден, Егор крепко сжал частокол решетки. Руки умели сильно сжимать и твердеть на железе. Товарищи укладывались спать. Будто в своих квартирах, они устало зевали, не торопясь снимали сапоги и скидывали халаты.

Короткий, как выстрел, пришел сон, закрыл будто теплой шалью впавшие гнезда глаз — и они внезапно растворились... Товарищи поднимали головы с нар... Вскочил и Егор. Под вагоном били молотками так часто, будто один удар сваривался с другим, из-под молотков выжималась тонкая полоса стуков. Под вагоном починяли буксы.

Пепельное зябкое утро отпотело на стеклах за решетками. И Егору захотелось скорее протереть его, захотелось скорее посмотреть на знакомые утренние места. Привезли на вокзал ночью. В полутемноте была видна только одна улица со скупыми огнями в домах. В гнилом шлюзе улицы быстро отвертелись дробные ко-

леса, сверкнул вокзал широким хвостом огней — и снова камера на колесах с низким потолком, и, как конторская книга, окна исподлобья под железной маской решетки.

В голове было густо и больно от недопитого сна. На темени будто узлом связало кровь. Егора качнуло на ногах, потом качнуло вагон; его отвели на главные пути и прицепили к поезду.



Отправка в ссылку участников революционного движения

Ранняя платформа была почти пуста. Солдаты отрезали от широкого пола платформы большой край и не подпускали пассажиров. Егор жадно вдохнул апрельский щемящий холодок.

Егор сбоку от окна скосил глаз на светлевшие полоски рельсов, тянувшихся к мастерским. Вдали он увидал только одну коровинскую мельницу, махавшую ему длинными черными руками, и отрезок нового забора у мастерских. За кузовом вагона сами здания скрывались. Егор вдавился в решетку: удлинился забор, выступила пята еще одной коровинской мельницы и красный бок трубы... По полянке к мастерским шли рабочие... Сердце Егора заколотило, побежало... Он вытягивался, будто узнавал походки, спины, пиджаки... Весенней ростепельной дорогой шлялся над полянкой дым из трубы — знакомый, близкий дым.

Были открыты глазам — Свешниковская мануфактура, заводы Марфушкина, Прилуцкого, а за ними другие, третьи, курившие трубами раннее утро. Зеленый луг, Числиха, Ехаловы кузнецы лежали в низине, и красный лес труб поднимался над ними черными набухшими кулаками верхушек. Стояла рабочая сторона на своем месте, под тем же нестареющим небом, на той же хлюпкой слободской земле, будто не было ничего позади и ничего не изменилось за отковылявшие далекие годы и никогда ничего не изменится.

Зарозовело раннее утро в слуховом вокзальном окне, и по трехцветному флагу над фронтоном проползла золотая змея солнца. И враз с нею в городе ударил густой медлительный большой колокол на Софии. Ему ответили на всех концах, в слободах, на окраинах, на кладбищах большие колокола... Соборный колокол повел, за ним пошли, он раскачался в частый гремящий гул; подхватили, слились на приходах другие... Колокольный хор запел медными и серебряными валами в прозрачном и гулком и сквозном весеннем утре. Свешниковская мануфактура, маломерки запели нестройно и крикуче над звенящей крышей, спелись, смешались, вплелись вязью в колокольную зыбь.

Егора будто качало от звона; качало воздух, здания, небо, землю; и поезд, как длинные плоты на реке, на течении, тоже качался...

Отгудели большие колокола, дали дорогу колоколам часовым, подчаскам, повесочным, мелкой колокольной рыбешке... Старики передохнули, разбежалась челядь, изготовилась — и неумолкающим ливнем колокола брызнули, понеслись парами, тройками, цугом, шестериками, затрубили певучими трубами облака — и в золотые тарелки ударило солнце... Большаки отставали, запинались, а потом разобрало. Казалось, над всем городом плескалось, шла валами Чарыма, плыли колокола-льдины, летали колокола-чайки, рос на берегах кустарник — мелкий колокольняк, на загнутых клювах валов трезвонили ширкунцы и бубенцы, и сам Николай мокрый ворчал, ворочая соборным языком.

Славили колокола избавленье от моровой язвы в Георгиев день. Заслушался Егор, заслушались товарищи, залепили вплотную решетчатые окна, заслушались солдаты... Торжественно в золотом венце выходило праздничное солнце.

В чистую, нежнейшую звонь, в колокольную густоту прошипел балластный поезд и устало остановился на первых путях. Желтый мокрый песок, как щучья икра, лежал жирными пластами на платформах и в вагонах с отбитыми по низу стенками. На песке сидели мужики в рваных пиджаках. Лопаты были воткнуты в песок.

И как остановился балластный, мужики, скучая, поглядели на тюремный вагон, пассажирский поезд вздрогнул, откачнулся назад, прополз шаг и пошел...

Егор быстро мелькнул глазами на Зеленый луг, на Числиху,

на Ехаловы кузнецы, тоскливо заныло сердце, а рабочая слобода уже закрывалась от глаз широкой шляпой навеса.

Мужики с балластного поезда, прячась в глуби вагонов, один, другой, третий вдруг закивали лопатами, руками, картузами, сперва несмело и все смелей и открытей.

Тюремный вагон зашумел, руки высунулись промеж решеток и хватали свистевший свистульками воздух.

Колокола, словно напутствовали в дорогу. Проезжали мимо депо. Гудок звал на работу. Через пути к депо шли рабочие с узелками, поодиночке, артелями, останавливались и пропускали поезд. Из тюремного вагона махали руками. Рабочие всматривались, дружно снимали шапки, кепки, картузы, трясли ими высоко над головой и что-то кричали вслед.

Егор захлебнулся. В уши ударил колокольный звон изнутри, звон отчетливей и краше гудевшей Софии и приходами и концами. Он закричал в ветер, рабочим, вагону, городу, отавой прораставшей земле в этот скотий Георгиев день:

— Товарищи! Мы не одни! Мы не одни!

☆

1905

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

Наваливалась жизнь на плечи поколенья,
Рожденного станком, взрастившего борьбу.
Мы в собственной крови стояли по колени,
Громаду черных дней таская на горбу.

Чу!.. На убой зовут... царек войну затеял.
Бей, барабан, греми! Рви сердце из груди!
За батюшку-царя бей желтого [illegible]!
Кто? Почему злодей? Не спрашивай! Иди!

... Но на полях войны вскипело море крови
И ринулось назад в российские поля.
К царю, к царю пойдем! Пусть двери на засове,
Он не оставит нас!.. Свобода!.. Царь!.. Земля!..

— Боже, царя храни! —
Море икон.
— К царским ногам прильни
Крепче, Гапон.

— Царь нам не зря сказал:
«Я ваш отец!..»
Залп...
Конец...

Так встретил царь народ громовым залпом ружей.
Он веру расстрелял и в бога и в царя.
И вспыхнул грозный Гнев из этой зимней стужи,
И вспыхнула в сердцах великая заря.

Тиранам кровь за кровь! Железо на железо!
Сменили мы кресты винтовкой боевой.
Молитвы и мольбы сменили марсельезой,
Мы взяли алый стяг — и ринулись на бой.

Мы потушили вмиг все трубы у заводов,
Остановили вмиг стальные поезда.
Рабочие полки на баррикады отдав,
Мы умирали там под знаменем Труда.

... И снова камнем жизнь нам грохнулась на плечи.
И снова гнет сдавил рабочие горбы.
Но выучились все мы пулеметной речи,
Мы в эти дни прошли всю азбуку борьбы.

Восстали снова мы, сорвали все запоры,
Сломали все замки и бремя всех цепей.
Буржуям и царям снарядами «Авроры»
Мы возвратили долг убитых гнетом дней.

Да здравствует Октябрь! Иди, порабощенный,
По ленинским путям, за Лениным всегда!
Восстал и победил «проклятьем заклейменный»
Владыка всей земли и властелин Труда.

1925 г.

★

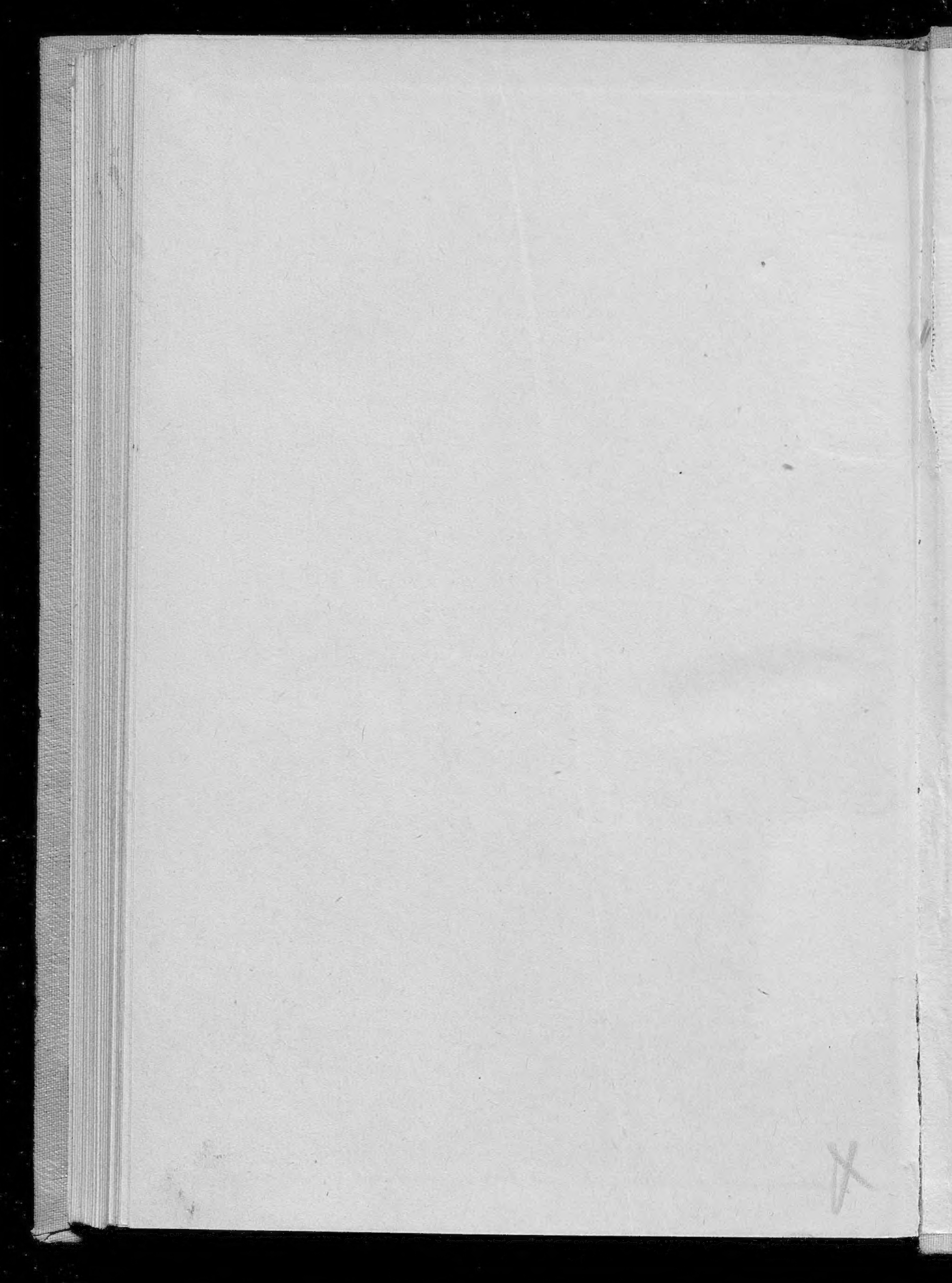


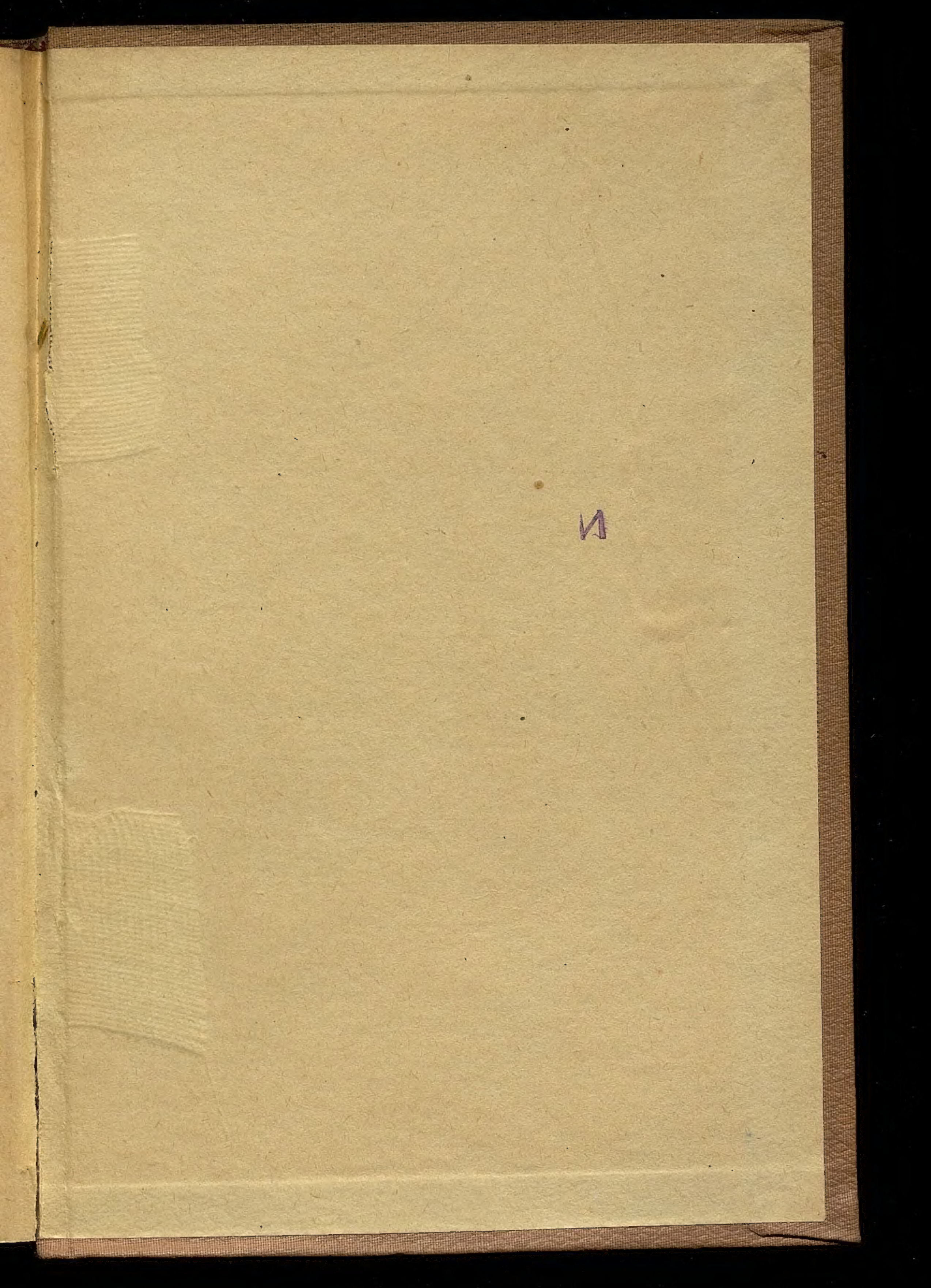
Задержка революционными железнодорожниками поезда с войсками. Рис. художн. Корнилова

★

СОДЕРЖАНИЕ

★




И